Б. ДАВЫДОВ

ИЗГОИ

ТИПОГРАФИЯ «СВЕТ»
Wilkes-Barre, Penna., U. S. A.
1958

БОРИС ДАВЫДОВ

ИЗГОИ

ПОВЕСТЬ

All rights reserved.

I. ЭМИГРАНТЫ.

Домашний старый спор,
уж взвешенный судьбою . . .

А. Пушкин.

Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна.

А. Пушкин.

Из окон ветровского дома видно, как в полумили за пологим спуском к заливу кудрявые барашки волн мерно набегают на песчаный берег. Пенистые гряды непрерывно одна за другой вскипают у берега, тонким слоем наползают полукругом, а потом, остановившись, медленно кружевным узором стекают назад. В летние солнечные дни над сверкающей жемчужной рябью плавно реют чайки. Они кружатся, почти не двигая распростертыми крыльями, или скользят по спокойной водяной глади и лениво, словно в дремоте, перекликаются друг с другом. А поздней осенью, когда небо заволакивают низкие свинцовые тучи, сердитые порывы ветра гонят ревущие валы, вздымают высокие космы белых кипящих гребней, разбивая их о берег в мириады мелких водяных брызг. И чайки кричат уже по иному: открывисто и тревожно, когда их кренит, сносит в сторону, и они, быстро взмахивая крыльями, как то боком, беспомощно кружат в воздухе.

Мерно набегают на песчаный берег волны. И под этот ритматичный, никогда не прекращающийся бег водяной стихии, то спокойный, и мирный, то мятущийся и разъяренный доживал свой век русский эмигрант, царской службы генерал-майор Николай Алексеевич Ветров.

Пятнадцать лет назад он поселился здесь с женой и двумя дочерьми - подростками. Тогда в этом малолюдном местечке у залива, вдали от лихорадочной суеты

большого города было тихо и спокойно, как на даче. Но как все изменилось вокруг за эти пятнадцать лет!

Сначала в ложбине между гор срубили эвкалиптовую рощу. Стальные черепахи кропотливые, как муравьи и мощные, как стадо бизонов, своими острыми не знающими устали когтями, выкорчевали столетние пни, срыли холмы, засыпали овраги. Из года в год сюда свозили строительный материал: лес, цемент, железо, черепицу и асфальт. Всюду копали, пилили, заколачивали, красили, проводили дороги. Всюду пахло сыростью разведенного цемента, душистой свежестью пиленого леса, терпким запахом краски. Словно из под земли, выросла деловитая и шумливая Main Street. Яркими огнями неоновых вывесок вспыхнули на ней банк, десятицентовая, архи-миллионная твердыня Вулворта, дрогсторы и газолиновые станции Стандард, Тексас и Шелл.

На взгорье вокруг залива, отбросив от себя далеко, к самым хребтам гор зеленеющую чащу сосен и кипарисов, раскинулся новый одноэтажный городок. Он окружил со всех сторон и поглотил в себя уютный и тихий ветровский особнячек.

Дом у Ветровых большой с широким и низким фасадом, какие принято строить за городом. Перед домом в полисаднике, возвышаясь над черепичной кровлей, стоит огромная вековая сосна. Под навесом ее широких игольчатых ветвей густая зелень олеандр, камелий и сирени заслоняют собой дом пестротой теней и ярких солнечных пятен, отчего он кажется с улицы меньше и красивей.

Ветрову уже за шестьдесят. Рослый, широкоплечий, с густой копной вьющихся, сильно поседевших темных волос, бодрый и жизнерадостный, он выглядел гораздо моложе своих лет. Еще будучи молодым офицером, он бросил курить, очень мало пил, был здоров и крепок и к шестидесяти годам сохранил немалую долю той недюжинной физической силы, которой отличался еще в училище. Бывало тогда, на пари с однокурсниками-юнкерами, он поднимал за штык вытяную вдоль руки трехлинейку.

Уже два года, как он вдовеет. После смерти Наталии Ивановны домашнее хозяйство вели все трое: сам Ветров и его взрослые дочери Надежда и Вера.

День у Ветровыхъ начинался рано. Каждое утро в комнате Николая Алексеевича верещал будильник, поставленный на половине шестого. Будильник быстро умолкал. Ветров проворно вскакивал с постели и, накинув халат, шел в кухню варить кофе. Позавтракав, дочери уезжали в город на службу, а Ветров, окончив утреннюю уборку дома, отправлялся к себе в мастерскую, в просторную и светлую пристройку за домом, где пахло свежими стружками, лаком и клеем. В перерыве между работой Николай Алексеевич готовил обед, чтоб поспеть ко времени, когда вернутся из города дочери.

Так проходили недели и месяца в этой тихой, размеренной жизни. Изредка у дочерей собиралась молодежь, или приезжал из города шурин Ветрова, Николай Иванович Денисов. Регулярно раз в недел забегал сосед Виктор Францевич Янчевский взять что нибудь почитать из ветровской библиотеки.

**
*

В летний полдень к ветровскому дому резво подкатил изрядно потрепаный фордик. Из него вышел невысокий, полный человек, с круглой начисто выбритой, как у актера головой, шурин Ветрова. Лицо у Денисова простое, широкое, но очень подвижное с выразительным взглядом узких карих глазок.

— Ну, здравствуй, тезка! Заказ-то мой готов? —спросил он веселым, низким грудным голосом, здороваясь с подошедшим к нему Ветровым.

— А то, как-же? Выполнил к сроку, как обещал. Только пойдем, закусим сначала, а потом заберешь свои подрамники.

Они вошли в дом. Ветров поджарил яичницу, сварил кофе и пригласил гостя к столу . . .

Денисов добывал себе средства к жизни живописью, которой он занимался в молодости еще в России. Когда бывали заказы, писал портреты, но больше работал над картинами. Каждое лето он уезжал на своем стареньком, выносливом форде в отдаленные штаты Запада, выискивая все новые и новые живописные уголки величественной и своеобразной природы американского континента.

И где только ни побывал Денисов!... Был он у под-

ножья гигантских сикой, этих сверстниц ветхозаветных израильских царей; на краю каньонов, каких-то неправдоподобных и сказочно красивых; в хвойных лесах Монтаны; на изумрудных, горных озерах, спокойно дремлющих в заоблачной выси; в знойных и красочных скалистых пустынях Аризоны. Во многих местах побывал Николай Иванович, всюду делая наброски и эскизы для своих картин.

Позавтракав, Денисов стал рассказывать Ветрову городские новости, и незаметно проговорили до обеда. Назад в город он не торопился, да к тому-же, очень уж ему хотелось дождаться и повидать своих племянниц. Потомъ, изрядно подвыпив за обедом, Денисов решил остаться у Ветровых ночевать. В тот же вечер пришел к Ветровыми на огонек и Янчевский.

Всякий раз когда ненароком Денисов встречался с Янчевским, тишина ветровского дома нарушалась бурными эмигрантскими спорами о России. Так случилось и сегодня. Словесный поединок возник по поводу одной историко-философской статьи, помещенной в последней книжке «Современных Записок». Разговор этот, начатый Денисовым еще до прихода Янчевского, был временно прерван, когда в гостиную вошел щегольски одетый, высокий, пожилой человек с худощавым, бледным лицом и, почти бесцветными, с какой-то белесой зеленью глазами. Светлые, очень редкие, тщательно приглаженные волосы едва прикрывали полуголый череп.

— Вот принесла то его нелегкая . . . именно сегодня,— подумал Ветров, пожимая протянутую руку гостя и мельком взглянув на Денисова.

Для Ветрова эти регулярные визиты соседа были одной из тех неприятных мелочей жизни, с которыми приходилось мириться, как с неизбежным злом.

Виктор Францевич до первой мировой войны кончил юридический факультет, играл видную роль в одном из белых правительств, а потом уехал в Америку. Супруги Янчевские жили, ни в чем себе не отказывая. Сам Виктор Францевич нигде не работал, часто и подолгу бывал в разъездах, ездил в дорогом и тяжелом автомобиле, который менял каждые два-три года на новую модель. Но как ухитрялся зарабатывать он, повидимому, немалые деньги, об этом никто не знал. В русской колонии

ходили слухи о том, что во время эвакуации Янчевскому удалось вывести в собственном чемодане крупную сумму валюты и ценностей, которыми он, якобы, и обеспечил себя на остаток жизни.

Впрочем, Ветров не придавал значения этим сплетням, но все-же, сильно не по душе был ему сосед. Во всем облике этого человека: во вкрадчивом тоне голоса, в манере не смотреть собеседнику в глаза и полупрезрительно улыбаться углами тонких губ, было что-то отталкивающее и предостерегающее.

Янчевский поудобней расположился в кресле, закурил сигару и стал слушать Денисова. И от всего того, что слушал Виктор Францевич, у него неприятно засосало под ложечкой, но он продолжал молча сидеть в кресле, с деланным равнодушием попыхивал сигарой и тонкими, длинными пальцами выстукивал на ручках кресла какой-то веселый мотивчик. Временами он искоса поглядывал на говорившего, и тогда стекла его пенснэ сверкали отраженными светом лампы, как вспышки орудий перед началом атаки. Такая атака была неизбежна. Янчевский уже обдумал план нападения на врага и теперь выжидал удобного момента перейти в наступление.

Когда Денисов сделал длительную паузу, Янчевский медленным жестом стряхнул пепел с сигары, глубокомысленно поглядел на тлеющий красноватый огонек и начал говорить тем непререкаемым тоном, с каким обычно ставит пациенту диагноз авторитетный врач.

— Все это — старая интеллигентская романтика. Пока вас слушаешь, точно на нестеровскую картину смотришь: знаете, там — березки, церковь, народ. А среди народа Христос. И всем, кому, разумеется, охота, верят, что это и есть подлинная «Святая Русь», наделенная всеми человеческими добродетелями. Вам, как художнику, это должно особенно импонировать, — съязвил Янчевский, — А, ведь, сколько вздору, — продолжал он,— писали о народе славянофилы, Герцен, Достоевский, Толстой, Горький. Писали они, конечно, по разному, потому что каждому из них непременно хотелось видеть в народе себя, свои идеалы, убеждения... Но все они в одинаковой мере идеализировали и превозносили народ. Всю свою жизнь все эти писатели, философы, поэты и мистики жили в каком-то воображаемом, несуще-

ствующем мире, среди образов и литературных типов, буквально высосанных из пальца. Вот, конечно, и у вас книжное представление о России, народе и культуре. Да и не вы один, а целые поколения интеллигенции впитывали в себя этот книжный вздор . . .

— Позвольте, — вспылил Денисов и от волнения слегка приподнялся с дивана.

— Нет, позвольте уже мне сначала докончить с в о ю мысль, — с ехидной почтительностью перебил собеседника Янчевскй. — Все эти — Каратаевы, Старцы Зосимы, Сонечки Мармеладовы и Алеши Карамазовы не пример и не доказательство. Сомневаюсь, что они были взяты из действительной жизни. Ну, положим, что даже и так. Но ведь они только единицы, затерянные среди миллионов разных там Скуратовых, Пугачевых, Солтычих и Держиморд. Мы с вами многому научены революцией. Пора очнуться от книжнаго навождения и посмотреть новыми глазами на Россию, чтобы увидеть ту неприглядную суть, о которой никогда не писалось в литературе. Сказать по правде, в русском народе вместо святости и культуры живетъ дикая, хаотическая стихия. Действительная Русь — это страна повальной темноты, лени, пьянства и грабежей. Страна массовых казней Ивана Грозного и массового террора Владимира Ленина. А вы, вот, о культуре, — презрительно процедил Виктор Францевич, выпустив струйку сигарного дыма. — Нет! Русский человек, знаете, по своему складу и психологии боится культуры, ненавидит ее. Культура —это, ведь, прежде всего иерархия ценностей, отбор всего лучшего и совершенного, чувство меры и порядка, творчество и созидание. А русский человек по натуре бунтарь и обладает единственным талантом все разрушать.

— Позвольте, — не выдержал, наконец, Денисов: но как же при этой единственной, как вы говорите, способности к разрушению, русский народ создал огромное и крепкое государство? Тут вы сами себе противоречите.

— Ах, вы вот о чем? — усмехнулся Янчевский. А помните:

Земля наша обильна,
Порядка только нет.

Ведь неспроста же поэт связал эти стихи с призванием варягов. По моему, в этом факте, собственно, и кроется

ключ к пониманию русской истории. Вся история России это одно постоянное «оваряживание». И заметьте, это «особенная стать» одной только России. У других народов древний эпос начинался всякими там подвигами, войнами, восстаниями или даже разбоем. Но ни въ одной древней саге вы не найдете рассказа о призвании чужеземцев, которым бы народ добровольно вручил власть над собой. Янчевский опять стряхнул сигарный пепел и сделал короткую паузу.

— Исторически — это вполне логично: не могла же Русь вечно находится в состоянии своего первобытного хаоса. Рано или поздно организующие силы Запада должны были вторгнуться и обуздать дикую стихию скифов. Без этого чужеземного вмешательства Россия ни только никогда бы не смогла стать мировым государством, но даже и темной, полуазиатской Московией. Ведь, вы же знаете, что немецкая слобода на Москве существовала еще задолго до Петра. Потом воцарился Петр, который хорошо понимал, что спасение Руси в варягах. Пригласил немцев, голландцев, шведов, и этот новый Рюрик начал с плеча «оваряживать» Россию дубиной. После него полтора века на русских спинах гуляли дубинки, свистали шпицрутены, розги, плети. Европеизацию русский человек воспринимал, так сказать, филейной частью. Занятно — а? Хе-хе-хе . . . И результаты получились прямо поразительные: к чему может привести битье! Вот, кто-то сказал, что русского человека пороть надо. Удивительно меткая мысль ...

— Это слова Смердякова, — подсказал Янчевскому Денисов. — Неужели вы забыли? В час досуга Смердяков под гитару напевал пошленькие куплеты и сказал фразу, которую вы сейчас повторили. Янчевский поняв обидный смысл слов, сказанных Денисовым, вспыхнул, поерзал на кресле, которое теперь казалось ему жестким и неудобным. Минуту сидел насупившись, потом пожал плечами.

— Ну, и что же? Очевидно Смердяков был проницательным и умным человеком. Во всяком случае, он правильно уяснил себе смысл полуторовекового периода русской истории. Ведь времена Бекендорфа были в то же время эпохой культурного расцвета России...

Денисов побагровел и резко оборвал Виктора Фран-

цевича- — Знаете, ваше остроумие, вернее ваше глумление над тяжелой и трагичной историей России—пошло! Не говоря уже о вашем бессердечии, вы все искажаете своей предвзятостью. Разве Россия не создала своего самобытного искусства: литературу, музыку, живопись, нисколько не уступающего Западу? Чем вы объясните нарождение самобытных талантов? Ведь одним только подражанием и заимствованием всего этого создать нельзя!

— А, вы об этих самобытниках? — иронически улыбаясь, спросил Янчевский, они-то, в общем, оказали плохую услугу России в смысле ее культурного развития. Их творчество, это прежде всего, бунт против той малочисленной элиты, которая насаждала западную культуру на русской почве. Французы очень тонко подметили о д н у особенность: поскребите русского, и вы найдете в нем татарина. В русской натуре вечно дремлет скиф. В так называемой, самобытной русской культуре, прежде всего, сказался пробудившийся отъ долгой спячки скиф. Анархическая стихия ворвалась в философию, литературу, музыку, политику. Бакунин, Стасов со своей кучкой, Толстой, Горький, Ленин . . . Разве, например, в какофонии Мусоргского не чувствуется мятежный разгул черни, стрельцов, пугачевцев? А христианский анархизм Толстого? А босячество, как литературная мода? И, наконец, Ленин, провозгласивший самую агрессивную и разрушительную из всех революций, которые только известны истории. Эта революция, по существу, является первобытной, хаотической силой России. Хаос вышел из берегов своего скифского моря и грозит захлестнуть культуру запада — своего исконного врага. Теперь должно случиться одно из двух: или русский хаос двинется на Европу и сметет с лица земли ее культуру, или Европа предолеет хаос. В прошлом Европа не раз уже преодолевала хаотические начала Руси. Правда, тогда это был вопрос внутри-русский. Теперь это уже вопрос жизни и смерти мировой цивилизации. И вопрос в том, кто поведет историю мира: Европа или скифы?

— Значит, крестовый поход что-ли? — спросил Янчевского Денисов.

— Несомненно, — заносчиво ответил Янчевский: скажу даже точнее. Германия, как наиболее передовой и

мощный народ Запада, должна выполнить свою историческую миссию . . .

Некоторое время все трое молчали. Денисов трясущимися руками закуривал сигарету и не мог от волнения говорить. Прервал молчание хозяин дома.

— Вот вы, Виктор Францевич, упомянули о крестовом походе. Ведь, старая это песня. Восемь веков Европа живетъ мечтой о крестовых походах, тем, что теперь на гитлеровском жаргоне называется «дранг нах Остен». Сначала тевтонские рыцари, потом поляки, за ними шведы, а спустя век Бонапарт. И все они перли на Россию, оправдывая свое вторжение благом «европейской цивилизации», борьбой с «русским варварством», «священными крестовыми целями». Только я-то так смотрю, что под всякое свинство можно подвести идеологию. И в политике, особенно, принято всякое безобразие прикрывать возвышенными целями.

— Это вполне естественно . . .

— То-есть, как же это так естественно? — изумился Ветров.

— Да, я о идее крестового похода, — поправился Янчевский, — если какая-то идея живет в течении многих веков, если делались многократные попытки к ее осуществлению, то, значит, такая идея является исторической потребностью. Сколько раз человечество делало попытки покорить воздух, проникнуть в центральную Африку, открыть Северный полюс, перевалить Гималаи. Вначале, разумеется, неудачи, жертвы, разочарования, а в конце концов цель, всетаки, достигалась.

— Вы Виктор Францевич, верите в идеологическую борьбу с большевиками, называете ее исторической необходимостью ради спасения западной цивилизации, а я вот основательно проштудировал «Мейн Кампф» и скажу прямо, что крестовый поход тут не при чем. Это громкий, но, сам по себе, пустой лозунг, для Гитлера только "casus belli." Не причина, а только повод к войне. Причина же кроется в притязаниях на территории и природные богатства огромного евразийскаго материка. В западном понимании темная, дикая и сказочно богатая Россия, это — потенциальная колония. Для меня, несомненно, что рано или поздно, Гитлер нападет на Россию. Французы и англичане ни меньше Гитлера ненави-

дят и прежде ненавидели нас, но они не так сильны, а следовательно, и менее агрессивны.

Пока Ветров беседовал с Янчевским, Денисов нервно прохаживался по гостиной, потирая ладонью бритую голову. Потом остановился против Янчевского и, пристально смотря на него в упор, начал говорить, резко чеканя каждое слово.

— Так, значит, говорите — скифы? ... Да! Мы —скифы! Мы — дикая, хаотическая стихия! Так, по крайней мере, думает о нас Запад. Потому что он стоит за глухой непроницаемой стеной и не может разглядеть подлинный облик России. Трудно сказать, непонимание-ли России Европой порождаютъ в ней чувство нескрываемого презрения, вражды и боязни? Или наоборт, страх и подозрительность мешают Европе понять Россию? Но, во всяком случае, это непонимание — застарелый грех Запада. Еще в 13-м веке тевтонские врали пугали Европу черными безгласыми людьми с собачьими головами. А эти чудовища были никто иной, как дружины Александра Невского. Теперь вот нашелся новый враль и тоже запугивает Европу большевистским чудищем. И все это: невинный вымысел и злостная клевета, конечно, не дают Западу возможности понять Россию. Отсюда-то и вытекаетъ презрительное отношение ко всему русскому и ведет к отрицанию русской культуры, которую, кстати, вы и сами отвергаете. Но, ведь, вы то — русский, кончили университет, знакомы с литературой, историей, общественной мыслью. Что-же тогда спрашивать с людей, которые искренно верят, что по Невскому бродят белые медведи, и казаки пожирают прямо с пик иноземных младенцев? А сколько в прошлом терпела Россия от западных «культурных» соседей? Ведь дело доходило до изуверского глумления над русскими святынями. Разве не стояли в Успенском соборе лошади наполеоновской кавалерии? И француз не видел в этом кощунстве ничего особенного, потому что для него православие — не христианство, и Спаситель, написанный Андреем Рублевым, только идол диких скифов. А дерзнул бы, я вас спрашиваю, дерзнул-бы Наполеон обратить в конюшни, ну, скажем для примера, древние соборы в Риме или Кельне? ... И мы сносили эти обиды, это глумление и платили Европе за зло добром. Вот Александр, войдя

победителем в Париж, не отдал-же под постой «Нотр-Дам» платовским казакам и на пожар Москвы ответил сохранением Парижа в 14-м году. Этот же Париж, сто лет спустя, мы снова спасли ценой разгрома Самсоновской армии. И кого мы только ни выручали: французов, немцев, австрийцев, греков, болгар, и никогда ни отъ кого не получали за реки пролитой русской крови ни признания, ни благодарности. Какую чуткость, какое понимание и уважение проявляла Россия к Западу! Славянофил Хомяков, например, называл Европу — «страной святых чудес». А Достоевский! .. Эти его слова я помню наизусть: «Как любим и чтим мы великие племена, населяющие Европу, и все великое и прекрасное, совершенное ими...». Но сможет ли Запад поверить в искренность этих слов и понять общечеловеческие черты русской души? Сможет ли ..., когда школа, печать, политика, церковь заражены принципиальной русофобией. Вот Гитлер очень умело использовал эти анти-русские настроения Европы. Ради них она многое прощает ему, на многое закрывает глаза и наверное проглядит ту смертельную опасность, которая угрожает в первую очередь ей самой. Вы, вот, весь вечер распространялись о западной культуре. А, по моему, сегодня уже не ее сумерки, а катастрофический обвал, полный разрыв с гумманистическими идеалами. И, прежде всего, Германия представляетъ яркий пример того, к чему рано или поздно придет весь Запад. Философия создала идею иммoрализма. Христианство замещается культом сверхчеловека. Социология и экономика отвергают самоценность человеческой личности. Крестоносцы, о которых вы мечтаете, пожалуй, будут пострашней Аттилы... Не с востока на запад, а с запада на восток поднимается разрушительный, дикий, разъяренный хаос . . . Да--а-с!

Когда Денисов кончил говорить, наступило долгое молчание. Янчевский сидел, как на иголках, не зная уходить ли ему, или остаться еще на некоторое время, чтоб смягчить неприятный разговор. Он пробовал было поменять тему, но беседа, как-то, не клеилась. Посидев еще четверть часа, ушел.

По уходе Янчевского вышли из своих комнат дочери и стали приготовлять для Николая Ивановича постель в гостиной на диване, удивленно поглядывая на возбуж-

денного дядю, который сильно жестикулируя, продолжал беседу с Ветровым.

— Да, уймись ты, громобой, возьми себя в руки, — успокаивал его Николай Алексеевич. — Пойми-же, наконец, что Янчевский люто ненавидит большевиков. Ну, вот и хватил через край.

— Не в этом дело! А ты большевиков любишь? А я их люблю? ... Он ненавидит большевиков, но еще больше, именно, как ты сказал, люто ненавидит Россию. Скифы ... хаос ... Ах, какой болван! — продолжал бушевать Денисов.

В первом часу он, наконец, улегся, но заснуть не мог. Долго ворочался на узком неудобном диване. Утром сердитый и невыспавшийся, наспех выпил чашку кофе и повез племянниц на своем стареньком фордике в город.

В доме Ветровых снова обычные мир и тишина. По-прежнему Николай Алексеевич по утрам, проводив дочерей, уходит к себе в столярную работать. В перерывах между делом готовит обед. А после обеда садится в гостиной у окна и читает. Потом, когда устают глаза, закрывает книгу и задумчиво смотрит, как западный край неба горит багряным пламенем и раскаленный диск солнца медленно опускается за горизонтом. От красноватого отсвета заката в гостиной, как-то, пусто и светло. С грустным, как бы с прощальным взглядом, провожает Ветров уходящий день и невольно думает о своей уже прожитой жизни. В длинной веренице воспоминаний он, словно, проходит весь обратный путь от старости к детству. А, когда очнется от них, сквозь окна уже просвечивают сероватые сумерки. Ветрову не хочется двигаться. Некоторое время он продолжает неподвижно сидеть, делает над собой усилия, напрягает память, чтоб еще раз представить картины прошлой жизни. Но образы тускнеют и блекнут, и усталая память уже не может вновь восстановить их в полной яркости и силе. Тогда Николай Алексеевич, вздохнув, встает с кресла, зажигает свет и идет на кухню кипятить чай.

**
*

II. СУРОВЫЕ ГОДЫ.

Испепеляющие годы.
Безумья-ли в вас, надежды-ль весть?
От дней войны, от «дней свободы»—
Кровавый отсвет в лицах есть.

А. Блок.

Память человеческая не наматывает все прожитое и пережитое непрерывной нитью в один большой и пестрый клубок. Непрерывности нет. Есть обрывки жизни, то краткие, то продолжительные, местами прерванные неумолимым лезвием несчастий, потрясений и катастроф. И этот клубок разрозненных светлых и темных нитей, всякий раз, когда разматывается в памяти, заставляет вновь пережить в душе всю горечь обид, всю остроту перенесенных страданий или же те мимолетныя радости, которые так скупо и небрежно роняет нам жизнь, и от которых всегда веет тихой грустью безвозвратно прошедших дней ...

Два года спустя, как женился генерального штаба капитан Николай Алексеевич Ветров, началась первая мировая война. Быстро пролетела неделя сборов. С утра до поздней ночи без устали хлопотала, собирая мужа на войну, Наталия Ивановна и за хлопотами даже некогда было и подумать о близкой разлуке.

Прохладным, свежим утром ехали Ветровы на вокзал. Ночью прошел ливень с грозой, и теперь окна домов, мостовая и зелень бульваров, облитые летним дождем, сверкающие зыбким и трепетным блеском, казалось, дарили Ветрову на прощание свою теплую, солнечную улыбку.

И, как часто бывает, в моменты перед долгой разлукой Ветрова охватило тоскливое, тревожное чувство. Все прошлое и забытое, точно с умыслом сбереженное памятью до сегодняшнего дня, во всей своей яркости и четкости выростало в сознании. Вдыхая в себя свежую прохладу утра, невольно вспомнил Ветров свое детство. Давно это было, а Ветрову все представлялось так ярко, будто только еще вчера, вот по этой самой улице, ехал он в начале июня из корпуса на летние каникулы. Маленький узник, отбывший долгие месяцы в угрюмых стенах военной школы, трясся в кривой извозчичьей пролетке, пьянея от радостного чувства, точно что-то одно-

образное, утомительное и скучное вдруг свалилось с его плеч и он, наконец, дождался чего-то настоящего, о чем мечтал всю зиму. Он жадно оглядывался вокруг, вбирал в себя новизну улиц, шум озабоченно снующей толпы, стук пролеток, громыхание конок, басистый звон с колокольни. И на нем самом все новенькое, только что выданное из цейхгауза, летняя фуражка с белоснежной тульей, золотистая коломянковая гимнастерка с алыми погонами, блестящий лакированный поясъ ...

Долгие, счастливые месяца впереди. Он снова увидит семью, старый, огромный, построенный еще дедом, дом, березовые рощи за Каширой. Опять он будет бродить по узким лесным тропам, под тихой и ласковой сенью густой листвы...

Мать умерла, оставив Колю четырнадцатилетним сиротой. Десятью годами позже умер отец, а после смерти родовое Ветровское поместье пошло с молотка . . .

Нить воспоминаний внезапно прервалась, когда Ветрова снова пронизала мысль о войне. Теперь война казалась ему не отвлеченным и сухим предметом, который разбирается в училище и академии на лекциях, по тактике, а подлинной жизнью, в которую ворвались кровь, смерть и разрушения уже захлестнувшие границы огромной страны. И для него самого война быть может не просто долгая разлука. Прощай Москва, Россия ... Увидит ли он снова эти, так хорошо знакомые улицы, этот мокрый блеск булыжника и зеленеющую листву, освеженных дождем тополей. Кралось в душу холодное, ноющее, тоскливое чувство, от которого тускнело и хмурилось теплое, светлое летнее утро. Ветров отогнал угрюмые мысли, сразу-же взял себя в руки и бодрее стал глядеть вокруг ...

На перроне густо теснилась толпа. В голове поезда, против сверкавших синей и желтой эмалью классных вагонов тесным полукругом обступила статного седого генерала, с анненской лентой через плечо, группа старших офицеров. За ней пестрела яркая, нарядная толпа дамских платьев, сюртуков и военных мундиров. А там, где тянулась цепь красных теплушек, тысячью голосов слитно гудела масса простого люда. Оттуда же доносились звуки гармошки. Свесив из вагона ноги, русый солдатик с лицом грустным и задумчивым перебирал свою

трехрядку. Горестно уставившись на гармониста, утирали слезы бабы, слушая нестройный хор, слегка подвыпивших голосов.

«Последний нынешний денечек» . . .

Солдат внезапно оборвал мотив и, чтобы подбодрить людей, сыграл залихватскую и не совсем скромную песню о том, как на работе припотели девки, и что приключилось дальше ...

Наталья Ивановна стояла с мужем в стороне. Оба молчали, пристально глядели друг на друга, словно хотели запечатлеть на всю жизнь дорогие черты. И каждый думал про себя, что вот уходят последние минуты счастливой, спокойной жизни. А когда огромные стрелки станционных часов покажут 9 ч. 15 м., в жизнь ворвутся уже другие минуты и часы и принесут с собой тоску и темную неизвестность ...

Издали доносились звонкие трели гармошки. Играла она песни грустные и тягучие, как русская степь. Играла песни веселые и задорные, как девичий хоровод. И вдруг оборвалась на полуфразе ...

Дважды гулко ударил колокол. Щемящей болью, словно эхом, отозвался он в тысяче человеческих душ. Где-то, в толпе, жалобно вырвался женский вопль, потом еще, еще. . . Плач и причитанья женских голосов с каждым моментом нарастали, пока не слились в один сплошной, раздирающий душу вопль человеческого горя и отчаянья. Казалось, что люди вдруг почувствовали, что все, что происходило еще за минуту до этого, было не настоящее, что настоящее — то наступило только сейчас, что для многих это уже не долгая разлука на год или на два, а разлука навечно: последний в жизни взгляд, жест, звук голоса, последний момент перед тем, как тронется поезд и обороты его колес будут приближать родных, дорогих и близких сердцу людей к неотвратимой судьбе.

Звуки веселого, бодрого марша ворвались в протяжный вой женского плача и причитаний. Некоторое время они боролись, стараясь пересилить друг друга, пока оба не утонули в оглушительных перекатах — У р а ! И это ура уходило вместе с тронувшим эшалоном. Оно постепенно замирало и смолкло, когда исчез из вида последний вагон.

Наталья Ивановна умела прятать от людей в душе свое горе. Но то внешнее спокойствие, с которым она провожала на вокзале мужа и потом уже одна возвращалась назад, стоило ей неимоверного напряжения воли. Вошла в опустевшую квартиру, как подкошенная, упала на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, наконец, дала волю раздиравшим грудь рыданиям . . .

Приходили письма с дороги от мужа почти ежедневно: изящные, с золотым обрезом открытки - репродукции, видно муж купил их еще до отъезда. Потом приходили письма, написанные на дешевой почтовой бумаге или даже просто на листе вырванном из полевой офицерской книжки. Наталья Ивановна перечитывала каждое письмо по многу раз, пока не приходило новое, и потом аккуратно складывала в пачку, перевязанную атласной ленточкой.

Всякий раз, при чтении мужниных писем темная тень набегала на ее лицо и на ровные строки мужского почерка падали крупные слезы. Строки расплывались мутными пятнами, местами прерывались, точно растворило их горючей женской слезой. Часто по ночам стояла на коленях в слезах Наталья Ивановна перед зажженной лампадой. А в это время, за полторы тысячи верст, в блиндаже у тусклого закопченного фонаря Ветров, быстро прочитав штабной приказ, в пол-голоса передавал команду по окопу. В серой моросящей мгле люди разбирали винтовки, подтягивали тяжелые подсумки и ждали новой команды: кто с молитвой, кто со вздохом, кто с матерным словом. Потом, скользя, срываясь с мокрого бруствера, бросались вперед. У-ррр-ааа ... У-ррр-ааа . . . ааа!!!

С винтовками на перевес, бежали навстречу скрежещущей, воющей, рвущей, разящей смерти. Бежали и падали: одни со стоном, медленно подгибая под себя ноги, точно приседая на гимнастике; другие безмолвно и грузно, как подрубленное дерево, плашмя валились на землю.

У-рр-аа . . . аа . . . а ... а ... — слабея, прерываясь, тонуло в громовом грохоте, захлебывалось в собственной крови, обращаясь в крики, стоны и проклятья. Уцелевшие залегали на пол-пути, расстреливали последние па-

троны. Обезумев, оглохнув, потеряв половину своих товарищей, ползли назад в окопы.

Атака отбита.

А на завтра в Росси мелким газетным шрифтом печатались сводки военных телеграмм:

«На Юго-западном фронте без перемен» ...

— «На фронте без перемен» — трагичные будни войны. Трагичные и правдивые. Потому что ровно ничего не изменилось ни у русских, ни у немцев оттого, что сотня, другая мужиков и парней полтавских, самарских и барнаульских осталась недвижно лежать на польской земле под хмурым осенним небом.

Завтра, после-завтра, через неделю и месяц — те-же сводки, те-же стереотипные скучные слова: . . . без перемен. . .

Только чаще в городах и селах горько рыдали женщины, припав головой к скорбному списку, прижимая к груди осиротевших младенцев.

Так тянулись недели и месяца. Отступали, наступали, округляли и выравнивали фронты. Много раз полковник Ветров снимал фуражку, наспех крестился и потом, взяв винтовку, вел солдат в атаку. Дважды для него прерывалась война, и дважды в глубоком тылу над постелью раненого мужа просиживала ночи Наталья Ивановна.

Воевали четвертый год. Война не кончалась. Она так и не закончилась. Нечто более стихийное и грозное надвинулось на Россию.

Далеко за фронтом, в изголовьи страны лежала на смертном одре двухсотлетняя империя. Таял ноздреватый, темный снег. Шумливо текли ручьи, смывая и унося, вместе с листками декретов, царских министров и сановников. На лужах и мокром асфальте трепетали сверкающие блики медных труб и красных флагов. Охтенские бабы с злым, визгливым смехом били метелками по широкозадной медной кобыле. И всадник, под стать лошади, кряжистый и грузный, в армейском мундире и низкой барашковой шапке сидел спокойно и задумчиво смотрел из под широкой бороды вниз на хулиганов, писавших углем и мелом на гранитной глыбе пахабщину. В том же городе Санкт-Питербурге другой всадник дыбил горячего коня. В неистовом гневе потрясал над Не-

вой кулаком и нещадно материл: министров за то, что проспали власть; адвокатов, бредивших славой Бонапарта; преображенцев и семеновцев, топтавших сапожищами старые петровские знамена. Материл и всю многотысячную толпу на Невском: студентов и рабочих, профессоров и лабазников, статских советников и карманщиков, оперных примадонн и проституток, — вкупе всех тех, кто фальшиво голосил, пошло перевирая величавую песню Руже де Лиля.

А на фронте: у Риги, в Полесье, в Белоруссии, Румынии и Турции под мартовским солнцем растекались ручьи талого снега, смывая вместе с мусором и конским пометом многомиллионное русское воинство. Части бросали свои позиции на произвол врага и устремлялись в тыл, вглубь взвихренной революцией матушки Руси. Гремя пьяной песней, с уханьем и свистом, в клубах дыма и пыли неслись поезда на восток. Солдаты тучами, как саранча, облипали составы. Ехали под лавками, на крышах, на тормозных площадках, верхом на паровозе, гроздьями висели на подножках.

Конец войне ... Домой !..

Шли по шпалам ватагами и в одиночку, с вещевыми мешками, сундучками и узелками.

Конец войне ... Домой! Домой!...

Но напрасно суматошились, напрасно ехали и шли. От судьбы не уйдешь. Никто не ушел от общей русской судьбы.

Поздней осенью, когда поля уже покрылись снегом, в вагоне битком набитом солдатней, возвращались с фронта два исхудалых, обросших человека в поношенных нагольных полушубках — Ветров и, один из офицеров его бригады, капитан Петр Ильич Ганин.

Ганин пользовался большим расположеним у своего начальника и, разумеется, платил ему искренним уважением и преданностью. В тревожное и опасное время Ганин не покинул своего командира. Так вместе они и пробирались с фронта домой.

Часто вспоминал Ветров, как осенью 15-го года, в разгар кровопролитных боев у Черторийска, однажды утром в избу, где размещался штаб полка, вошел молодой офицер в новом обмундировании с блестящими, будто бы только из магазина, походными ремнями. Щелкнул

каблуками и застыл с рукой у козырька высокий, смуглый человек. Продолговатое лицо, прямой, тонкий нос, тщательно выбритые, отливающие синевой щеки и подбородок.

Ветров с ног до головы оглядел вновь прибывшего. Подтянутый, складный, точно влит в защитную суконную гимнастерку. На груди значек технологического института. И по всему: по заправленной за пояс гимнастерке, по развернутым носкам и ладони, отдававшей честь руки, почувствовал в нем военную жилку. Ветров поздоровался.

— Какого училища, поручик?

— Алексеевского, г-н полковник .

— Хорошее училище. Выпуск военного времени, а каких молодцов выпускают, да еще из студентов, — улыбнувшись, пошутил Ветров. Вас впору хоть в гвардию а?

— Старые дрожжи, господин полковник,— тоже слегка улыбнувшись, ответил Ганин.

— То-есть? ...

— Из корпуса еще осталось.

— То-то я смотрю. Да-да, из корпуса, значит, в университет. Бывает и так, особенно среди хороших учеников. Поди унтер-офицером кончили?

— Фельдфебелем, г-н полковник.

— Ого ... — удивился Ветров: так вот, голубчик, направляйтесь в первый баталон к подполковнику Ивлеву. У него большая убыль офицеров. Знакомьтесь, привыкайте к окопной жизни. Ночью нам предстоит серьезное дело. Храни вас Бог!

Молодчина! — подумал Ветров вслед уходившему Ганину. И не ошибся. Недели две спустя Ганин, командуя полуротой, первым ворвался в немецкий окоп, был произведен в поручики и представлен к Владимиру с мечами.

С тех пор, судьба крепко и надолго связала обоих офицеров.

. . . . . .

Ехали медленно. Сутками стояли на забитых поездами станциях. На железных дорогах царил невообразимый хаос. Солдаты брали с боя паровозы, угрожали начальникам станций немедленным расстрелом. Сами открывали семафоры, переводили стрелки, отправляли без жез-

лов поезда. И часто можно было видеть из окна вагона лежавшие навзничь под насыпью паровозы среди груды разбитых вагонов ...

В вагоне стоял промозглый махорочный сумрак, сквозь который едва пробивались расплывчатые тусклые пятна фонарей, подвешенных над входными дверями. В этой сизой мути глаз едва различал плотную массу человеческих тел. И только по многоголосому слитному говору можно было догадаться, что людьми заполнено все пространство вагона. Люди стояли, сидели, лежали: в проходах, на полу, под сиденьями, на багажных полках. В тихий говор временами врывались раскатистые взрывы смеха, обрывки песни, матерная брань, и все это перемешивалось с ритмичным дробным стуком колес. О нормальном сне нечего было и думать, забывались в полудремоте на часок другой, а потом, чтоб скоротать длинный путь домой, толковали о российских событиях. В этих солдатских беседах царило удивительное согласие мнений. И не только самые мысли десятков людей, казалось, были облечены в одни и те же однообразные серые шинели, но и чувства, с которыми эти мысли высказывались, напоминали собою один общий инстинкт возбудораженного человеческого стада. Так: о фронте солдаты говорили неохотно и вяло; о революции торжественно, с нотками неподдельного пафоса; об офицерах с нескрываемым презрением и ненавистью.

По соседству с офицерами, за деревянной перегородкой тесно сгрудившись на лавках кучка солдат слушала смуглого, вихрастого рассказчика.

. . . Так вот, приехали, значит, в нашу дивизию дилигаты-араторы. Сначала побывали у галичан, апосля — в наш полк. Ребята молодые, главный-то видать из рабочих. Ну, а другой при нем, вроде, как адьютантом, невидный носатый парнишка. Долго говорили, так и так, мол, нечего вам боле на фронте окалачиваться. Кончай войну и — по домам, потому немцы нам — не враги. Наши первые враги — буржуи, помещики и офицера. Валите с оружием в руках по домам громить помещиков, истреблять золотопогонников. Слушают солдаты дилигатов, ура кричат, ажно жилы на лбу пухнут.. И не заметили, как пробрался сквозь солдатню баталлионный

подполковник Урядов. Сказать по совести, покойник-то до нашего серого брата понятие имел, да и в бою храбрости отчаянной. Встал он рядом с дилигатами да зычным своим голосом:

— Братцы! Не слушайте этих прохвостов! С вами я всю войну прошел, один сухарь жевал, одна нас пуля била, дозвольте теперь мое командирское слово сказать. Ваши деды Севастополь грудью отстаивали и своей кровью нашему славному Муромскому полку георгиевское знамя заслужили. А вы вот, теперь дедов позорите и матушку Рассею врагу хотите предать..!. Солдаты молчат, ни-то пред командиром оробели, нито крыть им на это нечем. Потом Урядов повернулся к рабочему. Так и растак, меня врагом народа обзываешь, щенок! — И хлесть его в ухо! Упал на земь рабочий. Кровь из ушей поползла. Солдаты еще больше оробели. А полковник Урядов приказывает: убрать этого черта паршивого, а сам подался в офицерскую землянку. Разошлись мы с митинга, обсуждаем, что и как, проговорили до ужина. Ночью разбудила нас стрельба да гранатные взрывы. Выбегам выяснить, кто стреляет. А это со станции ватага солдат неизвестной части прибыла. Они, значит, всех офицеров, что были в землянке вместе с Урядовым и прикончили.

Ну, здорово, — одобрительно загудели слушатели.

После минутного молчания кто-то из слушателей спросил:

— А какая же теперь в Рассеи власть будет? Керенский, али кто?

— Свернут твоему Керенскому шею, — наставительно заметил рябой, — ежели разобраться пристально Керенского-то власть, язви его в душу, нам ни к чему. Вот сказывают Ленин с большевистской шатией в дамки наровит проскочить. Вся балтийская матросня и рабочие ихнюю линию ведут.

— Правильно, — одобрил один. Раз большевики, значит, больше вольготности для простого народа будет.

— Дожидайся! — вмешался в разговор другой солдат. Большевики — то эти самые да мастеровщина, тоже, поди, народ жоховый: в одном кулаке пряник кажут, а другим по харе мажут. Опять же матросня, что и гово-

рить, — головорезы. Через них, поди, не мало крови прольется.

— Ясное дело, — ответил рябой: а ты, как думал? На то и риволюция, -— всех не нажалеешься. Вот к примеру французы — народ образованный, а в ихнюю революцию, тьму народа перебили и своему королю башку снесли.

— А что с нашим то будут делать?

— Известно, что. Раз риволиция, везде одно и то-же, что во Франции, то и у нас. Да, брат! Рассея тебе — не Франция. Разойдется, так не скоро уймешь. Русский человек, ежели шлею под хвостом почует, все вдребезги расшибет!

Рябой солдат полез в карман шинели за кисетом, свернул козью ножку и закурил.

— Я вот так понимаю, — снова начал он: нельзя одним законом тысячу лет жить. Скажем, устав полевой службы и тот меняют. Долго терпели царя и енералов. Теперь — баста!

— Ну, чтож, — отозвался из угла пожилой фельдфебель с 3-мя георгиевскими крестами на шинели: закон человеком писан, человек - же его и сменить может. Вот только Божьего закону люди-то переступать не должны.

— А какой-такой Божий закон? — с ноткой иронии спросил рябой солдат: я вот, как в боях побывал, насмотрелся на все ужасти, так веру-то и отшибло. Да и история одна на фронте такого рода была. Сменили, значит, у нас командира корпуса. Ну, новый-то апосля смотра подался в штаб и прямо к карте. Посмотрел, покачал головой и начальнику штаба: что, говорит, за недосмотр, — весь фронт ровный, а здеся — это он, где Воля Шидловска на карте указана, линия загнулась. Выправьте.

— Слушаюсь, ваш-ство.

Отдал приказ выровнять. А там немецкий полк с пулеметами на польском кладбище окопался. Хватились, артиллерии у нас, как всегда, нету. Ну, валяй, ребята, выбивай немцев с позиции штыками. Раза три ходили в атаку, народу побили страсть! Потом-то взяли все-же, да без толку, потому весь фронт вскорости подался назад, верст на пятнадцать.

Рассказчик затянулся в последний раз, бросил окурок

и сплюнул. — Стоим мы, значит, в окопе, к новой атаке готовимся. Сосед справа побледнел, снял фуражку: Господи, заступи и сохрани! А у самого по лицу слезы бегут. Д-да! А слева от меня, другой товарищ, отчаянная голова, кроет всех напропалую и Бога и царя с отечеством. Пошли в атаку. Того-то, который молился, сразу и подсекли наповал. А другой матершинник-то, немецкий пулемет захватил, и его к кресту представили. Так без молитвы-то оно бывает и лучше, — заключил рассказчик.

— На войне всякое случается, — вставил замечание фельдфебель: а вот, насчет твоих земляков я так мыслю: у одного-то душа чувствовала близкий конец, оробела и к Богу в смертный час обратилась; ну, а другой-то, видать, долго еще на земле канитель тянуть будет, ему можно и повременить. А когда его час придет, так и тот может Бога помянет. Мне вот, к слову сказать, на двух войнах пришлось побывать; не счесть сколько разов ходил в бой, и всякий раз с молитвой.

— Ну, и что? Молитва-то помогаетъ?

— А ты — слепой что-ли? Эти то кресты может ему на грудь прямо с неба свалились — сострил кто-то.

Вся компания залилась дружным смехом.

— А чего ржать-то? — укоризненно проговорил фельдфебель: ведь дельное говорю. Молитва то не от смерти, а от скорби душевной спасает. Молись, не молись, а когда нибудь каждому свой черед придет. Да и молился-то я, чтоб Бог не от смерти уберег, а помог с мужеством ее встретить.

— Ты, вот, кавалер, — обратился к фельдфебелю рябой: все про Бога твердишь; а я мыслю, что Бог то — одна выдумка, суеверие темных масс, потому будь Бог в самом деле, да имей он жалость к людям, не допустил бы на земле столько горя и зла. Может Бога-то выдумали нарочно, чтоб народ смирней и терпеливей был. Тебя, стало быть, по одному уху огрели, а ты подставляй другое и молчи. Знай только морду по сторонам ворочай, а помощи от Бога нашему брату мужику не дождаться.

— А ты и не жди. Ты вот, подумай только, сколько всякого народу к Богу обращается: и наши и немцы, и му-

жик и барин, купец и поп. И все просят помощи. А кто Богу то будетъ помогать правду на земле блюсти? Я тебе не про то толкую, что надо ждать правды от Бога, сложа руки. Борись за нее, за правду, да Бога то не хай. Он за правду больше нашего претерпел.

Ветров с Ганиным внимательно слушали солдатскую беседу.

— Занятный разговор, — тихо, почти шепотом, сказал своему спутнику Ганин: кому бы могло придти в голову, что так бесславно кончится война. Недавно один артиллерийский капитан рассказывал, как его солдаты продали немцам гаубичную батарею за 75 рублей. Трудно поверить, что прадеды этих солдат переходили с Суворовым Альпы, геройски умирали на Бородинском поле и Малаховом Кургане. А в тылу-то что творится! В деревнях жгут помещичьи усадьбы, в городах грабят магазины, распродают на толкучках бесценные сокровища музеев. Всюду безграничная анархия, новый пароксизм русского бунта, новая разиновщина, еще не бывалых масштабов. Да! Народная революция Степана Разина. Есть над чем призадуматься нашим либералам.... Страстная мечта многих поколений русской интеллигенции о свободе и народоправства, за которую люди шли в Нерчинские рудники, не сморгнув поднимались на эшафот, гнили в Шлиссельбургской крепости, обернулась какой-то хованщиной 17-го века. Декабристы, Герцен, Чернышевский, Петрашевцы, Фигнер, Засулич — их пламенная вера и жертвы, все это осталось не при чем, рассеялось, как сон. Да, именно, сон. Иногда мне кажется, что я потерял чувство действительности. Все утратило свою реальность, и даже трудно разобраться, что было сон, что явь. Может быть двухсотлетний период империи, ее ослепительно яркий расцвет мысли и чувства, — все это причудилось нам во сне. Учредительное собрание, князь Львов, Керенский, Чернов, — это уже последний обрывок сна перед пробуждением, перед потрясающей явью. А вот и явь: представьте себе Таврический дворец, в нем произносятся патетические речи о том и о сем, о правах человека и гражданина, о liberté, egalité, fraternité, переливают словеса из пустого в порожнее и, вдруг является свирепого вида, кудлатый, краснорожий, обвешанный гранатами матрос, стучит волосатым кула-

чищем по председательской кафедре —«ну, побрехали, хватит, мотайте отседова, пока целы» ... И все народные трибуны, съ этакой заискивающей улыбочкой засунули свои политические шпаргалки в портфели и засеменили вон. Скатерью дорога! Их судьба меня трогает меньше всего. Дело не в них. Но какая-же свобода, народоправство, какие реформы политические, социальные, экономические могут возникнуть из общего безумия, грабежа, сумашествия, преступлений, хлыстовских радений политических фантастов? Что делать русской интеллигенции? Покорно положить свои головы на плаху? Наконец, что делать нам? А именно, нам то, рядовому офицерству придется тяжелее всех. Четыре года русский офицер сидел вместе с солдатами в окопах. Показывая личный пример, он умирал впереди цепей. Как велик, и в то-же время, как трагичен этот подвиг, когда самое имя офицера становится теперь позорной, бесчестной кличкой. Судьба отняла у нас даже право на уважение за наше великое самопожертвование, о котором новые евангелисты могли бы сложить свои книги житейных подвигов и моральных поучений. Вот у меня в вещевом мешке заряженный наган и, признаться, часто тянет к нему. Взять, да и размозжить себе висок, тогда и в с я революция разрешится просто, по крайней мере для меня.

— Ну это не решает судьбы офицерства, — ответил Ветров, а главное, не решает судьбы России, о которой, надо полагать, вы более всего и печалитесь. Вы вот, Петр Ильич, очень метко сказали о хованщине— оригинальное и по существу верное сравнение. Только я то думаю, что если есть темная стрелецкая масса, то должны найтись и Шакловитые, кто-то должен проявить заботу о государстве и народе. Может быть, где-нибудь мужает и юный Петр. Это, конечно, вы понимаете, я выражаюсь фигурально. Дело не в Петре-Царе, а, так сказать, в самой идее Петра - гениального реформатора. Теперь, когда революция произошла, уже трудно говорить о подавлении ее. Нужно стремиться к ее должному развитию и завершению. Пала монархия, церковь отделена от государства, исчезнет аристократия, помещики лишатся земель, фабриканты — капиталов. Все это может быть неизбежно, и с этим нужно прими-

риться. Самое же главное, чтоб революция выявила в себе не бунт и разбой, а порядок и созидание. Революцию надо вдохновить не разбойными и разрушительными лозунгами, а .идеями мира и социальной правды Именно, только такая революция спасет Россию; бунт — ее погубит. Надо бороться с бунтом за революцию. Бороться за другой, новый, неведомый прежней империи порядок. Бороться за лучшую долю темной мужицкой массы, способной лишь понять всю глубину вековых обид, чувствующей лишь боль перенесенных страданий. За них надо бороться, в то же время сдерживая темные разрушительные инстинкты этих людей. Тяжелой будет эта борьба, но чтож делать? Иного выхода у нас нет. И если судьбе угодно, за горе и позор России мы расплатимся собственной головой ...

Медленно тащился эшалон. На полпути его застигла гражданская война ...

III. СУРОВЫЕ ГОДЫ (продолжение)

От войны к войне. От европейской драмы — к русской трагедии. Еще не сгладились в памяти дни яростных боев и остроконечные стальные каски атакующих немецких цепей, а уже всю Россию от Днепра до Амура, вдоль и поперек перерезали фронты гражданской войны. Петроградский, Донской, Царицынский, Архангельский, Забайкальский . . . нет числа фронтам. Они растеклись, расплылись, поглотили в себя все и всех. Из Питера и Москвы тянулись к фронту вереницы сумрачных заводских рабочих. Обвешанные гранатами, подпоясанные пулеметными лентами, в безкозырках, сдвинутых буйным чубом на затылок шли матросы. Со старым и медными крестами поверх рубах шли кряжистые бородатые, волжане и уральцы.

От этого бесконечного людского потока стонала и корчилась в крови земля. А они все шли и шли ... Шли по невспаханным, поросшим ковылью полям. Продирались по колено в снегу сквозь сибирскую тайну. Тянули въ распутицу увязшие по ступицу в грязи пушки.

Горели красными пожарами города и села, обращаясь в развалины от боев и мятежей. Везде рвалась шрапнель и строчили пулеметы, заколачивая в пространство

свинец. Всюду разбивались магазины, винные погреба, грабились квартиры, разорялись усадьбы. Всюду метались бронепоезда, и когда под ними взрывались мосты, вагоны с грохотом, наседая друг на друга, летели вместе с фермами на дно оврагов и речек. Всюду расклеивались декреты, манифесты, воззвания, служились молебны, собирались митинги. Всюду работали штабы, исполкомы, чрезвычайки, контрразведки. Всюду вешали, расстреливали, запарывали на смерть, вырезали на живом теле лампасы, творили над людьми скорую расправу без суда и часто без вины.

***

Царской службы генерал-майор и кавалер двух степеней ордена Св. Георгия Победоносца, Ветров в гражданскую войну командовал белой дивизией. Дивизия Ветрова, сформированная из кадровых солдат, офицеров и юнкеров, быстро стяжала славу «железной». Правда, во многихъ кровопролитных боях она потеряла большую часть своего прежнего состава, но новички, попадая к Ветрову, быстро усваивали традиции дивизии, и невольно, следуя примеру старых бойцов, закалялись, обращаясь в превосходный боевой матерьял.

Боевая служба самого Ветрова на фронте гражданской войны стала несравнимо труднее всего того, что пришлось испытать в прежние годы. Гражданская вой на — особая, импровизированная. Как ее вести —этого не преподавалось в академии, потому что она не подчинена ни военной науке, ни стратегическому анализу и плану. Казалось иногда, положение складывалось самым благоприятным образом, но внезапно на соседнем участке части, перебив своих офицеров, переходили к красным, оставляя огромную брешь. Иногда враг исчезал, словно провалившись сквозь землю, и неожиданно, вместо него, появлялся уже в тылу другой, в десять раз сильнейший противник.

Как и большинство боевых офицеров, политикой Ветров не занимался: пусть ей занимаются в штабах и тылу. А на фронте для политики попросту не оставалось времени. Надо дивизию накормить, обуть, снабдить патронами, расквартировать. Надо вести ее в бой. Надо похоронить убитых, позаботиться о раненых. Надо по-

говорить с выборными от населения, уберечь его от насилия и грабежей. Многое, что надо было сделать, и со всем справлялся Ветров. Изредка на недельку срывался с фронта, чтоб повидаться с семьей. За год до революции у Наталии Ивановны родилась дочь первенец Надя, а спустя два года — младшая Вера. Наталья Ивановна кочевала с детьми с места на место. Неделями жила в вагонах на запасных станционных путях, а когда к городу подходили красные, унылый беженский эшалон плелся дальше на новое кочевье.

По тем же путям и дорогам за белой армией тянулся ее тыл, где политические лидеры всевозможных толков, сидя на чемоданах, составляли декларации будущих правительств, профессора вели длительные и утомительные диспуты о принципах российского конституционализма. Там тяжко вздыхали сановитые архиереи, вспоминая о беспечальном, мирном житии. Начисто разоренные купцы сидели над раскрытыми ларцами, заливали горе водочкой, закусывая балычком. Помещики заключили сделки по купле-продаже земельного имущества в областях, намеченных к очищению от «мятежных красных банд». Возникали своеобразные биржи, на которых котировались цены помещичьих земель. Если белый фронт продвигался, — ценность земель поднималась, и наоборот, — с отступлением белых недвижимость падала в цене.

— Не скупитесь, милейший, накиньте еще, — обычно в таких случаях, уговаривал продавец: доподлинно известно, — стратегический отход, всего на три дня. По суворовски заманиваем, чтоб окружить и разом прихлопнуть . . .

. . . . . .

Жарко парилась в кровавой бане Россия. Плескала полными ковшами кровь на пылающие головни горящих сел, на раскаленный камень разбитых городов. И над землей и поднимался кровавый пар, дурманя, пьяня, пробуждая в стане красных и белых звериную ненависть. Ветров вспоминал кровопролитные сражения германской войны, но тогда жестокость и суровая необходимость убивать врага умерялась и обуздывалась воинской этикой, тем неписанным законом, который строго соблюдали солдаты иностранныхъ армий. В граждан-

ской войне ни у красных, ни у белых не было сострадания к обезоруженному, раненому, пленному врагу. В ней не просили пощады и никому не давали ее. В ней не было солдат и мирных граждан. В роковом историческом расколе все были, вольно или невольно, вовлечены в борьбу. Все разделились на красных и белых; на лагерь в погонах, воротничках, сюртуках и рясах, и лагерь буденовок с алой звездой, рабочих блуз, матросских бушлатов и рваных мужицких зипунов. Красные громили казачьи станицы, монастыри, поместья. Белые жгли мужицкие села и рабочие слободки. В этой осатанелой, неистовой, беспощадной мести вырвалась наружу веками затаенная вражда. Словно поколение, поднявшее революцию, мстило за отцов и дедов, за в е к о в у ю нищету, за крепостную неволю, за голод и обиды. На месть красных отвечали лютой расправой и белые. Но в ней уже говорило предчувствие близкого поражения. И всякая новая неудача на фронте, порождала злое чувство выместить, сорвать злобу, утопить безнадежность дальнейшей борьбы в крови пленных врагов или заподозренных в сочувствии к красным мирных жителей.

Вовлеченный в пекло гражданской войны Ветров вначале глубоко верил в правоту того дела, за которое он боролся и за которое, не сморгнув глазом, положил бы собственную жизнь. А действительность гражданской войны несла с собой иное. И, видя пред своими глазами эту действительность, Ветров уже без прежней веры изо дня в день нес свою трудную и ответственную службу...

Как-то шедший в авангарде казачий отряд с боем занял большое село. На другой день в него вошла дивизия Ветрова. На площади, возле церкви, на мерзлой покрытой инеем земле лежали ряды разутых, в окровавленном нижнем белье, расстрелянных красноармейцев. У места казни в тягостном молчании стоял народ. Мужики нервно мяли шапки; бабы украдкой смахивали слезы:

— Эх ... сердешные . . .

Когда Ветров подошел к толпе, он прочел на ее лицах смущенное чувство людей, словно просящих у него, сильного и знающего человека, помочь разобраться в этом ужасе и крови. Сняв фуражку, хмуро смотрел Ветров на посиневшие лица с открытыми ртами, точно с застывшим на них криком о помощи.

— Зрелище вразумительное, — сипло пробасил за спиной Ветрова стрелковый прапорщик с испитым красным лицом: око за око, так сказать ... В его словах звучала какая-то нотка подобострастия, а узкие, прищуренные глаза, лукаво забегали по толпе, словно искали в ней одобрения. Но на него никто даже и не взглянул.

— Сейчас же назначьте команду вырыть братскую могилу и похороните их, как можно скорее, — сказал Ветров стоявшему около него адъютанту. А потом, минуту подумав, приказал вызвать к себе полковых и батальонных командиров. Когда командиры были в сборе, Ветров обратился к ним с кратким словом.

— Я собрал вас, г-да офицеры, чтоб побеседовать с вами о том, что вы, все видели утром на площади. Какая гадость, какое позорное дело — казнить такую массу пленных, к тому же еще своих русских. Ведь многие из них, возможно, были мобилизованы или бессознательно, подчиняясь инстинкту масс, попали в красный лагерь. Нужно ни капли — не любить, страну, не жалеть свой народ, чтобы чинить такое кровавое изуверство... Ну, хоть бы, ограничились расстрелом китайцев, мадьяров, латышей — этих кондотьеров Льва Троцкого, — весь этот интернациональный сброд, чтоб не совали носа в нашу распрю ... А ведь, чью кровь проливают Каины? Этим мы губим самих себя. Белую идею предаем. Всю Россию, весь народ подымаем против себя-же. В нашей дивизии этого пока еще не бывало. А случится избиение или убийство пленных, предупреждаю, буду карать жестоко ....

Ранним утром поля были покрыты прозрачным серебристым покрывалом. Сквозь шинели зябко прохватывало холодком. Тонкий, хрупкий ледок на дороге хрустел под мерным шагом пехоты. Дивизия Ветрова выступила из села. На его окрайне, за кладбищенской оградой чернел холм свеже насыпанной земли. Проезжая мимо, Ганин задумчиво смотрел на могилу расстрелянных. И сидя в седле, он долго думал о этих поверженных и казненных врагах, лежавших теперь под спудом свежей земли. Война — жестокость и разрушение. Жестокость с обеих сторон. Но там жестокие средства оправданы, по крайней мере, какой-то целью, верой. А что — у нас?

Ни веры, ни цели. Одна труха, одно мучительное сознание собственного бессилия . . .

**
*

Близился трагический эпилог белой эпопеи. Оставляя кровавый след, армия откатывалась к последним рубежам: к самому краю родной земли. Сначала вихрем пронеслись блестящие лакированные поезда с учреждениями уже несуществующих правительств, со штабами исчезнувших частей. Потом долго и медленно тянулись красные или защитные эшалоны беженцев. А уже за ними с непрерывными, жестокими боями отходили поредевшие полки. В суровых просторах зимней степи, на полях и дорогах источалась и стыла кровь. У обочин дорог валялись разбитые обозы и батареи. Среди этих обломков, присыпанные первым снегом, лежали в перемежку с конской падалью тела убитых и умерших от сыпняка белых солдат. А у тех, кто еще был в состоянии отбиваться от наступающего врага и прорывать партизанские засады впереди, пронизывала сознание мысль о неотвратимой катастрофе.

С непрерывными тяжелыми боями, прикрывая отступление всей армии, отходила дивизия Ветрова. Мимо железнодорожного полустанка, где временно стояло несколько вагонов со штабом Ветрова, двигались колонны пехоты. На рысях шла кавалерия. Тянулись орудийныя запряжки, кухни, телеги, сани, лазаретные линейки с тифозными больными и ранеными. Изнуренные тяжелым, долгим переходом лошади падали, потом вставали под ударами кнутов, дергали из последних сил и, завалившись на бок, оставались недвижно лежать позади отступающих колонн.

Уже в сумерках Ветров вернулся с позиций. Потом, не раздеваясь, целый вечер сидел у себя в вагоне за большим столом, устланными двухверстками. Непрерывно дребезжал полевой телефон. Ветров отрывался от карт, принимал доклады, отдавал распоряжения и снова отмечал цветным карандашем, меняющуюся обстановку. За окном, из темноты доносился непрерывный скрип колес и полозьев, ругань, ржание коней, слитный топот сотен людей и, казалось, не было конца этому живому потоку. От отдаленных орудийных взрывов, дребезжали окон-

ные рамы. И когда Ветров, временно прерывая работу, откинувшись на спинку стула, сидел в пол-оборота к окну, багровые отсветы пожара ложились на его исхудалое постаревшее лицо.

Снова начались непрерывные вызовы. А у края стола, терпеливо ожидая конца разговора, стоял Ганин с бледным и осунувшимся от бессонных ночей лицом, в старом потертом полушубке и валенках. Ветров, окончив разговор, повесил трубку.

— Садитесь, Петр Ильич. А сам, по привычке, внимательно оглядел вошедшаго офицера. Ганин сел, опустил голову, уставившись на обшитые кожей валенки.

— Поговорить бы нужно с вами, Николай Алексеевич, вопрос то уже очень важный ...

Томительным гнетом заполнилась минута молчания. Видно, Ганин делал над собой усилие, чтоб начать разговор со своим старым начальником и другом.

— Конец ведь нашему делу! Ну, быть может, хватит сил пробиться к окраинам. А дальше что? Неминуемое, окончательное поражение? Признаюсь, я уже давно утратил веру в нашу победу. И не потому, что мы дрались хуже красных, были слабее духом. Нет. Не раз мне казалось, что красная армия, вот-вот, рассыпится... и она действительно рассыпалась. Наверное, будущие историки, изучая эпоху граждиской войны, будут в недоумении разводить руками, как это объяснить: белые били красных не раз, а много раз и на всех фронтах. Много раз красная армия разваливалась, бежала врассыпную... Потом вновь собиралась и шла в наступление, чтоб, в конце-концов одержать окончательно победу. А секрет то очень прост. С ними народ... А с нами кто? Бывшая столичная знать, члены разогнанной государственной думы, разжалованные министры, заправилы февраля, мелкопоместное дворянство да еще гибнущая в жертвенном порыве молодежь: кадеты и юнкера... При таком условии наша борьба была ни только непосильна, но попросту невозможна. Начав борьбу, мы должны былибы все время только побеждать. Даже один единственный проигранный бой или крупный урон становился для нас гибельным, потому что неоткуда было ждать нам помощи, пополнения, притока новых сил. Не учли мы главного: народ против нас. И за эту ошибку мы запла-

тили потерей всего того, что мы называем Россией. Что же дальше делать? Бежать за границу? Просить милостыню? Протянуть руку перед цивилизованным и обеспеченным мещанином запада, с трудом выговаривая и коверкая иностранные слова? Страшно мне это сиротство за границей. Люди в котелках, смокинги, таксомоторы, метро, небоскребы, отели — весь этот сказочный комфорт ... И среди этой сутолоки, шума и азартной биржевой игры ... вдруг я ... с моей неизбывной тоской и вечной думой о России... Бежать от опасности, от террора? Может быть, по человечески то, это — естественно и понятно. Но ведь все — то убежать не могут. Убегут единицы, десятки, сотни или даже тысячи. А сто пятьдесят миллионов останется. Почему же я должен быть среди первых, а не с последними? Да и что значит бежать от опасности и ужаса? Это значит закрыть глаза и заткнуть уши — и только! Ведь от одной мысли, что Россия страдает, истекает кровью, вымирает от голода и сыпняка, ведь от этой мысли никуда не скроешься, никуда не убежишь — ни в Париж, ни в Лондон, ни в Нью-Йорк. Я знаю, что она всюду будет преследовать меня, нигде не даст мне покоя, будет вечно щемить сердце и отравлять жизнь. А, если так, то зачем же отворачиваться от русской агонии и не внимать стонам?

Нет, уж лучше знать, видеть все, перенести самому без угрызения совести, что покинул в беде народ близкий и родной по крови, по быту, по тысячелетней судьбе ... Да, именно, — по тысячелетней судьбе. В ней, в этой судьбе выпало на нашу долю исключительное по своей жестокости время. Пусть так. Но неужели-же, из-за этого я отрекусь от России, порву живую связь с ней, с народом, который строил прежде и будет строить мою отчизну? Может быть, я уцелею и тогда буду работать упорно, не щадя себя в труде ... И верю, что среди обломков и развалин, которыми завалена сейчас страна, жизнь снова начнет возрождаться ... Снова появятся молодые русские всходы, пусть редкие, робкие, искривленные, но они умножатся, окрепнуть, выправятся. Не допустит Бог погибнуть России. Выживет она, все перенесет! Вновь расцветет земля, и счастливыми будут наши дети. А о себе-то, я думаю меньше всего. Прощайте, Ни-

колай Алексеевич ... не осудите. Понять - простить. Вот только, поймете-ли меня? ....

Ганин встал и глядел на Ветрова влажными глазами. Поднялся и генерал. Подошел к нему, положил на плечо руку.

— Нет, понимаю. Все понимаю, дорогой ... Тот не поймет, тот бросит камень, кто умертвил в себе любовь к России ... Только тяжело мне расставаться с вами, Петр Ильич. Привык я, сроднился с вами. Ведь подумать только, как много пережили вместе ... Ну, что-ж! Храни вас Господь!

На глазах Ветрова навернулись слезы. Он перекрестил, обнял и поцеловал Ганина. Ганин вышел из вагона. А Ветров долго стоял у окна, провожая взглядом высокую фигуру в сером солдатском полушубке, пока она не скрылась в сером сумраке железнодорожного полустанка. Никто так и не узнал о дальнейшей судьбе Ганина. Быть может, его захватил красноармейский дозор и расстрелял на месте. Или он разделил печальную участь с сотнями и тысячами белых офицеров в подвалах чрезвычаек. А может быть уцелел, и, не щадя своих сил, стал трудиться восстанавливая разоренную и окровавленную страну, глубоко веря в ее судьбу.

***

Времена долгих и трудных походов для Ветрова прошли. Теперь по ночам не звонил полевой телефон. Не дрожали от орудийного грохота оконные рамы. Можно было спать без нагана под подушкой. Целыми днями можно было беседовать с женой, ласкать дочек, читать газеты и книги. Но теперь эта новая непривычная мирная жизнь несла с собой новые тревожные заботы о будущем. Как жить? На что жить?...

Средств не было. Того, что удалось сохранить Наталье Ивановне, не хватило бы и на год беженской, полуголодной жизни.

IV. ПО СТОПАМ КОЛУМБА.

По одной из небольших улочек на окраине Владивостока медленно двигалась щегольская, лакированная пролетка. На ней сидел хорошо одетый, средних лет человек и внимательно вглядывался в номера домов. В дра-

повом английского покроя пальто, в плюшевой серой шляпе, желтых ботинках с гетрами, человек походил на иностранца. Только в широком чисто выбритом лице с прищуренными веселыми глазками и во всей осанке его коренастой, невысокой фигуры сквозило что-то русское.

Вот, кажется, здесь, — обратился он к извощику: ты, братец, здесь, подожди, може опять адрес не тот дали.

Человек быстро выпрыгнул из экипажа, направляясь к низенькому, словно вросшему въ землю, домику. Взошел на ветхое, покосившееся крыльцо и стал стучаться. Дверь открыла Наталья Ивановна. Оцепенела на мгновенье от неожиданности, увидев пред собой брата. Потом бросилась к нему на шею.

— Коля!...

Вышел в прихожую и Ветров.

— Какими судьбами, Николай?

— Свет не клином сошелся. Давненько не виделись. В последний то раз — на вашей свадьбе гулял.

Николай Иванович расцеловался с Николаем Алексеевичем. Не спеша снял пальто, внимательно посмотрел на супругов.

— Ну, выглядите, в добрый час, хорошо. Ты, Николай Алексеевич, поседел немножко.

— Да, было отчего поседеть, — улыбнулся Ветров: ведь две войны подрядъ, а теперь вот тут ... — и он, както неопределенно, развел руками.

Денисов оглядел тесную прихожую, потемневшие от времени стены с облупленной, потрескавшейся штукатуркой ...

— Ну, не беда! Главное, что уцелели.

— Да что-же, мы здсь-то стоим, — спохватилась Наталия Ивановна, — проходи, знакомься со своими племянницами. Это старшая — Надя, а тамъ у стула—Верочка.

Николай Иванович подошел к Наде и присел перед ней на кортчки.

— Здравствуй, племяша.

— Здравствуй, — ответила Надя.

— Сколько тебе лет? Пять?

— Нет, пять с половиной ...

— Да, ну!? Почтенный возраст! Старость — не радость, как говорится. А меня ты знаешь? Кто я?

— Дядя ... Коля.

— Ай, да молодец, девица!

Племянница пристально посмотрела на блестящую, бритую дядюшкину голову, а потом, немного помолчав, осторожно осведомилась:

— А ты, дядя, кто: красный или белый?

— Русский я, девочка, русский!

— А мы — белые. Красные — бяки. Они наш поезд шрапнелями стреляли и маму могли убить. Красные — нехорошие...

— А у тебя кукла есть? — спросил Николай Иванович, желая отвлечь девочку от неприятных воспоминаний.

Надя, заложив за спину руки, потупила глаза и мотнула отрицательно головкой.

— Ежик живой был, а куклы не было ...

— Эх, детки, детки, — сокрушенно вздохнул Денисов, — в пять лет уже успели на фронте побывать, а кукол то еще и не видели. Вот тебе и золотое детство... Круто заварили отцы ваши кашу, а вам ее расхлебывать приходится.

Пока Денисов разговаривал с Надей, на него, прячась за спинку стула, пытливо смотрели пара больших васильковых глаз, настороженных и боязливых, как у зверька.

Наталия Ивановна подвела к брату младшую.

— Ну, дай, Верочка, ручку дяде Коле!

Верочка исподлобья смотрела на незнакомого человека. Засопела носиком. Уголки ее пухлого ротика прорезали две глубоких складки. Но в эту минуту дядя Коля сделал забавную гримасу и растопырил пальцы.

— Идет коза рогатая ...

Холодок мгновенно растаял. Верочка схватилась за бока, заливаясь пронзительным смехом. А дядя Коля поднял племянницу высоко над своей блестящей, как биллиардный шар, головой.

Наталия Ивановна сварила кофе, поставила вазочку с бисквитами. За столом начались бесконечные распросы. Денисов подробно распросил Ветровых о их теперешнем положении и планах на будущее. Рассказал вкратце и о себе, о том, как после революции он уехал из Туркестана в Месопотамию, служил там у англичан.

Потом попал в Индию, с надеждою пробраться на русский Дальний Восток.

— Ну, и попал, — заключил Денисов, — что называется к шапочному разбору, так что и чемоданы распаковывать не приходится.

В разговорах быстро летело время. Денисов посмотрел на часы, вскочил, второпях попрощался, обещав приехать позднее.

Часам к пяти он приехал снова с грудой свертков и пакетов. В кухне сложил все съестные припасы, а сам торжественно с двумя большими пакетами вошел в комнату.

— Ну, племяши, получайте! Тебе, Надя, кукла, а Верочке — мишка. Велика была радость детей, увидевших первый раз в жизни игрушки. Надя прижала к себе куклу, осторожно положила ее на кровать и, подбежав к матери, стала ей что-то шептать на ухо. Потом подошла к дяде, постояла минутку в нерешительности, бросилась ему на шею и стала целовать ласковое улыбающееся лицо. А глядя на сестру, целовала и Верочка, только не добряка-дядю, а большого плюшевого мишку.

За ужином, опять обсуждался вопрос — что делать дальше.

— В Америку нам всем надо ехать, вот что, — сказал Денисов.

— Да на что ехать — то, Коля, — въ грустном раздумье тихо ответила Наталия Ивановна: ведь ничего нет.

— Не горюй, сестра. Деньги у меня есть. Ведь не даром же я на англичан три года работал. Есть и связи с сильными мира сего. Хватит денег перебраться в Новый Свет, ну, и на первое время. А там, что Бог даст. Не пропадем ... В тот вечер было решено пробираться в Америку. Выхлопотать визы взялся Денисов.

***

Наталия Ивановна, урожденная Денисова, и ее старший и единственный брат Николай происходили из старого дворянского рода. Тесть Ветрова, Иван Васильевич Денисов — внук героя Отечественной войны Орлова-Денисова, в молодости служил в Петербурге, в гвардии. Молодым офицером поехал на Балканы и под командой самого Скобелева ходил на кровопролитный

штурм Плевненского редута Абдул-Бей. Вернувшись с войны, Денисов - отец быстро дослужился до генеральских чинов и получил назначение губернатором на юг России.

Тихим, безоблачным, как летнее утро, протекало детство и девичество Наталии Ивановны. Двенадцатилетнюю Наташу родители отправили в столицу, в институт. По окончании его она вскоре встретилась с Ветровым и вышла за него замуж. Жизнь-же брата Николая сложилась иначе. Щедро одарила его судьба самыми разнообразными талантами. С раннего детства Николай Денисов обнаружил недюжинные способности к музыке и рисованию. Будучи лицеистом, он брал уроки музыки у лучшихъ столичных преподавателей. Потом, охладев к роялю, он с рвением принялся за живопись. К тому времени Денисов окончил лицей и решил ехать в Италию совершенствоваться в живописи. Пробыв год за границей, заскучав по родине, Денисов вернулся в Россию и женился. Брак оказался неудачным. Год спустя молодая жена оставила Денисова, а сам он с горя уехал в Туркестан, поступив на государственную службу, где и пробыл несколько лет до самой революции.

Свои, несомненно блестящие, дарования Денисов разменивал по мелочам: на прекрасную любительскую игру на рояле в тесном кругу своих друзей, на писание портретов и этюдов, мастерски выполненных, но опять таки любительских. Если Денисову не было суждено стать музыкантом или художником с большим именем, все-же среди людей, близко его знавших, он слыл интересным и разносторонне образованным собеседником, весельчаком, неподражаемым рассказчиком всяческих забавных историй, отменным пианистом и человеком добрейшей души.

С первого-же дня, как вошел Николай Иванович в дом Ветровых, в слове «дядя» для обоих девочек заключалось все самое сказочное и увлекательное, что может представить о человеке детское воображение. И, видимо, всю заботу и привязанность старого холостяка дядя Коля сосредоточил на своих племянницах. К Ветровым он приходил каждый день, принося с собой игрушки и лакомства для Нади и Веры. А вечером, когда дети укладывались спать, наступало самое интересное. Дядя

Коля садился у кровати и рассказывал замечательные истории об индейских фокусниках, слонах и обезьянах... Надя, с трудом пересиливая сон, со сплетающимися мыслями, все еще слушает. Верочка давно уже крепко спит. У нее пылают щечки и личико расплылось в широкую, счастливую улыбку. Верно, ей шепчет на ухо что-то смешное большой плюшевый мишка.

А утром, с наступлением нового дня, над семьей Ветровых опять висел все тот-же важный, как приговор самой судьбы тревожный вопрос: «пустят или нет?» Не унывал только один Николай Иванович. И, когда его веселый и бодрый голос раздавался в передней, вместе с ним, как будто, врывался светлый луч надежды в темную, унылую ветровскую квартиру.

— Не отчаивайся, сестра! Теперь уже недолго осталось ждать. Ты, вот лучше, подумай на досуге, что для детишек нужно прикупить, а то потом, в суматохе уж будет не до того. Долгожданный, счастливый день отъезда, наконец, наступил. Под вечер большей, серый от дыма и угольной пыли пароход, полу-грузовой, полу-пассажирский вышел в море. Как объяснил Денисов, на нем нужно доехать до Иокогамы, а там пересесть на океанский пароход, делающий рейсы между Японией и западным побережьем Америки.

Весенний день клонился к вечеру. Ветров стоял на корме, вдыхая холодную свежесть моря и задумчиво смотрел, как за кормой вскипала и убегала вдаль водяная борозда, как быстро удалялся берег и блекла синева его далеких гор. Тоскливо вглядывался Ветров в смутные очертания земли — русской земли. Мысль тягостная и неотступная повторяла одно и тоже под ритмичную дрожь винтов:

в последний раз ...
в последний раз ...

Да, да, он смотрит на эту землю в последний раз! Уже и сейчас ее трудно различить затуманенными от слез глазами. Скрылась Россия, и больше он уже никогда не увидит ее снова. А на востоке, куда пароход прорезывал себе стальным носом путь, и, точно плугом, мощно разваливал на обе стороны пенистые гребни, растилалась серо-зеленая водяная пустыня, уходя своим краем в ве-

черний сумрак. Медленно раскачиваясь на мерной зыби, несся пароход вперед, в полную беззвестность, такую же темную, непроглядную и загадочную, как сумрак надвигающейся ночи ...

Трехнедельный переход в Тихом Океане закончился. Раньше обычного прозвенел гонг к брекфасту. Наскоро покончив с завтраком однообразным и уже набившему оскомину, пассажиры торопливо выходили на палубу. На ней сгрудилась пестрая, разноплеменная, разноязычная толпа, в которой затерялись Ветровы и Денисов.

Пароход подходил к Золотым Воротам, ведущим в бухту Сан-Франциско, но ни берега, ни Золотых Ворот не было видно. Все затянуло непроницаемой завесой тумана. Сипло ревела пароходная сирена. Ей откликалась откуда то, издалека, другая. Верочку Наталия Ивановна держала на руках. Надя стояла рядом, уцепившись ручонкой за ее юбку. Маленькую Веру пугала страшная сирена, и она горько плакала, уткнувшись лицом в грудь матери. Группа оживленных, смеющихся молодых людей и девушек, очевидно, студентов, веселыми голосами пели:

Oh beautiful for spacious skies
For amber fields and grains
. . . . . .
America . . . . America . . . . . .

Глядя на них, слушая хор бодростью звучащих голосов, Ветров особенно ясно почувствовал, как должны быть счастливы эти люди, возвращаясь къ себе на родную землю.

***

Воскоре, по приезде в Америку, счастье улыбнулось Ветрову. Ему удалось получить работу на большой мебельной фабрике. На первых порах его поставили подручным к старому столяру, толстому, добродушному немцу Карлу Геркэ.

С первого же дня совместной работы Геркэ полюбил Ветрова за его исполнительность и аккуратность. Сближению способствовало еще и то обстоятельство, что Николай Алексеевич, часто затрудняясь объясниться по английски, разговаривал с Геркэ на немецком языке.

Старый столяр быстро обучил Ветрова своему ремеслу, посвящая его в те профессиональные секреты, которые он унаследовал еще у себя на родине с давних цеховых времен. Часто подходил Геркэ к верстаку, где работал Ветров, опытным взглядом наторелого мастера проверял работу, делал указания, а потом, дружески хлопая своего подручного по плечу, весело приговаривал:

— Augezeichnet, Herr Vetroff, mit Gebuld and Fleiss kannst du ein erstklassiger Kunsttischler werden*.

Поселились Ветровы в недорогой квартирке, неподалеку от фабрики, на окраине города, населенной рабочим людом. В стороне за кварталами, ветхих, деревянных, удивительно похожих друг на друга домов, высоко поднимались к небу фабричные трубы, вечно окутанные клубами черного или мутно-желтого дыма. Часто этот дым наносило на окраину города. На улицах стоял легкий, прозрачный туман, пропитанный едкой, удушливой гарью. Сквозь него тусклым пятном светило солнце, и тогда казалось, что можно вечно плутать в этом лабиринте унылых улиц, в шумливой толпе незнакомых, чужих людей, не находя выхода к настоящей жизни, к просторам земли, ясному, синему небу, к свободной и ласковой природе.

Днем на фабрике, занятый своим делом, Ветров уже привык к монотонному, размеренному шуму моторов и станков, даже не замечая его. Но, когда он возвращался домой, и наступал вечер, грохочущая улица сотрясала и пронизывала стены маленькой ветровской квартирки непривычными, резкими, бьющими по нервам, звуками. Шурша по асфальту, проносились автомобили, с грохотом катились трамваи. Иногда со зловещим воем бешено мчался амбуланс или, наполняя улицу трескучей музыкой модных мелодий, медленно тянулась платформа с огромным ярким плакатом, рекламируя новый кино-фильм.

Так незаметно и однообразно прошли три года. Росли девочки. Надя ходила в начальную школу, Верочка — в детский сад. Каждое утро на ближнем углу останавливался большой, переполненный детворой, желтый ав-

* Прекрасно г-н Ветров. С терпением и прилежанием вы можете стать первоклассным мастером.

тобус. В него торопливо влезали ветровские девочки. Проводив детей, Наталия Ивановна шла на работу.

Жили Ветровы скромно и бережливо. А когда скопили достаточную сумму денег, решили уехать из города, построить свой дом и жить ближе к природе. Присмотрели и купили участок земли в милях тридцати от города, на берегу тихого залива. Всю зиму по вечерам Ветров сидел над чертежной доской, планируя новый дом. А ранней весной, в одну из суббот, собрав чертежи и инструменты, Николай Алексеевич поехал к себе на участок размечать и копать грунт под фундамент. Все лето и осень, урывая каждый день свободного времени, строил свой дом Ветров. Многое делал сам, остальное сдавал сдельно рабочим. Поздней осенью, наконец, наступил долгожданный день, о котором мечтали все лето. Утром в большой, крытый грузовик Ветровы погрузили свои пожитки и выехали из Сан-Франциско к себе в новый дом. Год спустя Ветров сделал пристройку за домом и ушел с работы на фабрике. Частных заказов было много, и заработок увеличился почти вдвое.

***

Быстро и незаметно проходили годы в размеренной, спокойной жизни ветровской семьи. Сильнее поседел Николай Алексеевич. Постарела и Наталия Ивановна. У нее на шее под подбородком появились дряблые морщины, тоньше и золотистее стала кожа. Она давно уже бросила работу. Хлопотала по дому, шила дочерям наряды, заботливо ухаживала за сильно разросшимися кустами сирени, олеандр и камелий, которые когда-то сама сажала маленькими отростками. А зимними вечерами садилась с Верой за рояль разыгрывать в четыре руки Бетховенские симфонии.

Дочери выросли, расцвели, похорошели. Старшая Надя — высокая и тонкая шатенка с гладко причесанными волосами. Черты лица у Нади правильные, даже, пожалуй, слишком правильные, от которых женщины часто теряютъ свою миловидность. Вера чуть-чуть пониже и по-полней сестры. У нее гладкий, правильный лоб, тонкий, с небольшой горбинкой нос. Пышные, золотистые волосы, мягкими волнами обрамляют лицо, и большие синие глаза спокойно и задумчиво смотрят из под пушистых, длинных ресниц.

Чем то светлым, чистым и нежным веет от этого лица, и, глядя на него, почему то невольно, вспоминается весеннее синее небо, золотые потоки солнца и нежные лепестки цветущей яблони ...

Однажды весной к Ветровым из города приехал Денисов. Деловая неделя кончилась, и обе дочери помогали Наталии Ивановне убирать сад. Вера стояла у яблони. Сквозь ветви, густо усыпанные нежным розовым цветом, пробивались лучи утреннего солнца, бросая светлые блики на золотистые локоны и плечи девушки. Поздоровавшись, Денисов долго и пристально смотрел на Веру, словно обвороженный тем, что увидел. Его внезапно осенила мысль написать картину. Да, да, именно так, он всегда и представлял себе весну. С каждой минутой все более и более воодушевляясь, он решил немедленно взяться за работу. Взял у Нади мольберт, ящик с пастелью и стал набрасывать эскиз. Потом пол года усидчиво работал над своей картиной. Веру он написал в кокошнике, в старинном наряде боярышни с толстой, туго заплетенной золотистой косой. Картина имела успех, и ее продали на нью-иркской выставке за крупную сумму. А Вере за позирование Николай Иванович подарил прекрасно исполненную пастелью копию.

Тихо и дружно жила семья Ветровых, но уже к ней кралось большое горе. Смерть притаилась за стенами ветровского дома. Царапаясь когтями в окна, она хищно высматривала свою жертву. С каждым месяцем здоровье Наталии Ивановны ухудшалось. Она быстро таяла на глазах семьи. Стала молчаливой, какой-то особенно мягкой и задушевной в обращении с мужем и дочерьми. В город выезжала редко и только по крайней необходимости. Потом слегла, чтоб уже больше не встать ... Каждую неделю приходил доктор, сухой, скромный старичек, в старомодном черном сюртуке, похожий на пастора. Однажды, после обычного визита, он отвел Николая Алексеевича, чтобы поговорить наедине. Острой болью кольнуло в сердце. И уже до разговора с доктором Ветров знал, что он скажет ему, что говорят, вообще, все доктора, по печальной необходимости, вынося смертный приговор своим пациентаем.

В тот вечер долго сидел у изголовья своей жены Ветров, вспоминая совместно прожитую жизнь, чреватую

невзгодами, нуждой и трагичными переломами. Всегда он находил в ней поддержку. Вместе переносили трудности и снова шли по жизни, ободренные взаимой помощью и участием. Но теперь не то. Стряслось что-то грозное, непоправимое, пред чем бессилен человек. И ничто — ни заботы, ни любовь уже не в силах помочь и только осталось жить тяжким ожиданием, томиться роковым и неизбежным концом.

Наталия Ивановна умерла в сентябре, за неделю до семейного торжества. В день смерти, предчувствуя близкий конец, сама позвала к себе мужа и дочерей. С красными, заплаканными глазами, стояли у ее изголовья Надя и Вера. С другой стороны сидел Николай Алексеевич, осунувшийся, бледный, вытирая ладонью, покрытый холодной испариной, лоб. Запинаясь, он говорил ей какие-то слова утешения, в которые не верил и сам. Ласково смотрели, глубоко запавшие от долгой болезни глаза умирающей. Тихо из последних сил шептали ее губы:

— Живите дружно ... Берегите отца . . .

Вера не выдержала. Упала на колени и, обняв шею матери своими, по-девичьи тонкими, руками, зарыдала...

— Мама . . . мама . . .

Наталья Ивановна хотела погладить золотистую головку своей любимицы. Потянулась было, но не смогла и бессильно рухнулась на подушку. Из ее груди вырвался короткий хриплый вздох и растворился в тишине, придавленной тяжестью огромного горя. Все трое, на момент оцепеневшие, потерявшие способность говорить, двигаться или даже чем то выразить свою скорбь, стояли с широко открытыми, ничего вокругъ себя не замечающими глазами. Пристально смотрели на умершую и видели лишь одно, как проступившая на лбу бледность медленно сползала вниз по лицу, словно преображая и просветляя его в какой-то другой, уже бесплотный образ. И новая мысль, ужасная своей непререкаемой, неумолимой, жестокой правдой — мысль, что ее уже нет и никогда, никогда уже больше не будет, пронизала сознание этих трех, разрывая душу приступом безутешных, скорбных рыданий ...

Ясным и теплым полднем Наталью Ивановну отвезли на кладбище. Высокий, громоздкий, с густой копной ма-

тово-серебряных волос, похожий на древнего Бога-Саваофа, отец Феодор басисто тянул хорошо заученные слова погребальной службы, мерно раскачивая кадилом. Синяя, тонкая струйка ладана растворялась и исчезала в осеннем воздухе. Так, быть может, растворилась и на всегда исчезла душа матери. Дочери стояли впереди, у самого края могилы, зияющей чернотой вечного мрака, каким-то бездонным провалом в небытие. По бледному, окаменевшему от горя, лицу Нади катятся крупные слезы. Вздрагивают от сдерживаемых рыданий плечи Веры .

. . . «Во блаженном успении вечный покой по-о...о-дай, Г о с п о д и, у с о п ш е й рабе твоей, новопреставленной Наталии...» — доносится откуда то издалека, как сквозь сон, низкий голос отца Феодора.

Нет, ни молитва, а горькое чувство незаслуженной обиды запало в сокрушенные скорбью души дочерей. Бог, жестокий, несправедливый Бог! Зачем Ты отнял мать, теперь, когда ей нужно было доживать свои годы спокойно и мирно, после стольких лет тревоги, забот и трудов.

Стукнул о крышку гроба первый комок сухой и твердой глины, отозвавшись острой болью в сердцах . . .

***

Смерть сестры глубоко потрясла Николая Ивановича. Возвратившись с похорон в свою маленькую холостяцкую квартиру, Денисов весь вечер пролежал не раздеваясь на кровати, вспоминая Наташу, раннее детство,— эти лучшие и счастливые годы своей жизни. Ему казалось, что Наталия Ивановна являлась для него какой-то живой связью с прошлым, которая с ее смертью оборвалась. Он мучительно думал о своей, уже прожитой и так неудавшейся жизни, о близкой одинокой старости. От всех этих тягостных мыслей было так невыносимо тяжело, что Денисов, уткнувшись лицом в подушку, горько заплакал едкими старческими слезами.

С каждым днем Николай Иванович все более и более стал тяготиться своим одиночеством. Однажды утром он уложил свои пожитки и переехал к Ветровым. Целыми днями просиживал у мольберта, работая над своими

картинами. А вечером, когда уже нельзя было работать, часто и подолгу беседовал с племянницами на свои любимые темы о русской литературе, музыке и живописи.

Денисов был незаурядным оратором, лектором-художником. Говорил он прекрасным литературным языком, тщательно избегая в своей речи иностранные слова, вкладывая в каждую фразу продуманное содержание. Иногда во время таких бесед, у него происходили горячие, страстные споры с Надей — большой поклонницей нового направления в живописи. Обычно жестокий художественный диспут начинался после того, как Надя приносила показать Денисову свою последнюю работу, выполненную на курсах живописи. Надя протягивала своему дяде большой квадрат белого картона. На нем чудовищным и безумным капризом ярких цветов были нагромождены один на другой затейливые контуры с черточками и пятнышками. И все это пересечено лучами, спиралями, зигзагами. Дядя долго внимательно рассматривал картон, перевертывая его низом вверх, щурился, наклонял голову вбок, вправо, влево, потом вздыхал и с досадой медленно растягивал реплику:

— Э к а я — г а л и м а т ь я !. . . Послушай, Надя. Ведь у тебя же есть дарования, способности писать верно и изящно с натуры. Ну, для чего тебе надобно такое извращение вкуса, такая бестолковость художественного чувства? Зачем было тебе карпеть над этой . . . над этой . . . — дядюшкин язык не поворачивался произнести слово картина, — право, стоило-ли изводить столько краски и времени, портить вкусъ, губить талант, ради этого разноцветного ребуса?

Надя невозмутимо слушала уничтожающую критику. Она умела владеть собой.

— Прости, дядя, но твои взгляды на искусство устарели. Прежде я сама так рассуждала, но потом поняла особенности и своеобразную красоту новой живописи. Даже не одной только живописи, а нового искусства вообще, ну, например, музыки, поэзии. Я тебе не могу всего этого объяснить, но ты бы послушал, как увлекательно об новом искусстве говорит Павел.

— Кто? — удивленно спросил Денисов.

— Павел. Павел Степанович Щетинин. Ах, впрочем, ты его не знаешь. Я с ним познакомилась на курсах. Моло-

дой человек — поэт и художник, необыкновенно одаренный и талантливый. Правда, пока еще никем не признанный и непонятый. Перебивается кое-как тяжелым физическим трудом и всю свою полную лишений жизнь он посвятил искусству. Ты бы послушал, как увлекательно и убедительно он говорит о целях и призвании чистого искусства. Вот этот этюд он очень одобрил, сказал, что в нем, в этих неожиданных сочетаниях красок и линий, в смелой геометричности рисунка есть какое то предчувствие нового стиля. А кроме того,—продолжала Надя, — ведь тайна нарождения новыхъ художественных идей еще никем не раскрыта. То, что сегодня современники предают такой жестокой, беспощадной критике, может быть, завтра окажется величайшим вкладом в историю искусства. Ты знаешь это хорошо и сам. Ну вспомни, хотя бы судьбу Мусоргского.

— Мусоргский? — воскликнул Николай Иванович,— Мусоргский? Какой ты привела неудачный пример!

Денисов воодушевился. Он уже забыл о злополучном Надином рисунке. Не замечает пред собой и Нади. В лучезарном ореоле како-то неземного величия пред ним выростают призраки русских гениев — писатели, художники, композиторы.

— Заслуга Мусоргского, заслуга всех великих русских музыкантов, художников, писателей, признак их подлинного величия, прежде всего в том, что они сумели преодолеть в себе художественную созерцательность, самоуслаждение, свое пассивное любование и подчинили все это служению правде, добру, людям и своему народу. Они музыкой, пером, кистью обращались ко всей русской земле с горячим призывом улучшить, озарить, высветлить ее. Они, эти русские писатели, художники, композиторы, никогда не творили ради денег, славы или чистой эстетики. В великих книгах, картинах и звуках они ярко и глубоко выражали всю свою неумолимую боль за несчастных, униженных, исходящих слезами людей. Сами то они ведь тоже страдали вместе со своим народом. И эта их личная боль и жертва только укрепляла и углубляла смысл и завет великой правды искусства. Да, да, именно так, — задумчиво повторяет Денисовъ. — Знаешь, и ведь не только художники, писатели, композиторы, а вся интеллигенция была глубоко идей-

ной. Вот, например, доктора. В России доктор —это не прибыльная профессия, а орден, великий христианский орден человеколюбия. Теперь доктор, прежде чем положить пациента в гроб, снимет с него последнюю рубашку, а прежде - - русский врач, затерянный где-нибудь в глухом медвежьем углу, нередко сам снимал свою последнюю рубаху, чтоб прикрыть хворую наготу бедняка ... Да! Единственное, непереводимое ни на какие иностранные диалекты, слово: Р у с с к и й и н т е л л и г е н т.

— Но ведь все это, о чем ты говоришь, -- возражает Надя, — не входит в задачи искусства ... Пусть этим занимаются проповедники и моралисты. Эстетика имеет свои цели.

— А что-ж по твоему нужно писать звучные стихи о том, что горе и страдание человека для поэта безразличны, как печаль электрической лампочки? Так что-ли?... Вот насчет твоего знакомого, новатора-художника и поэта. Много я их видел на своем веку и, почти всегда, это — бездарности, недоучки, грубые и невежественные, как провинциальные семинаристы. Но зато, страшно до болезненности тщеславные ...

При этих словах у Нади в глазах вспыхивают, точно отблески, холодные огоньки, но она по прежнему слушает Николая Ивановича со спокойным и невозмутимым лицом. Денисов продолжает:

— Они сами прекрасно сознают, что без врожденного таланта, вкуса и упорного труда им никогда не выйти из серой, мещанской массы. И тогда эти мирогородские бурсаки, закостенелые провинциалы и бездарности встают на ходули. Теперь они уже — выше толпы! И начинают творить ослиным хвостом свой праздник красок, свою безумную чертопляску линий, какофонию и визг звуков, пишут бессмысленные, или даже безграмотные стишки . . .

Часто и подолгу тянулись эти споры, но Надя не сдавалась и упорно оставалась при своем мнении...

Полгода прожил у Ветровых Николай Иванович, потом заскучал, стал выпивать. В конце концов не выдержал и уехал назад в город.

Острота семейного горя со временем притупилась. Смерть Наталии Ивановны еще больше сблизила Николая Алексеевича с дочерьми, которые взяли на себя все семейные заботы. Надежда вела хозяйство деловито и умело. Вера согревала его одиночество теплой лаской. Так жили они дружно и спокойно, до самого того утра, когда весть о войне нарушила душевный покой Ветрова.

VI. ВЕСТЬ О ВОЙНЕ.

Ранним июньским утром, тысяча девятьсот сорок первого года, вторая мировая война вступила в свою ноную и решающую фазу. Первым эту весть кинуло радио. Еще задолго до выпуска газет с огромными, в полстраницы заголовками, из столиц и крупных центров обоих полушарий расходились широкими, вибрирующими кругами волны эфира, покрывая тысячемильные пространства материков важным сообщением. Маленький городок еще тихо дремал над спокойной гладью залива, когда молниеносные, невесомые вестницы дальних стран — радио волны, пронизывая густую пелену тумана, принесли торопливую и краткую весть о вторжении немецких армий в Россию.

В это утро, раньше обычного собрались Ветровы к завтраку. Утреннее солнце заливало веранду золотистыми каскадами брызг, за большими квадратами окон пестрели и нежились на солнце кусты махровых роз. А на столе, среди празднично сверкающих приборов, чернел тяжелый и мрачный, как траурная лента, заголовок газеты. И Ветров глядел на этот заголовок с чувством недоумения и ужаса. Для него это утро, эта тихая, уютная веранда наполнились чем-то посторонним, враждебным, угрожающим. Он смотрел сквозь окна веранды на ясную синеву неба, зеленеющий газон, на ярко пестреющую клумбу с цветами, и ему казалось, что все преобразилось, стало каким-то другим, не тем, чем все это было сутки назад. Весь мир для него стал каким-то горестным и трагичным. Дочери сразу же заметили подавленное состояние отца. Они, молча, наспех, выпили кофе и встали из-за стола. Вера подошла к Николаю Алексеевичу и, обняв его, участливо спросила:

— Ты очень расстроен, папа, этим известием? Но вой-

на началась уже давно. Почти два года, мы читаем каждый день об ее ужасах. Так зачем же так переживать?

Ветров пристально посмотрел в глаза дочери, погладил ее руку и тихо ответил:

— Не понять тебе этого, Верочка ....

Дочери, убрав со стола, ушли к себе. А Ветров все еще сидел с застывшим на одной точке взглядом, мучительно думая о войне. На этой маленькой, уютной веранде, среди светлого покоя и тишины, ему было как-то странно думать о том, что сейчас где-то в России, от смрадного дыма и темного человеческого горя уже не видно ни солнца, ни лазурного неба, что от гула взрывов содрагается земля и стихийный шквал смерти уносит сотни и тысячи жизней. Мысль острая и пронизывающая ушла куда-то вглубь, подступая к сердцу щемящим, физически ощутимым болезненным чувством.. Неподвижно сидел за газетой Ветров. Ровные строчки типографского шрифта расползались в одно серое пятно, сквозь которое проступало грозное, неумолимое человеческе горе.

Война! ... Это слово понятно лишь тем, кто пережил ее сам, кто приобщился к частице ее великой скорби, кому пришлось, хоть однажды, стать атомом затерянным среди ее разрушительного хаоса. А ведь Ветров хорошо знал войну. Восемь лет его жизни прошли непрерывными звеньями оглушительных дней и ночей мировой и гражданской войны. И теперь все то, что затерялось в давних годах, что казалось давно уже забытым, вновь воскресало в памяти Николая Алексеевича живыми и яркими образами.

Господи! Что-же сейчас там? — спрашивал сам себя Ветров. И, словно, в ответ на этот мучительный вопрос, вставали картины, правдивые своим трагичным реализмом. Они, чередуясь, проходили перед глазами старого генерала, как фильм, созданный бредом сумасшедшего режиссера.

. . . . . .

Гулом наполнились небо и земля. Ревут бомбовозы, сбрасывая на города и села свой смертоносный груз. По колосящимся пашням, лязгая сталью, ползут танки. С хода они бьютъ по деревням. Смрадный, черный дым застилает пролеты пылающих улиц. Свежесть летнего ут-

ра пропитана гарью и запахом человеческой крови. Вчера там жили и трудились люди. Теперь не осталось ни деревень, ни людей, только высятся ряды почерневших печных труб, словно надмогильные памятники кладбища. Вот у подножья одной из них стоит на коленях женщина, прижимая к вискам кулаки, мерно раскачиваясь телом, над трупом дочурки с обезображенной золотистой головкой. Возле девочки лежит комочек окровавленной шерсти. Еще полчаса назад ребенок радостный и счастливый бегал по двору, играя со щенком. Так будет одиноко метаться и стенать обезумевшая от горя мать, покуда материнское горе не прикончит немецкая пуля. А по дорогам, далеко за деревней тянется длинная вереница людей со скарбом в руках, угоняя уцелевший скот, но не уйти им от Мессершмидтов и Фоккэ-Вульфов. И скоро пыльную дорогу, среди золотистых полей устелят трупы стариков, женщин и детей ...

Весь день Ветров мучительно думал о войне. Он пробовал рассеяться, заняться чем нибудь, но мысли нестерпимой, темной тенью всюду следовали за ним, и некуда было уйти и скрыться от неотвязчивых мрачных дум. Вышел он в сад окопать грядки с розами. Но уже через несколько минут красный цвет лепестков напомнил ему о крови. Все те-же мрачные видения разрушения и смерти вновь выростали перед глазами. И Ветров, бросив лопату, возвращался домой от невскопанной грядки. Потом шел в пристройку за домом, пропитанную запахом свежих стружек, и брал начатую работу. А через минуту застывал с доской в руке, потому что невольно возникала в уме логичная и понятная связь между личным его трудом и теми беспощадными и бессмысленными разрушениями, которые вызывает война. И Ветров клал на верстак работу и медленно, сгорбившись, шел в дом.

Под вечер к Ветрову зашел Янчевский под предлогом вернуть книгу, которую незадолго до этого взял. Впрочем, книгу он не прочел до конца, и бумажная закладка предательски высовывалась из ее середины. Ему страшно хотелось, хоть с кем нибудь, поговорить о событиях.

Янчевский вошел в гостинную в явно веселом расположении духа. Потирая руки, прошелся по комнате, по-

том сел в предложенное кресло, положив ногу на ногу. Тонкие губы кривила усмешка.

— Новости-то какие, а!

Ветров хмуро покачал головой: я вот целый день об этом думаю, — ответил он глухим, сдавленным голосом. Жертв-то, поди, сколько. Война варварская, разбойничья. В прошлую войну, мы Варшаву стороной обошли, чтоб жителей пощадить и город сберечь. А теперь без обявления войны бомбят глубокие тылы и незащищенные города . . . прохвосты!

— Блицкриг, — вставил Янчевский.

— Мы, вот, — продолжал Ветров, — сейчас здесь с вами спокойно разговариваем о войне, как о какой-то, именно, новости, а там, каждую минуту гибнутъ десятки и сотни людей. Вам на войне не приходилось бывать?— спросил Ветров своего собеседника.

— Нет, не имел удовольствия. Без меня обходились, — ответил тот, закурив сигару.

— Я вас спрашиваю об этом, потому что тогда вам был бы понятен весь ее нестерпимый ужас. Да хотя бы, вот запах крови, когда она стоит лужами и земля не в состоянии уже ее впитать ... Ветров минуту помолчал. И вместе с людьми гибнут плоды их долгого, упорного труда. Какими нечеловеческими усилиями, какими жертвами строились заводы в годы пятилеток. Их создавал народ, отказывая себе и детям своим в лишнем куске хлеба. На этой стройке преждевременно старела молодежь. Цены ведь нет этим заводам, потому что люди месили для них бетон собственным потом, слезами и кровью ... А храмы, монастыри, музеи, библиотеки — вся эта, непомнящая своих веков старина. Они уже навсегда погибнут для России.

— Чему же тут удивляться? — пожал плечами Янчевский. Я не понимаю: ведь сказал же Кант, что вечный мир возможен только на кладбище. Очень глубокая мысль. Война неизбежное условие развития прогресса. История сопряжена с разрушениями. И вообще говоря, культура человечества тем только и жива, что вечно занята заменой старых, слабых или несовершенных форм жизни формами новыми и более совершенными.

— Не знаю, какую войну и какой прогресс вы имеете ввиду, — ответил Янчевскому Ветров, — но сейчас про-

исходит нечто более стихийное, чем война. Я с осени 39-го года слежу за событиями и война поражает меня не столько своими темпами или масштабами, сколько своими внутренним смыслем, так сказать своей философией. По сравнению с этой войной, 14-ый год может показаться приятельской потасовкой. Теперь война, помимо своей необходимости разрушать и убивать, страшна, каким-то патологическим озверением, безчеловечностью. Теперь вся наука обратила свой технологический прогресс в средство массового человекоистребления. Мировые светила, профессора, армия инженеров и техников работают над орудиями массовой казни. Изобретают, конструируют, строят газовые камеры, вмещающие сотни обреченных на смерть, или снаряды, способные поразить тысячи людей. Вот вы говорите, что история немыслима без войны. Но ведь война перестала быть поприщем воинской доблести, героизма и самопожертвования. Солдат обращается в палача безоружных женщин, детей и стариков. Цивилизация отброшена назад, к временам Каракаллы и Чингис-Хана. И все молчат! Наука, философия, церковь, литература, вся мыслящая часть человечества не только ни протестуют, а подчас занимаются апологией казни. Молчит мировая совесть! Да живет ли она в душе наших современников? Человечество стало сухим и бессердечным. Оно утратило чувство сострадания. Европейская цивилизация отбила у человека человечность. Человек человеку уже не волк, а более свирепое существо. В волчьей стае, все-же, есть какая-то своя звериная солидарность. А у человека не осталось и этого, да, еще вдобавок, вместо острых клыков, люди располагают аэропланами и танками.

— Устарелый у вас взгляд, Николай Алексеевич, на войну. Вы хоть по профессии и военный, а рассуждаете, как завзятый пацифист. Цель всякой войны — истребить врага. И для этой цели годны все средства, все рессурсы, все силы. Мораль и гуманизм так-же неприменимы к войне, как, скажем, и к законам физики. Именно физики, — оживился Янчевский, обрадовавшись, что подыскал удачное сравнение. .... Я хоть человек и не военный, но полагаю, что современная война подчинена точным законам математики и физики.

— Значит только одна сила? — сдерживая негодова-

ние и стараясь не волноваться, спросил Янчевского Ветров.

— Да, исключительно только сила.

— Ну, а моральные качества народа? Сознание правоты дела, за которое народ борется?

— Это все старина и романтика, — отмахнулся Янчевский, — в наш век война нечто вроде параллелограмма сил. Знаете, как в учебниках физики рисуют: расходятся две линии, обычно одна большая, другая поменьше, а между ними по диогонали равнодействующая, которая всегда тянется в сторону большей силы. Эта самая равнодействующая и есть победа. Теперь, если взять, скажем, Германию, организацию ее военных и гражданских учреждений, науку, промышленность, технику, транспорт, территорию, население, натуральные рессурсы, все это привести к известным цифровым значениям и отложить в определенном масштабе, то получится огромная линия. То же самое проделать с Россией. Ну, территория, природные рессурсы, разумеется, огромные. Этих богатств хватило бы с лихвой всей Европе на миллион лет. Учесть, однако, надо только то, что используется сейчас. Территория, то же огромная, но три четверти— непроходимые леса, тысячемильные безлюдные пространства, это тоже в счет не идет. Население темное, забитое. Все эти первичные, натуральные элементы страны важны не в их абсолютной величине, а с поправкой. К ним нужно приложить коэфициент цивилизации, что у русских -- почти нуль. Ну, если, к примеру миллион, или вообще, какое нибудь огромное число помножить на нуль, что получится? -- Нуль. Вот и выходит, что немцы сильнее своей организацией, интеллектуальным развитием, культурностью. И, стало - быть, параллелограммом сил все решается очень просто: Гитлер, несомненно, победит.

Виктор Францевич поднялся с кресла, распрощался с Ветровым и, слащаво улыбаясь оскалом своих золотых зубов, вышел.

**
*

После полуночи в комнате Ветрова темно. Только временами вспыхивает узкой полоской света радио.

Вспыхнет, что-то пошепчет Ветрову тихо-тихо, чтоб не разбудить дочерей, и снова затихнет, утонув в темноте. Вот опять засветилась шкала радиоприемника. Слабый, едва уловимый вначале, голос спикера усиливается. Спикер с трудом выговаривает непривычные русские названия:

. КИЕФФ . . . СМОЛЬЕНСК . . .
КАРЬКОФФ . . . . МАСКАУ . . .

Минут пять спустя Ветров выключил приемник. Нового, почти, ничего. Все то, что уже сообщалось днем. Подверглись внезапному воздушному рейду крупные русские города и наметилось направление главных немецких ударов. Из восточной Пруссии вторглись дивизии фон Либа, на юге наступает Рунштедт, главный же панцырный кулак фон Бока направлен на Смоленск к Москве ...

Ветров неподвижно сидит у стола, подперев голову руками. Все те же мысли, от которых щемит в груди. Он вдруг вспомнил давнишний разговор с Янчевским о крестовомъ походе.

— Вот пришли они, твои крестоносцы, полюбуйся ... На твоей, братец, голове, только бы, эти самые параллелограммы сил и тесать.

Душит Ветрова бессильная злоба. Он, крепко сжав кулаки, потрясает ими в темноте, словно угрожая невидимому врагу.

Эх, ты, Европа! Христианская, культурная Европа! Страна святых чудес, родина святого Франциска, Канта, Диккенса, и Гюго. Бледные и беспомощные тени этих великих человеколюбцев не уберегли тебя от неправды, грехов и преступлений. И ты, немец! Передовой человек, последнее слово, последний штрих всей цивилизации Запада. Ты обратился в дикаря, в бесчеловечное орудие разрушительных кровожадных звериных инстинктов. Ты возомнил себя сверхчеловеком, потому что ушел за пределы Человеческого с большой буквы, отвергнул в себе все Человечное. И за это, за отрицание божеских и человеческих законов ты погибнешь, ты должен погибнуть белокурый арийский зверь!

Всю ночь Ветров сидел у стола, не смыкая глаз, и только под утро, на короткое время забылся в тяжелой, тревожной дремоте.

VI. ТАНКОВАЯ ДИВИЗИЯ ГЕНЕРАЛА ХОЛЬТА.

Панцырные колонны немцев быстро продвигались к Малоярославцу и Тарутину. Сметая на своем пути все преграды и заграждения, перерезая советские линии обороны, танки проходили по безлюдным улицам деревень, оставляя позади себя огненные следы пылающих костров. Но впереди, с каждым пройденным километром, росло сопротивление. Особенно трудно танкам приходилось там, где по обоим сторонам шоссе плотной стеной стояли леса. Лес для танков страшнее окопов, рвов или бетонного частокола. В лесу, за каждым кустом, быть может, притаилась пушка, готовая поразить в упор. В лесной чаще могут подстеречь огромные 52-х тонные чудовища, для которых немецкие Марки III и Марки IV, что для бозрой собаки — заяц. В лесу нельзя обойти дорогу стороной или повернуть назад. Нельзя и остановиться: каждая остановка под убийственным огнем может стать гибельной для всей колонны. Вот снова впереди синяя полоска леса. Расстояние быстро сокращалось . . . 500 метров . . . 400 . . . 300 . . .

Лес внезапно исчез. Между ним и танками выросла сплошная стена заградительного огня. По обоим сторонам шоссе поднимаются огромные бурые фонтаны земмли. Танки, не сбавляя хода, вошли в полосу обстрела. Вперед . . . вперед . . ., как можно скорее проскочить сквозь этот грохочущий, воющий ад. Стрелка спидометра ползет вправо . . . 40 . . . 50 . . . 55 . . . Впереди, в непроницаемой мгле уже ничего не видно. Водители наугад управляют своими машинами. У каждого из них лишь одна мысль: не наскочить на впереди идущий танк. Вдруг вдоль всей колонны, с головы к хвосту, пронесся скрежет и визг ползущей стали. Где-то треск: мотоциклет, не затормозивший во время, врезался в танк. Вся колонна встала: подбиты два головных танка. Их спихнули в сторону и через минуту колонна снова тронулась с места набирая скорость. За обочиной дороги стоит, покосившись, почерневшая, изуродованная, стальная падаль. На одном из них начисто срезана башня, и из круглого отверстия лениво клубятся космы черного дыма. У другого сорвана боковая броня. Через огромную зияющую дыру видны застывший за рулем

водитель и рядом с ним, ничком на дне танка, распластавшийся его командир. Мертвой рукой, протянутой наружу, он, словно, машет на прощанье уходящим товарищам.

Снова бешеный бег стального табуна в смрадной мгле среди высоких фонтанов земли. Вперед, вперед, как можно скорее, проскочить сквозь полосу ураганного огня, а не то всех постигнет участь первых двух. Опять стрелка спидометра быстро ползет вправо. Водители выжимают из своих танков весь запас их скорости. В танках невыносимый жар, удушливый запах порохового дыма и перегорелого машинного масла. Моторы работают с перебоем, захлебываются — не хватает воздуха и для них. Постепенно мрак рассеивается. Гром и треск огневой погони остался позади. Танки вышли из полосы обстрела. Колонна пробилась. Далеко впереди в конце пологого спуска, на изгибе реки, уже видны низкие, деревянные постройки, станция, церкви и монастырь. Это — Малоярославец.

***

Площадь Малоярославца запружена немецкими танками. В центре ее у подножья старого памятника стоит огромная, как автобус, штабная машина. В ней, склонившись над картой, сидел со своим помощником и двумя адьютантами начальник дивизии генерал-лейтенант Хольт.

Хольтъ огромного роста, мужчина лет 60-ти, с густыми взъерошенными бровями и острым проницательным взглядом. У него и на нем все не в меру большое: голова — на толстой, жилистой шее, черты лица, оправа очков, сапоги, и даже сигара, с которой он никогда не расстается. Серый мундир облегает торс, как стальной панцырь. Говорит Хольт низким, гудящим голосом.

Радист уже установил связь со штабом армии, и Хольт, оторвавшись от карты, пересел к приемнику. Из глубокого тыла, где-то у Смоленска, слегка заглушенно звучал голос командующего.

« . . . Поздравляю вас, Хольт. Блестящая операция. Продолжайте наступление. Выступайте к Наре немедленно . . .

Хольт осторожно напомнил, что снаряды и горючее

не наполнены, несколько танков требуют срочного ремонта и пехота осталась далеко позади.

— Снабдитесь в пути, Хольт. Вас поддержат с воздуха. Пехота войдет в Малоярославец к полуночи. Немедленно выступайте к Наре. Продвигайтесь как можно ближе, к Москве. Нужно использовать внезапность удара. Это — личный приказ фюрера. Прощайте, Хольт. Желаю вам дальнейшего успеха . . .

Приемник замолк. Озабоченный и хмурый Хольт отправил адьютантов с приказом подготовиться к выступлению из Малоярославца. Адьютанты ушли. В штабной машине остались трое: Хольт, его помощник полковник Эберт да еще радист, который пользовался полным доверием генерала.

Хольт поднял от карты лобастую, лысую голову. Его расстроенное лицо болезненно морщилось, а проницательные глаза строго глядели на Эберта сквозь массивную оправу очков.

— Это — не блицкриг, а просто авантюра, чорт возьми! — гневно и без малейшего колебания проговорил Хольт. — Вы хорошо знаете, как трудно без пехоты, танкам продвинуться в лесу, хотя бы на один километр. А впереди 15-20 километров такого пути. Мы приближаемся к внешнему периметру московской обороны. По моим сведениям, леса кишат пехотой, батареями и 52-х тонными КВ. Нас могут атаковать и, вероятно, атакуют с воздуха. Если такой контр-удар будет согласованным и одновременным, от нашей дивизии останутся груды стального хлама. Пока что, нам везло. Но случайная удача редко повторяется подряд. Нельзя испытывать счастье дважды. Это азартная, рискованная игра. Игра без выдержки и здравого смысла. Итти вперед без пехотных резервов, без баз и опорных пунктов — огромный риск. И все же приказ остается приказом,— зло усмехнулся Хольт. Мы должны идти. И мы пойдем, с очень малыми шансами на успех. — Хольт минуту помолчал, потом решительно поднялся со стула.

— Идемте, Эберт, перед походом мне нужно лично повидать командиров.

Они шли вдоль выровненных танков, бронемашин, зенитных батарей и грузовиков. По линии перекатыва-

лась отрывисто-четкая команда, и солдаты, вытянувшись, мгновенно застывали. Четким и привычным жестом командира, Хольт здоровался вдоль застывших рядов. Казалось, оживший памятник, сплавленный из массивной бронзы, мерно и бесстрастно кивает своей пудовой головой. Это был один из тех людей, кто перекраивал карту мира, бестрепетно шагал через потоки крови и пирамиды черепов, и разламывая десятки европейских государств, строил на их развалинах великий Рейх. Медленным, грузным шагом проходил Хольт по фронту, временами останавливаясь, чтоб принять рапорт офицеров. Многих из них он знал по прежним походам в Польше и Франции. В самом конце площади с рапортом подошел низкорослый, сухощавый седой полковник Мюллер, с двумя ленточками железного креста. Сумрачное лицо Хольта расплылось в улыбку. Он крепко пожал руку офицера, которого знал еще с первой великой войны.

— Ну, здравствуй, старина, как солдаты?

Полковник ответил не сразу.

— Утомлены, конечно, но слишком возбуждены, чтоб почувствовать усталость. Успех и такое стремительное наступление на них действует, как наркоз.

— Ну —экзольтация, плохое качество для солдата, — проворчал Хольт. Если солдатъ возбужден и не чувствует своей усталости, то потом она скажется вдвойне. Блицкриг тем и плох, что мы переоцениваем свои силы и не дооцениваем силы врага. А если завтра блицкриг не удался, не повторилась быстрая и сравнительно легко одержанная победа, то у солдата произойдет психологический перелом к худшему, и враг покажется в десять раз сильнее, чем он есть на самом деле.

— Старая история, — согласился полковник, — все это случалось еще в прошлую войну.

Хольт окончил обход, отдал необходимые распоряжения и пошел вместе с Эбертом назад. Они подходили к штабной машине. И перед тем, как войти в нее, Хольту захотелось взглянуть на памятник. Около него стояла кучка солдат. На вделанной в серый мрамор, изъеденной временем бронзовой доске стояла дата сражения у Малоярославца:

Солдаты презрительно и заносчиво смотрели на доску. Их взгляды загорались мрачной враждой и, казалось, беззвучно говорили:

— С нами этого не случится . . .

— Да, роковая страна, — очень тихо, почти шепотом, проговорил Хольт. На ней все, даже великие полководцы, ломали себе шею: Чингисхан, Карл XII, Наполеон. И эти огромные снежные пространства поглощали в себя, распыляли и обращали в ничто и монгольские орды и лучшие европейские армии. Вот и Наполеон, выигрывал крупнейшия сражения, занял столицу и все-же вынужден был бежать, растеряв по дороге всю свою армию. На этом самом месте казаки в сорока шагах от Наполеона изрубили свиту и едва не захватили в плен его самого . . .

Хольт и Эберт пошли к машине. Издали доносился гул танков. Головной отряд полковника Мюллера уже снялся и, громыхая по мосту, перешел Протьву.

**
*

Длинной стальной лентой растянулась танковая дивизия. Впереди большой сосновый бор. Вдоль шоссе замелькали стволы огромных мачтовых деревьев. Под их большими раскидыстыми, запорошенными снегом лапами синеют вечерним сумраком сугробы. А верхушки крон все еще горят червонными бликами заката. И похожи эти могучие сосны на богатырскую рать в золотых шеломах, обороняющую покой лесной Руси. Да, не устояли эти великаны под натиском стальных чудовищ. Поредели их ряды. Расступились богатырские сосны пред танковой колонной. Отошли далеко, и черной узкой полоской оторачивают широкие снежные поля. Вдали несколько изб, словно испугавшись нашествия, притаились в алеющих сугробах, и только предательские струйки дыма выдают их врагу.

Опять надвигается лес. Опять могучие сосны подступили вплотную к шоссе, словно силясь преградить путь стальному табуну. А в штабной машине Хольт и Эберт

сидели за картой, делая на ней какие то пометки. Затрещал радио приемник:

Пантера . . . Пантера . . . Как дела Хольт?

Хольт доложил:

— Прошли пять километров. Сопротивления не встречаем.

— Прекрасно, Хольт. Захватите переправу через Нару. Удерживайте ее до подхода пехоты . ..

И едва замолк аппарат, вдали, постепенно заглушая стальной бег танков, ворвался ноющий шум, который быстро перешел в гневный и мощный рев. Из-за леса, навстречу танкам низко летела эскадрилья советских бомбовозов. Через несколько мгновений в гулких слитных раскатах взрывов растворился и бешеный рев моторов и частный огонь зениток. Высокие черные смерчи поднимались на шоссе, вздымая кверху куски исковерканной стали, моторы, колеса, людей, расшвыривая во все стороны содержимое танков и грузовиков. Взрывной волной штабную машину спихнуло в сторону и ее мотор заглох. Колонна встала. Впереди, где за непроницаемой пеленой черного дыма исчез головной отряд, нарастал гул артиллерийского боя. И тотчас же штабную машину наполнил трескучий, перебойный шум радио, сквозь который едва можно было разобрать голос командира головного отряда, того самого полковника Мюллера, с которым Хольт разговаривал в Малоярославце. Полковник докладывал, что шоссе находится под сильным огнем артиллерии и минометов. Внезапно его голос оборвался на полуслове, и радио замолкло. Потом уже другой голос докладывал о гибели командира головного отряда и наступлении, при поддержки пехоты, советских тяжелых танков.

Бомбовозы, артиллерия, танки, пехота — согласованные действия всех родов оружия. Этого не случалось прежде от самого Брест-Литовска, — подумал Хольт. И почему то вспомнил недавнюю сводку штаба армии, в которой сообщалось о назначении маршала Жукова командующим фронтом и отстранении политических комиссаров от дел полевого управления войсками.

Положение дивизии становилось критическим, и Хольт отдал приказ об отходе. До поздней ночи шел жестокий бой. Дивизиии Хольта удалось пробиться на-

зад к Малоярославцу. Но весь путь отступления был усеян дымящимися обломками танков, бронемашин и грузовиков.

***

Давно уже закончились часы официальных приемов, и теперь, в кабинете фюрера собрались ближайшие его сотрудники. За длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидят по положенному рангу высшие члены партии, генералы и гражданские советники. Сидят торжественно и серьезно, сознавая ту огромную ответственность, которую возложили на их плечи великая Германия и Фюрер. Заложив руку за отворот куртки, Гитлер ходит взад и вперед вдоль стены под огромной картой восточного фронта. Временами он останавливается, рассматривает условные значки на карте, и потом, простирая к ней руку, почти театрально закинув голову, говорит сидящим за длинным столом своим приближенным:

— Можайск пал! Малоярославец пал! Гудериан подходит к Туле! Ленинград отрезан, и успешные бои ведутся у Тихвина. Танковый корпус подходит к Ростову. II-ая армия заняла Крым. И даже румыны, понимаете румыны, — задыхаясь от смеха, уже кричит Гитлер, взяли Одессу!...

И снова он ходит взад и вперед быстрым, тяжелым солдатским шагом, точно измеряя расстояние от Брест-Литовска до Урала и каждым шагом утверждая свою власть над почти поверженным врагом. Снова он останавливается и рассматривает карту. От нее веет безграничным простором, несметными сокровищами, скрытыми в недрах девственной земли. Ее условные линии, надписи и пестрые пятна преображаются в ширь золотистых полей, в синеву многоводных рек, в меховую щетину бесконечных лесов. И там, среди них, тысячи городов и сел, где живет многомиллионный народ, — трудолюбивый, выносливый и покорный, как вол. Огромная, богатая колония!!..

Все эти мысли вызывают жгучую, острую радость которая растет, заполняет все существо Гитлера, переходит в чувство близкое к экстазу, от котораго тело те-

ряет свою физическую весомость и кажется, уже вместе с мечтой парит где-то очень, очень высоко, как пушистое облако в бездонной синеве неба. Глаза Гитлера не замечают сидящих перед ним приближенных. Он — весь во власти мгновенного и яркого представления о каком-то необыкновенном величии, о собственном державном образе, которомоу с покорностью и страхом поклоняются все народы земли. Это он сам — Гитлер всходит на последнюю лучезарную ступень земной славы и господства, чтоб утвердить во всем мире мощь своего народа. Никто до него еще не достигал такой высоты: ни Александр, ни Цезарь, ни Тамерлан, ни Наполеон .... Видение исчезает, пред ним снова большой, покрытый зеленым сукном, стол за которым, сияя пестротой мундиров, золотом галунов, орденов, неподвижно застыли его помощники.

Со своего места приподнялся сухощавый человек в зеленом, расшитым залотыми галунами фельдмаршалском мундире. Раздельно и четко он стал говорить о том, что план войны на восточном фронте проводится успешно, хотя и с опозданием против намеченных сроков. Но сопротивление врага с каждым днем усиливается, и, теперь успех зависит от боевого снабжения.

— В нем уже ощущается недостаток, — подчеркивает маршал, — нам не хватает снарядов, газолина, продовольствия. Части на фронте все еще в летнем обмундировании. Мы не можем снабдить фронт, так как, вместо 120 поездов в сутки, железные дороги пропускают только 50. Автомобильный транспорт работает с перебоями из-за бездорожья и активности партизан в тылу. — Но главное наше затруднение даже не в этом, — продолжает фельдмаршал, — а в невозможности определить действительные силы противника. Главному штабу точно известно, что советские корпуса с Урала, Сибири и Туркестана переброшены к Москве. Но где они? — На фронте их нет. Перед нами — все еще те части, которые отошли от Смоленска. Правда, из Москвы были брошены 4 новых дивизии из добровольцев - коммунистов. В первом же бою они были разбиты 4-ой армией Клюге. Я подозреваю, что эти дивизии — троянский конь Сталина. Он умышленно послал 40 тысяч плохо вооруженных и необученных добровольцев на убой,

чтоб ввести нас в заблуждение и не обнаружить своих стратегических резервов . . .

Гитлер внезапно прервал доклад фельдмаршала. Лицо его было перекошено злобой.

— . . . Резервы . . . резервы . . . Известно ли вам, что 80 процентов красной армии разбито и уничтожено, а то, что осталось, уже не в состоянии оказать нам серьезное сопротивление. Троянский конь . . . ха-ха-ха. На этом коне сталинское правительство и коммунистическая головка уже ускакали из Москвы. В любой момент в стране может вспыхнуть революция. И, если мифическая армия под Москвой повернет свои штыки в тыл, я ей не буду мешать.

С бесстрастным лицом фельдмаршал выслушал тираду Гитлера, а когда тот кончил, снова начал:

— С центрального фронта доносят, что наступление 4-ой армии временно приостановлено. Танковый авангард Хольта с потерями отошел назад к Малоярославцу.

Судорожно дергая желтым, одутловатым лицом, Гитлер, едва-ли еще вникая в смысл собственных слов, вновь крикливо и раздраженно перебил маршала:

— Вздор, вздор! ... Разбить Хольта, лучшего танкового командира! Абсурд! У большевиков не осталось ничего, что могло-бы не только разбить, но даже остановить его.

— Мой фюрер, генерал Хольт вернулся в Малоярославец. 76 танков из его дивизии оставлены между Нарой и Протвой.

Гитлер уже начинает понимать, что произошла крупная военная неурдача. Его глаза наливаются бешенством.

— Послать немедленно подкрепления! Послать две, три, пять дивизий! Я нагоню еще больше, еще больше! Если Хольт разбит, я пошлю туда десять других Хольтов! Наши танки должны быть через неделю в Москве! П о н и м а е т е ? Через неделю! На Красной площади!

Фельдмаршал лаконически и сухо ответил:

— Мой фюрер, все будет исполнено. В этом направлении мы бросим дополнительные силы.

Заседание закончилось. Вдоль стола, вытянувшись, стояли сотрудники Гитлера, отдавая уходящему фюреру нацистский салют. Их лица были торжественны и напы-

щены, словно каждый из них ощутил в себе частицу величия и тщеславия своего вождя.

Непрерывно двое суток к Малоярославцу шли танки, пехота, тяжелая артиллерия, обозы. Пополненная дивизия Хольта вновь начала свое стремительное и на этот раз успешное наступление на Тарутино и Подольск.

VII. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ.

Да не смущается сердце ваше.
Іоан., гл. 14-я, стих 1-й.

Казалось бы, само событие, которое так тяжело переживал Николай Алексеевич, не должно было нарушить налаженную и спокойную жизнь старого генерала. Стихийный взрыв, происшедший на другом краю света лишь слабым и отдаленнымъ эхом докатился до маленького американского городка и тотчас же растворился в шуме его деловой, повседневной суеты. Все окружавшие Ветрова люди, в первые дни возбужденные новостью, вскоре утратили всякий интерес к войне. Война потеряла свою злободневность и уже порядком им наскучила. Газеты, которые они читали по утрам, упоминали все новые и новые названия городов и рек, но самая суть этих сообщений носила какой-то однообразный, скучный характер. Изо дня в день в них говорилось об одном и том же — о быстром продвижении немецких армий. И можно было уже, не раскрывая газеты, не читая ее заголовков, безошибочно угадать, что будет говориться в телеграфных сводках. Только изредка, перелистывая страницы журналов с фотографиями и картами, на которых жирные, черные стрелки, условно изображавшие немецкие армии, тянулись к Смоленску, Ленинграду и Киеву, люди иногда обменивались неизменной назойливой фразой: — Здорово прет немчура! — Говорили это равнодушно, без злорадства и без особой печали, а скорее с ноткой апатии и скуки, как говорили о погоде или очередной автомобильной катастрофе...

Совсем по иному переживал войну Ветров. Какое то новое чувство тревожное и тоскливое наполнило всю его

жизнь. Дочери вскоре заметили эту перемену в отце: он стал сосредоточенным и замкнутым. Раньше обычного кончал он работу в мастерской и, наскоро пообедав, шел к себе в комнату, уставленную до самого потолка полками с книгами. Со времени приезда в Америку, Ветров проявлял живой интерес к военному делу. С неослабным рвением военного специалиста он изучал новые доктрины, технику и организацию современных армий. Приобретал, выписывал, выискивал книги и журналы на английском, французском и немецком языках,— все доступные ему, эмигранту, источники, из которых он мог бы пополнить свои сведения о России и ее боевой силе. И теперь он подходил к этим книгам, вновь пересматривал их, точно хотел найти в них ответ на с в о и тревожные вопросы. Каждый вечер, до-поздна просиживал Ветров у стола, заваленного журналами, газетами. Потом развертывал большую, покрывавшую весь стол, карту Европейской России и долго, сосредоточенно водил по ней цветным карандашом.

Изредка эти занятия прерывались приходом Янчевского. Виктор Францевич поудобнее садился в кресло, дымил вонючей сигарой, кривил злорадствующей усмешкой рот, начиная разговор своей обычной фразой:

— Новости-то какие, а?...

Ветров мерил гостя, такого неприятного и назойливого, хмурым, колючим взглядом. Янчевский делал вид, что не замечает этого и невозмутимо продолжал.

— Да--а. Именно блицкриг! Не прошло еще и двух месяцев, а какой молниеносный успех. Ленинград окружен. Немецкие танки у Смоленска. На юге они подошли к Киеву и Умани. Быстрота и натиск! Молодцы!..

— Цыплят по осени считают, Виктор Францевич, — мрачно замечал гостю Ветров.

— Да, конечно, но осень уже на носу, к тому же обстановка на фронте складывается вполне определенно. Вскрылась полнейшая неподготовленность, неспособность, деморализация, черт знает что! Вы, наверное, читали, под Уманью на немецкие танки красная конница шла в атаку с шашками. Это против немцев-то на тачанках вздумали воевать! Отличаются красные маршалы. Они, знаете, вроде чеховских свадебных генералов. Им в пору только украшать мавзолей Ильича на октябрьских парадах. Вот вам и могучая, никем непобедимая ... Все это был один только блефф!

Обычно Николай Алексеевич не вступал с Янчевским в споры, не желая затягивать визиты неприятного и незванного гостя, и облегченно вздыхал, когда тот уходил домой.

Дважды Ветров в городе выступал на открытых докладах, читая лекции о войне. На втором докладе произошел небольшой инциндент. Разбирая боевые операции у Минска, Николай Алексеевич указал, что двух-месячное сопротивление красной армии в этом районе, замедляя и путая стратегию блицкрига, создали благоприятные условия для подготовки оборонительных линий у Москвы, которые несомненно остановят дальнейшее наступление немцев. Потом, когда он повернулся спиной к публике, чтобы укрепить на стене большой схематический чертеж театра войны, из глубины залы раздался тонкий, сорвавшийся выкрик:

«б о л ь ш е в и к !»

В зале произошло замешательство. Грохнул, упавший стул. Гулом человеческих голосов и топотом торопливых шагов наполнились задние ряды. Генерал Ветров неторопливо повесил карту, обернулся лицом к публике, спокойно ожидая, когда в зале вновь водворится тишина, и продолжал свой доклад, закончив его под гром дружных, восторженных оваций слушателей.

После докладов в газетах появлялись рецензии. Каждый день приходили пачки писем от незнакомых людей. Одни Ветрова благодарили и просили продолжать лекции. Другие пространно и бестолково возражали. Наконец, третьи—авторы анонимных писем грубо и оскорбляли. Против Ветрова уже плелась паутина интриг. В городе ходили слухи, что старый генерал —никто иной, как секретный агент, состоящий на службе у коминтерна. И ничто, ни безупречная многолетняя служба солдата империи, ни боевые награды, ни участие в гражданской войне не могли рассеять и заглушить ползучие толки, клевету и пересуды в эмигрантской колонии. Кажется, больше всех усердствовал Янчевский. При встрече со знакомыми. Виктор Францевич неизменно заводил разговор о Ветрове и скорбно разводил руками.

—Ветров-то отличился! А ведь еще белый генерал. Неудивительно, что белое дело провалилось. Какая-то чудовищная провокация. Слащев был профессором красной академии, Скоблин предал Кутепова. А теперь Ветров разглагольствует о боевой мощи большевиков. Позор! Позор и предательство!

Как-то приехал к Ветрову отец Феодор заказать для церкви новый аналой. Много раз и прежде, всегда с большой охотой, безвозмездно Николай Алексеевич выполнял для храма ту или иную работу. Переговорив о деле, невольно Ветров коснулся темы о войне. Поглаживая пухлой ладонью широкую седую бороду, отец Феодор, гу-

стым низким неторопливым голосом, вел речь, пересыпая ее цитатами и изреченьями, при этом вздыхал и блаженно улыбался, словно вкушал сладость собственных слов. Из них сразу же стало ясно то, что он не только не печалится душевно о тяжкой судьбе своего народа, но видит в ней мудрую волю Провидения, десницу Бога, карающего за грехи и отпадение от веры.

Николай Алексеевич был человеком глубоко верующим, находил особую красоту православных обрядов, но при всем этом не мог терпеть заезжанных, выдохшихшихся поучений и цитат, называя их «поповским красноречием». Теперь он слушал бездушные, словно заученные, слова отца Феодора с печальной и горькой улыбкой. Потом не выдержал.

— Отец Феодор, не кощунствуйте текстами священных писаний. Ведь это ложь, ложь перед Богом. Эти проклятия ветхозаветных пророков, которые обращали они на нечестивые города и народы, ведь то-же полуправда, т. е., худшая форма лжи. Неужели среди 180 миллионного народа не нашлось бы 3-х праведников, которые отвратили бы очистительный огонь, карающий новый Садом и Гаммору. Да и что значат они, эти проклятия, перед всепрощающей кротостью самого Христа, молившегося за своих врагов, отпускавшего в последний час своих страстей грехи великому грешнику. Нет, не народ отпал от веры, а само духовенство, забывшее главную суть христианства — любовь к человеку и чувство сострадания к нему, обратившись в угоду мирской власти в рясофорных чиновников. Выветривание христианского чувства и сознания у духовенства беспрерывно продолжалось в течении двух веков империи. Вы верно знаете, что ответил митрополит Филарет Николаю первому, когда тот спросил его, как смотрит духовенство на освобождение крестьян? Ну, если забыли, я напомню, продолжал Ветров медленно чеканя каждое слово: — Филарет ответил, что для церкви собственно безразлично, свободны-ли крестьяне или в кабале, лишь бы были они православными христианами. И вы вот то же, век спустя, склонны думать, что России можно или даже должно стать немецкой колонией рабов, лишь бы эти рабы по принуждению крестили свои бритые лбы. Я глубоко верю в правоту и мудрость христианского завета, верю и в то, что народу русскому жизненно необходима его православная церковь и в ней новые пастыри, не нищие духом начетчики, а люди с творческим размахом Лютера и горячей верой Аввакума ...

Отец Феодор возражал, горячился, насупив густые бугристые брови. Опять пересыпал свою речь текстами из Евангелия и апостольских деяний, уже не замечая того, что его слова о Христе стали черствыми и злыми.

Неделю спустя Ветров отвез выполненный заказ отцу

Феодору, сдав работу, холодно с ним попрощался, решив про себя выйти из его прихода.

— Иначе - то больше нагрешишь. Бог ему судья...

Наступил конец ноября. Каждый день приносил с собою новую тревогу. Каждый час возвещал новую опасность. Однажды утром газеты сообщили, что отдельным танкам передовой панцырной колонны немцев удалось прорваться в Химки. Теперь уже германские офицеры, сквозь призмы цейсовских биноклей, отчетливо видели высокие здания Москвы.

В тот вечер к Ветрову пришел Янчевский. Опять развалившись на кресле, попыхивая сигарой, он возбужденно говорил Ветрову:

— Новости-то! Новости какие! Немцы в Химках. Понимаете, в 15-ти верстах от Москвы. Теперь уже крышка.

— Вовсе нет.

—То-есть, как это так? Что-же вам еще надо?

— Мне надо одного, чтоб немцев вышвырнули вон за русские рубежи.

— Да я не о том. Я спрашиваю, каких доказательств вам еще нужно, чтоб убедить вас в несомненной победе Германии?

— Если говорить о победе Германии, то доказательств еще нет ровно никаких. Даже, если будет взята Москва, то с потерей столицы война не кончится. Это, разумеется, страшный моральный удар для каждого русского человека. Пережить гибель древнего города, когда начнутся жестокие уличные бои: в Кремле, в древних боярских палатах, среди развалин Архангельского собора, бои в каждом этаже, на чердаках и в подвалах. Они сравняют с землей святыню России. Не станет тогда Москвы. Но над развалинами ее Кремля и соборов, дворцов и музеев поднимется грозный мстительный призрак умерших поколений, поднимется веками скопленная русская сила и самые развалины обратятся в неприступные бастионы. И немцы никогда не увидят победы. Запомните мои слова. Их говорит старый солдат российской армии. И, если не будет по моему, то значит я бесцельно верил в Россию и ровно ничего не смыслил в военном деле, которому посвятил всю свою жизнь.

Ветров встал, давая понять гостю, что ему пора уходить. — Простите, Виктор Францевич, мне сегодня очень нездоровится.

После ухода Янчевского, Ветров долго сидел у себя в комнате, склонившись над картой. Для него было ясно, что судьба Москвы должна решиться в ближайшие дни. Может быть даже сегодня.

**
*

С давних времен у Никольских ворот сторожил Москву Никола Можайский. Вид у Николы грозный: в одной руке меч, в другой Кремль. А в Кремле церковка — оба

маленькие, умещаются на ладони. Наполеон, убегая из Москвы, приказал в сердцах взорвать ворота и башню над ними. Заложили солдаты боченок с порохом, зажгли фитиль. Грохнуло. Посыпались вниз штукатурка и кирпичи, разворотило башню, а Николе Можайскому оттого ни холодно, ни жарко: даже в лампаде огонь не задуло ...

Так и стоял бы угодник на старом обжитом веками месте, да пришли на Москву большевики, сняли образ, а самого его, Николу, отчислили за штат. Погоревал старец, но делать нечего. Не серчать же из за большевиков на весь русский люд. Да и Николе то, самому трудно менять должность на старости лет. Веками оберегал он Русь и ее тяжкую судьбу. Никуда не ушел Никола Можайский. Остался сторожить Москву заштатный старец. А над Русью снова нависла страшная гроза. Прослышал Никола, что немцы без мала все древние русские города разорили, и ныне подступают к самой Москве. И вспомнил он как в древние времена являлся к князю Дмитрию Донскому в канун битвы на Куликовом поле, как обходом по монастырям-крепостям на окраинах русской земли, как навещал Ермака в далекой Сибири, и решил, что надо идти и теперь. И пошел древний старец светлой, незримой тенью, неслышной поступью по полям и лесам подмосковья. Пошел, чтоб утешить вдов и сирот, уврачевать страждущих, воодушевить воинов на ратный подвиг.

**
*

У Ветрова в комнате в углу висел небольшой образок Николая Чудотворца в тяжелой, старинной работы кованной ризе — семейная реликвия рода Ветровых. Еще и сейчас на оборотной стороне иконы можно разобрать чернильную надпись: «Платон Ветров. 1814». Пол-века назад этой иконой мать благословляла Николая Алексеевича, отправляя его в корпус. И еще раз благословляла жена, провожая его на войну. Сколько раз за свою долгую жизнь горячо молился Ветров перед этим образом Николая Чудотворца Мир-Ликийского. Молился пред экзаменами в корпусе и училище, в канун тяжелых боев. В мировую и гражданскую войну не расставался с иконой нося ее на груди под кителем. От времени лик на иконе поблек и стерся. Но для Ветрова в овальном вырезе серебра все еще сияет добротой и участием лик святого старца.

В тот вечер Ветров оставался в доме один. Долго сидел, задумавшись, у стола. Подавленный, упавший духом встал и подошел к углу, где висела икона. Минуту смотрел на образ, потом, опустившись на колени, положил земной поклон. Без заученных слов и молитв он молился на простом, обыкновенном, человеческом языке. Молился горячо и страстно всем напряжением своих мы-

слей и чувств. Лбом и мокрыми от слез щеками он прижимался к полу, вздрагивая от сдерживаемых рыданий. Потом выпрямился и, словно, тянулся всем телом к образу. Он горячо молил Угодника за Россию и ее людей. Ветров молился долго, не замечая времени. Само время и пространство казалось уже утратило для него свою вещественную значимость. Комната, весь мир за ее стенами куда то исчезли, остались за пределами его молитвенного эстаза. Не мог он различить и самого образа. В затуманенном слезами взгляде образ расплывался в пучек серебристых, как сияние, лучей. Уже непроизвольно, не думая, Ветров находил все новые и новые слова для своей жаркой молитвы.

. . . — Упроси Его, Отче! Пожалей их! Заступись за них, обиженных, за страждущих, за правду . . . Отче . . . Отче . . .

Все еще стоя на коленях, он долго и пристально впивался влажными глазами в образ. Ветрову показалось, что в тот момент, душа его, пройдя через тяжелый искус, вновь обрела поколебленную было веру. Ветров встал, истово перекрестился еще раз. Теперь он был совершенно спокоен. Ветров верил, он знал, что Россия спасена ...

Верно дошла до Николы Угодника молитва Ветрова. Да и не один он молился в ту ночь. Молились старухи и старики, чьи внуки и сыновья стояли под Москвой в серых шинелях, поклявшись убивать и умирать, стоя лицом на запад. Потому что за спиной — Москва, а за Москвой — уже конец света, конец русской судьбе, провал во мрак, в небытие....

И внял горячей людской мольбе Угодник Никола Можайский. Предстал он заступником за них пред Господом Богом. И тогда дано было свершиться чуду под Москвой . . .

VIII. ЧУДО ПОДЪ МОСКВОЙ.

В начале ноября из Москвы ушли на восток последние эшелоны. По опустевшим улицам перестали ходить трамваи. Необычная тишина улиц заполнилась доносившимся издалека гулом канонады. Временами этот гул становился явственным и четким: в нем можно было различить отдельные удары тяжелых орудий, и никто точно не знал, приближался ли фронт к пригородам, или это только ветром полнее доносило звуки боя.

По ночам, когда улицы и тяжелые силуэты зданий растворялись во мгле, черное мрачное небо прорезывали узкие ленты прожекторов, а на краю его, там, где гудела, грохотала и выла земля, полыхали бледные зарницы артиллерийского боя.

Днем и ночью по московским улицам непрерывными колоннами шли на фронт войска. Шла пехота в запорошенных снегом ушанках и шинелях, под густой щетиной заиндевевших штыков. Взметывая серебристую морозную пыль, проходили подбористой рысцой эскадроны и сотни. Колыхались в воздухе задранные кверху длинные и узкие стволы зениток. Грузно тянулись огромные гаубицы в покрытых инеем брезентовых чехлах. Взвихривая снег, словно в мятель, с грохотом и лязгом ползли танки. За ними бесконечным потоком двигались санитарные автомобили, грузовики с боевыми припасами, прожектора, мастерские, кухни, бани. И опять пехота, конница, артиллерия, танки, обозы. Круглыми сутками не прекращался этот шум движущихся войск. По ночам сквозь массивные стены домов проникал все тот-же знакомый приглушенный стук орудий скрежет танков, цокание кавалерийских подков и мягкий, еле слышный, но могучий в своей непрерывности, ритмичный шаг пехоты.

Ночью рождалась тревожная молва. Ночью беспокойные, зловещие слухи крались с фронта в город, проникали в дома, отгоняя сон у тех, кто остался в столице. Ночью шопотом из уст в уста передавали о том: что немецкие танки и пехота уже прорвались в Химки и к Ясной Поляне; что с севера и юга от Дмитрова и Каширы тянутся панцырные клещи врага, чтоб обхватить Москву с тыла; что Кремль, главные здания, метро, вокзалы, мосты и электростанции уже минированы и подготовлены к взрыву. Росла и ширилась молва. И по мере того, как нарастало огромное и напряженное ожидание, — готовились к неизбежному люди. Одни уже с бесстрастным спокойствием решили разделить участь древней столицы. Другие все еще надеялись, что Москву, как-нибудь да отстоят. А древний старичек-батюшка в ветхой часовне на окраине Москвы со своей малочисленной паствой молил Николу Можайского о милости и чуде ...

**
*

Перед Москвой, на широкой двухсотверстной дуге от Дмитрова до Скопина, с глубоко врезавшимся немецким клином у Каширы, готовилась великая битва, от исхода которой зависела судьба России, судьба всех народов Европы..

Уже два месяца на центральном фронте шли непрерывные, кровопролитные бои. Один за другим пали старые русские города: Вязьма, Бородино, Можайск, Малоярославец, Тарутино — исторические места наполеоновского нашествия. Теперь по земле, где тлели кости наполеоновских гренадер двигались полчища немецких танков, пехоты, артиллерии. Пятьдесят отборных дивизий Вермахта и все танковые армии, которыми располагала Германия, были брошены на штурм Дмитрова и Каширы, чтоб прорвать фланги центрального фронта и ох-

ватить Москву стальными щупальцами с севера и юга.

С лязгом и ревом моторов врезались в русские позиции танки со свастикой. Их встречали шквальным огнем пушек, мортир и пулеметов. В них летели гранаты и бутылки с горючим. А иногда последние, уцелевшие в бою бойцы - одиночки шли из окопа на танки со связкой гранат. В этом единоборстве человека с железным зверем часто гибли оба: и человек, и зверь. Но всегда людская воля была крепче стали.

Рвались и рассыпались стальные гусеницы. Жалобно и свирепо, как смертельно раненый зверь, выли и беспомощно кружились на месте танки, или черной падалью догорали они в лужах талого снега. Но танков было много. Мимо поврежденных и уничтоженных с грозным грохотом проходили новые, пробивая панцырным кулаком путь к Москве. Под прикрытием их брони наступали густые цепи пехоты. Сотни людей со стоном валились на красный снег. По их трупам шли в бой новые колонны, продолжая свои непрерывные, свирепые атаки на советские позиции.

***

Танковая дивизия генерала Хольта находилась в самом острие клина, пробитого немцами у Каширы. Уже целую неделю его танки вели упорные и бесплодные фронтальные атаки, пытаясь прорвать советские позиции. Губительный огонь советских батарей простреливал насквозь узкое и длинное пространство, на котором находились танки, нанося им тяжелый урон. После долгих повторных боев Хольту стало ясно, что прорвать каширские позиции силами своей дивизии невозможно и он отдал приказ прекратить бесцельные атаки. Немецкие танки отошли назад и, сбившись «в свинью», вели артиллерийскую дуэль с советской артиллерией. Над полем поднимались высокие гейзеры дыма, земли и снега. Словно грозные призраки смерти, они выростали среди танков, обволакивая их дымом и снежной пылью. Иногда над полем стелился густой, черный дым. Это горел подбитый танк.

Один из тяжелых снарядов разорвался около шоссе. Взрывной волной штабную машину Хольта отбросило вбок и она, сильно накренившись, повисла над глубоким рвом. Кучка немецких солдат в пилотках и мундирах, с посиневшими от холода лицами, старалась деревянными вагами поставить машину на шоссе. Неподалеку от места аварии стоял Хольт, наблюдая с группой штабных офицеров за работой. Усталые солдаты вяло ворочали вагами, и работа шла медленно. Руководивший поднятием машины молодой офицер, желая не ударить перед генералом лицом в грязь, торопил и подбадривал свою команду.

— Живей, ребята! Не теряйте времени. В одну неделю

мы сделали сто километров. До Москвы осталось только тридцать. Генерал очень торопится. Наша дивизия должна войти в Москву первой ...

Слышавший слова офицера, Хольт едва заметно поморщился углами рта и про себя назвал молодого лейтенанта дураком. Впрочем, лейтенант был отчасти прав. Торопиться, действительно, было нужно. Шоссе находилось в районе обстрела, и застрявшая машина представляла прекрасную мишень. На ее счастье, все внимание советских артиллеристов было направлено на немецкие танки, и штабная машина, походившя своими очертаниями на грузовик, была на время оставлена без внимания. Наконец, машину подняли и сдвинули на шоссе. В нее вошли Хольт с Эбертом и адьютанты. Завыл радиоприемник. Кто-то торопливо вызывал дивизию.

— «Пантера ... Пантера ... отвечайте ...»

Радист записал шифрованную телеграмму. Эберт, расшифровав депешу, подал ее Хольту. Лаконический приказ из штаба армии гласил:

— «Фланги танковых колонн под угрозой. Немедленно выводите дивизию к Веневу. Ждите дальнейших распоряжений...»

— Скверные дела, — сказал Эберту Хольт, качая своей огромной головой. Ставка бросила все резервы в отчаянной попытке овладеть Москвой. А результаты? — развел руками Хольт. Результатов нет! На севере танковые армии Хюпнера и Гота топчутся на месте перед Дмитровым, не в состоянии пробиться вперед. У них дела, пожалуй, еще хуже, чем у нас. Недавно на Волоколамском шоссе пятьдесят наших танков целый день вели бой со взводом советской пехоты*. В конце-концов эти отчаянные самоубийцы были уничтожены, но ценой тридцати танков. — Вы понимаете, — продолжал Хольт, — один немецкий танк на одного русского солдата! Черт знает, что такое! Невероятная вещь, абсурд! Абсурд, противоречащий самой тактике танкового боя. Если-б даже, взводу немецких солдат удалось сделать нечто подобное, я и тогда бы назвал это чудом. Конечно, в общей кампании это — незначительный эпизод, но беда-то в том, что вся обстановка для нас складывается катастрофически. По плану войны мы должны были бы быть давно в Москве. Но боюсь, что мы в Москву не попадем, вообще. Мы застряли на последних тридцати километрах. Теперь мы убираем панцырные клещи с флангов. Ведь это для русских сигнал к контр-наступлению. И нам придется отступать, потому что для наступления мы уже выдохлись. Наши солдаты все еще в летнем об-

*Речь идет о известном подвиге 28-ми панфиловцев у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 г. (прим. автора).

мундировании. Каждый день в тылу летят под откос поезда с боевым снабжением. А наши новые эрзац-танки, которые выпускают шкодовские заводы! На этом железном хламе еще можно было бы, кое-как, воевать в Польше или Франции, но уж никак не под Москвой.

Хольт замолчал и стал глядеть в окно машины. Кое где, вдали от дороги, чернели корпуса разбитых танков. Издали они казались игрушечными и терялись среди окрушавшего их пустынного и огромного пейзажа зимних полей. Вот, мимо проплыл березовый перелесок. Кроны деревьев срезало артиллерийским огнем, и теперь коротенькие, безжизненные стволы походили на могильные кресты, у которых кто-то сорвал поперечину. Хольт рассеянно следил, как этот странный березовый частокол, словно, шел кругом: ближайшие стволы убегали назад, а дальние медленно перемещались вперед. Временами он прислушивался к отдаленному гулу стрельбы и думал о своей отступающей от Каширы дивизии.

***

Вдали за советскими позициями узкой, синей полоской тянулись леса Подмосковья. С первыми заморозками в них появились люди. Вековые сосны, ели, березы и буки еще не видели такого множества людей. Люди рубили и расчищали просеки, копали, строили. Потревоженное необычным шумом и многолюдьем зверье попряталось в глубоких оврагах. Только изредка, по ночам, на лесную поляну выбежит заяц. Встанет на задние лапки и, поводя длинными ушами, удивленно глядит, как светлые лучи автомобильных фар скользят по стволам деревьев. Или белка проворно взберется на высокие ветви и смотрит оттуда, как внизу, поеживаясь от мороза, ходит взад и вперед человек в длинном белом халате. В том месте, где, как маятник, ходит человек, слегка наклонившись, торчат тупые вершины бурелома с толстыми, покрытыми инеем, гладкими стволами. Странные стволы, словно кто-то срубил у них сучья и ободрал всю кору. Потревоженный людьми старый ворон долго летал над лесом, тщетно стараясь найти спокойное, укромное место. Но люди были везде. Они строили землянки, устанавливали пушки, разгружали снаряды, тянули телефонные провода. День и ночь в лесу не смолкал людской говор, конский топот, гул моторов, железный скрип и лязг. Днем и ночью с востока шли и ехали люди с пушками, танками, обозами и штабами. И казалось, что лес, куда все это шло, ехало и двигалось, не в состоянии вместить в себе эти непрерывные потоки людей и вооружения. Но всем и всему нашлось место в лесах Подмосковья. Мощные резервы притаились в них, готовясь нанести наступающему врагу ответный удар.

Медленно тянулись дни. Напряженным ожиданием томились люди. И вот, однажды, по фронту поползли слухи о скором наступлении. Хотя в штабах строго хранили тайны военных операций, и никто не смог бы выведать и разболтать военные секреты, все-же наблюдательный солдатский глаз подметил необычайное оживление. Теперь у штабных землянок взад и вперед сновали ординарцы: верхом, на мотоциклетах, в автомобилях. Чаще стали наведываться в лес озабоченные командиры крупных войсковых групп. Теперь уже всю ночь напролет нескончаемой вереницей с затемненными фарами тянулись грузовики, подвозившие боевое снабжение артиллерии и танкам.

**
*

На краю лесной поляны стоял длинный ряд, выкрашенных в белую краску и тщательно замаскированных еловыми ветвями, танков. Около одного из них с цифрой 217 экипаж танкистов слушал худощавого стройного лейтенанта, державшего въ руках развернутую карту. Лейтенант Дмитрий Буров подробно разъяснял своим людям боевую задачу: по зеленой ракете танки батальона выходят из леса и идут к балке у разрушенного моста, в четырех километрах от опушки. Там принимают пехотный дессант и ждут. По красной ракете идут в наступление на передний край врага.

Рядом с Буровым стоял водитель танка коренастый паренек, Алеша Першин. Он внимательно слушал слова своего командира, долго рассматривал карту, на которой красным карандашом были нанесены ориентиры: скелет рухнувшего немецкого самолета, древняя могила с покосившимся массивным крестом, три дубка, которых пощадил стальной смерч войны. Теперь, запоминая эти дорожные мелочи, Алеша завершал свое ознакомление с маршрутом. Буров еще раз указал водителю место, куда должен был двинуться танковый батальон.

— Ну,что, Першин, понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант, — бойко ответил водитель, бережно складывая карту, и добавилъ: —Отсюда, значит, прямо на Берлин ...

Буров сдержанно улыбнулся на остроту своего водителя и в то же время бросил пытливый взгляд на Першина. Першин был новичком. Незадолго до того тяжелый немецкий снаряд однажды угодил в тот самый угол колхозного сарая, где расположились на отдых прежние танкисты машины 217-ой. По счастливой случайности сам Буров и радист Лепко были в тот момент в танке и остались в живых. На смену погибшим прислали водителя Алешу Першина и башнера Колычева, коренастого силача, уральского сталевара.

Целый день батальон готовился к бою. Каждый экипаж суетился возле своего танка. Стучали кувалды, вы-

бивая пальцы гусениц. Трещали моторы при пробной заводке. Выли вентиляторы на холостых оборотах. Суматошились горластые техники, за которыми послушно следовали бензоцистерны. К вечеру горячка прекратилась. Пред сумерками еще в последний раз проверили рычаги управления, пушку и пулеметы. Оставалось несколько часов отдыха перед трудной ночью. Танкисты, закончив хлопотливый день, пошли в землянку поужинать и передохнуть.

Долго ворочался на нарах Буров, стараясь заснуть. Забылся на полчаса, потом проснулся и уже не смог сомкнуть глаз. Крепко спали его люди. Низкие бревенчатые своды землянки наполнялъ богатырский храп Колычева. — Вот нервы у человека, — подумал Буров,—теперь его можно катать, как чурку по полю, не проснется.

Поворочавшись с боку на бок еще минут пять, лейтенант встал, надел тужурку и вышел из землянки, направляясь к своему танку. На поляне было тихо. Где-то далеко, на севере ухали редкие орудийные выстрелы.

Спустившись в люк хорошо ориентируясь в темноте, Буров включил боковой плафон, машинально проверил механизмы управления и запустил машину. Мягко, ритмично урчал мотор. Дав достаточное время для прогрева, лейтенант его выключил. В танке стало тепло. Сквозь отверстие люка был виден темносиний круг неба с мерцающими звездами. Долго сидел Буров, откинувшись на спинку сиденья. Не хотелось шевелиться и идти назад в землянку. По всему телу разливался дремотный покой. В голове не было мыслей, только в ушах все еще стоял плавный, убаюкивающий ритм мотора. Потом в его мягком шуме стало слышаться легкое подвыванье. Да это и не мотор. Только теперь Буров заметил, как ветер взвьюживает и заметает под ногами снежок. Жалобно стонет вьюга, взвихривая снежную пыль под ногами. Как я здесь очутился? недоумевает Дмитрий. И танка нет. Где же танк? промелькнула тревожная мысль. Но она сразу же выщла изъ головы. Теперь на душе лейтенанта спокойно и легко. Он смотрит на темное небо. Звезд уже не видно, их заволокло мутной серой мглой. Только бледнеет на небе чуть приметный светлый блик, будто несяц пробивается сквозь мглу. А светлый блик все ясней и ярче. Теперь он уже сияет, излучая мириады ослепительных лучей, охватив пол неба бездонным золотистым блеском, а из него выступает старческий лик. И лицо так странно знакомо. Где я видел это лицо? — старается вспомнить Дмитрий. Пряди седых волос, белая борода .. Да ведь, это у мамы образ был! Образ Николая Чудотворца! На сияющий лик больно смотреть ослепленным глазам. А Буров пристально смотрит на него и видит, что старец стоит во весь рост, излучая яркий свет, словно Святитель Никола, не разрушенный ни временем, ни

революцией, снова сошел светлым нерукотворным образом на русскую землю. Обернувшись на восток, сухой, старческой рукой он облагословил снежные просторы. Потом обернулся на запад. Зарделось на горизонте красное зарево. В нем отчетливо видны танки со свастикой. В кипящем, закручивающемся кольцами пламени танки встают на дыбы, раскалываются, плавятся и черными ручьями растекаются по снежному полю. А над ними гремит небесный гром раскатами, грохотом. Теперь уже весь запад объят багровым пламенем, освещая снежные поля кроваво - красным цветом, и снова гром . . . гром, от которого содрогается земля.

. . . Буров . . . товарищ лейтенант . . . Буров ... Буров. Водитель Першин, наклонившись над командиром тряс его за плечо.

— Товарищ лейтенант, началось . . .

Буров открыл глаза и, придя в себя, проворно выскочил из танка. Позади, над лесом, стояло белое сияние от непрерывных вспышек орудийных выстрелов. С каждой минутой огонь батарей становился все сильней и раскатистей. Гул канонады, наростая, переходил в рев непрерывный и тяжкий, от которого дрожала земля, и падали с ветвей снежные пласты. Над танками, в сторону немецких позиций, раскалывая небо, проносились сотни тонн раскаленной воющей стали.

У танков, словно по тревоге, собрались экипажи. Все знали, что шквальный огонь являлся предвестником наступления. Колычев сбрасывал с танка маскировочные, еловые ветви. Экипаж занял свои места. Взвилась в небо зеленая ракета. От нее сразу же все пришло в движение. У танкистов окаменели лица, сжались челюсти, напряглись мускулы. Сорвалась с места притаившаяся сталь. Танки дрогнули и медленно поползли к опушке леса. Буров, напрягая зрение, смотрел в темноту, временами давая краткия указания своему водителю. Когда машина 217-ая подошла к балке за дессантом, Буров, поправляя ремешок шлема у подбородка, почему то вспомнил о своем кратком обрывке сна, в котором, быть может, заключался какой-то неясный, но глубокий смысл.

***

От ураганного огня советской артиллерии все пространство перед немецкими позициями заволакивало тучами взвихренного снега и порохового дыма. Снежное поле покрылось зияющими чернотой воронками. И если, кто нибудь смог бы посмотреть теперь на это поле с большой высоты, оно было бы похоже на изрытую кратерами поверхность луны. С каждой минутой этих огромных черных ям — все больше и больше. Они, как разверстые могилы, готовы поглотить свои жертвы.

Могилы ползут все ближе и ближе к немецким укреплениям. Все ближе и ближе полоса огня приближается к блиндажам, пулеметным гнездам, окопам и батареям. Теперь уже все пространство впереди и позади позиций окутано дымом, землей, снегом, паром. Мгновенная вспышка огромного желтого пламени ... Черные пятна на ослепительном желтом блеске — куски металла, дерева, людей, комьев мерзлой земли. Потом в черных клубах дыма падали сверху на землю обезображенные тела людей, перевернутые лошадиные туши с вытянутыми вверх ногами. Проволочные заграждения вместе с кольями проносились в воздухе.

Часть огня сконцентрировалась на участке, занятом пехотным полком. И через несколько мгновений тела, оружие, — все, что заполняло окопы, взлетая на воздух, падало вниз. И случалось, что растерзанные тела и обломки при своем падении, едва коснувшись земли, новым взрывом вторично вздымались кверху, опять дробились, рвались, обращаясь разрывами в пыль и пепел.

Теперь уже окопов не было. Их засыпало обломками и свежей землей, из под которых карабкались люди. Люди ползли с черными, словно вымазанными сажей, и перекошенными от ужаса лицами. Ползли по серому перемешанному с землей снегу, оставляя позади кровавые следы. Их опять отрывало от земли, расшвыривало во все стороны, Одни из них оставались неподвижно лежать, другие вскакивали во весь рост с воплями или безумным смехом . . .

Огонь перешел вглубь немецких позиций. Свистящий, ревущий ураган бил по тылам, поражая штабы и склады. Авто-цистерны, грузовики со снарядами горели, взрывались, обращаясь в исковерканные, обугленные груды.

Когда огонь прекратился, в прорывы, пробитые артиллерией, устремились танки. Со стальным лязгом, хрустя по мерзлой земле, танки наползали на окопы и, как огромные плуги, загребали в них кучи снега. Иногда зад танков срывался вниз, на дно траншей, и давил лежавших там людей. Стальные гусеницы впивались в землю и тела людей, перемалывая их в одно сплошное месиво.

Между танками двигались в белых маскированных халатах цепи пехоты. Они словно выростали из под земли и охватывали все пространство перед немецкими позициями. По всему фронту гремело ура. Ура перекатывалось стихийной волной и наростающим эхом, казалось, уходило к самому горизонту, стараясь пересилить гул взрывов и треск пулеметной стрельбы.

Из немецких окопов уже выскакивали одиночные фигуры солдат. Потом из них стали выбегать группами, и, наконец, огромная масса немецкой пехоты, спотыкаясь, падая, тесня друг друга, стала откатываться с позиций.

Тогда откуда-то с боку, окутанная снежным вихрем, развернутым строем на отступающую пехоту карьером пошла конница. Храпящие кони, пригнув уши и распластавшись над взвьюженным снегом, почти не касаясь земли, неслись вперед. Наклонившись к гривам своих коней, подняв сверкающие клинки, всадники врезались в толпы бегущих пехотинцев. Кони вставали на дыбы, добивая передними копытами тех, кто еще не был сражен клинком. Массы отступающих быстро редели. Люди падали или укрывались от конной атаки в случайных воронках от снарядов.

Разбитые немецкие дивизии отступали по всему фронту. Одни отступали в порядке, другие,—потеряв облик боевых частей. Отдельные роты пытались задержать наступление. Ручными лопатами, кирками и топорами люди рыли окопы. От них валил пар, из под сорванной кожи сочилась кровь, но мерзлая земля не подавалась. И те, кто имел еще силы бежать, — бежали дальше. Обессилившие падали на снег и лежали, как зайцы. И рядом с ними, с живыми, спали их товарищи. Спали тоже, как зайцы с широко открытыми глазами. В их остекляневшем взгляде запечатлелось то, что они видели в последний раз, момент, на котором застыла их жизнь, обратившаяся для них теперь в вечность. Момент ужасного сна, от котораго они никогда уже не очнутся.

Немцы бежали все дальше, дробились, мешались в группах разных родов оружия: артиллеристы, танкисты, саперы, мотоциклетчики, радисты. Петлицы и значки на рваных шинелях и летних мундирах теперь уже ничего не означали. Все стали пехотой. Все бежали мимо разбитых грузовиков, около которых валялись груды снарядов и пулеметных лент. Среди ручных гранат и ружейных патронов лежало мыло, галеты, консервы, колбаса, свечи, шеколад. Люди на минуту останавливались, набрасывались на провиант, жадно глотали, распихивали по карманам, за пазуху. Потом, заслышав приближающихся гул танков или пулеметную трескотню, сбившись в кучу, стояли с протянутыми кверху руками под высоко поднятой винтовкой с привязанным к штыку лоскутом от белой рубахи.

Долго продолжалось отступление остатков деморализованных частей, пока, наконец, они не достигли опорных пунктов в глубоком тылу. Группы усталых, голодных солдат собирались около дымящихся труб походных кухонь, как у знамен.

**
*

Случайно оторвавшись от своих танков штабная машина Хольта, беспомощно металась по дорогам, в надежде соединиться с дивизией. Все усилия Хольта установить связь со своими танками не увенчались успехом. Танки молчали. Где они? Что с ними случилось? Всегда

спокойный и самоуверенный Хольт, теперь сильно нервничал и терял самообладание. Он поминутно вызывал штаб армии. Штаб не давал никаких инструкций. Последний приказ, полученный Хольтом из штаба касался не лично его, а частей всего центрального фронта в котором давались общие указания куда отступать: на севере — к Джову, в центре — к Вязьме, на юге —к Орлу. Потом в штабной машине испортилась радиостанция. Впрочем, теперь она была уже больше и не нужна. Штабная машина катилась по шоссе, увлекаемая общим беспорядочным потоком отступающей массы войск, среди грузовиков, автомобилей и санитарных фургонов. На глазах у Хольта танкисты какой-то дивизии взрывали собственные танки с пустыми газолиновыми баками. Тут же, неподалеку, за обочиной дороги стояли мощные бронестранспортеры с тяжелыми пушками без замков. Они тоже не смогли двигаться дальше и артиллеристы бросили свои батареи, предварительно сняв замки с орудий. После полудня длинная отступающая колонна остановилась. Впереди оказался взорванным мост. Хольт с Эбертом вышли из машины и стали совещаться, что предпринять. Обоим было ясно, что штабную машину придется бросить, пешком пройти с пол километра, пересечь овраг и продолжать путь в тыл на какой нибудь случайной машине. Порешив на этом Хольт, Эберт, радист и шоффер отправились в путь.

Шел снег, крупные снежинки кружились в воздухе, скрадывая видимость отдаленных предметов. Сильно сутулясь, путаясь в длинной шинели, грузно шел вдоль обочины Хольт. Его лицо было закрыто поднятым меховым воротником. Только из под козырька фуражки виднелся большой посиневший от холода нос.

Пройдя мимо нескольких машин, Хольт с Эбертом внезапно остановились около большого крытого брезентом санитарного грузовика, из которого доносились слабые стоны. Офицеры заглянули внутрь. Сильно ударило в нос противным запахом карболки и иодоформа. 20-30 раненых лежали на досчатом, покрытом подстилкой, полу. Все на них и под ними: мундиры, повязки, одеяла было обильно пропитано кровью. Кровь подморозило, все обратилось в одну залубеневшую кору, в которой лежала смерзшаяся куча мертвых и еще живых тел. Взглянув внутрь санитарного фургона офицеры тотчас же отшатнулись, молча переглянулись и пошли дальше.

До моста оставалось метров двести. Но в этот момент раздался грозный рев в воздухе. Эскадрильи штурмовиков быстро приближались к застрявшей колонне, круто снижая свои самолеты для пикировки. Оглушительные взрывы, трескотня пулеметов, крики ... Люди бросились через поле к ближайшему перелеску. Штурмови-

ки, выйдя из пике делали широкий заход, очевидно намереваясь повторить свой налет. Шоффер, радист, Эберт и Хольт тоже устремились через поле к лесному укрытию. Бежали медленно, вязли в снегу, падали, поднимались и снова бежали. Достигнув опушки, с трудом переводя дыхание, опустились под большой елью. Идти дальше они не в состоянии. Долго сидели хмурые, обессилевшие. Побледневшие от быстрого бега Хольт и Эберт часто и тяжело дышали. Шоффер и радист уже передохнули, но не могли оставить своих командиров. Смеркалось. В темноте все реже доносилась немецкая речь. Большинство давно перешло овраг, направляясь к немецким тылам. Наконец, Хольт поднялся и все четверо, медленно с трудом продираясь сквозь кустарник, пошли вперед. Было уже совсем темно, когда они подошли к краю оврага. И тут случилось непредвиденное. Эти последние тридцать секунд жизни генерала Хольта пронеслись с такой молниеносной быстротой, что за ними не поспевала сознательная мысль, и Хольт действовал инстинктивно. Внезапно в ночной мгле резко прозвучал окрик по-русски: «Стой!» Из-за стволов деревьев метнулись силуэты людей и щелкнули винтовочные затворы. Шедшие впереди шоффер, радист и Эберт попятились, встали в шеренгу с поднятыми вверх руками, загородив собой шедшего позади Хольта. Хольт тоже поднял левую руку, а правой, достав из бокового кармана револьвер, выстрелил себе в висок и потом согнув колени, грузно, как бык, рухнул на снег.

**
*

Буров только смутно помнил, что происходило во время боя. От удушливого запаха пороховых газов и перегорелого машинного масла, от выстрелов собственной пушки и близких разрывов сильно стучало в висках. В сознании Бурова засела одна лишь мысль — пробиться с танком вперед. Единственный момент, который сохранился в памяти, — это прямо впереди в 50-ти шагах пред танком — пушка и два немецких артиллериста. Один уже закладывал в казенник снаряд. Конец — пронеслось в голове лейтенанта. Но в этот момент, заряжавший артиллерист ничком упал на пушку. Алеша Першин нервно рванул танк вперед, и он, зацепив пушку, отшвырнул ее вместе с артиллеристами в сторону.

Потом танки шли с открытыми люками, облепленные своими дессантниками, по полю, вдоль дороги. Двигаться по дороге не было возможности. Она хранила свежие следы ураганного артиллерийского огня. И там, где особенно сильно был заметен обстрел, дорога была завалена разбитыми танками, опрокинутыми пушками, вставшими поперек пути грузовиками. По обоим сторонам ее, на полях, чернели груды мертвых тел с которых грузно и лениво слетало воронье.

Вдоль дороги маячили шатаясь от усталости безоружные немецкие солдаты-одиночки. При приближении танков они поднимали руки. Но на них никто не обращал внимания. Долго стояли они с поднятыми вверх руками, провожая воспаленными глазами, уходящие на запад танки. И потом, снова брели медленно вслед за танками. Для этих обессиливших и голодных людей было уже безразлично куда идти — на запад или восток. В германский тыл или русский плен.

**
*

О разгроме немцев под Москвой Ветров прочел на другой день в утренних газетах. В это утро дочери заметили резкую перемену в настроении отца. После смерти Наталии Ивановны они еще не видели его таким жизнерадостным и бодрым, как теперь.

Проводив дочерей в город, Николай Алексеевич вновь внимательно перечитал телеграфную сводку, а потом отправился в мастерскую, прихватив с собой маленький радиоприемник.

Каждый час радио передавало последние новости, в которых сообщались все новые и новые подробности сражения под Москвой и тяжелых потерях германской армии. Прошел еще час. Радио повторило предыдущую сводку. Новые телеграммы будут передаваться только к вечеру, — решил Ветров и выключил радио.

Не сладко пришлось немцам на русской земле, а на своей им будет еще горше, — подумал Николай Алексеевич, принимаясь за работу. Словно, кто-то влил ему в жилы новую кровь. Быстрее обыкновенного скользил по доске рубанок. Возбужденный Ветров уже не замечал, что сквозь загар на лице проступила бледность и дрожали колени. В полдень, когда нужно было идти завтракать, он устало опустился на скамью у верстака, ощущая неровные толчки в сердце. В голову ударило чем то теплым и шумящим. Стены и потолок в мастерской плавно уплывали в сторону. Казалось, что его куда-то уносит, покачивая и кружа. Опершись ладонями на колени, он опустил голову и глядел, как под рубашкой колыхала грудь. Переработал видно, да и слабеть начинаю. Старость приходит, — думал Николай Алексеевич, что-ж, умирать когда нибудь то надо ... А как бы хотелось дожить до конца войны, до победы ... Доживу, непременно доживу, — с какой-то уверенностью сказал он сам себе и медленно вышел из пристройки.

IX. ТАНКИСТЫ.

В героических скитаниях танка номер 217-ый проходили дни, недели и месяца. Он продирался сквозь леса, осторожно проползал через болота, резво бежал по степям. После каждого боя из танка проворно выпрыгивал

стройный, слегка сухощавый его командир в черной кожанной тужурке и ребристом шлеме. Минуту стоял, щуря от яркого дневного света густые, темные ресницы, а потом шел осматривать свой танк. Много было на стальных боках танка глубоких осколочных ссадин, рубцов и впадин. Каждую из них хорошо помнил Буров. Он мог бы безошибочно указать на следы боев у Вязьмы, под Москвой, у Великих Лук и Калача.

Три года боевой жизни связаны у Бурова с танком 217-м. Но не сразу привык к нему лейтенант. В первые недели войны часто забывался в тревожной дремоте Дмитрий и, тогда ему грезилось, будто, никакой войны и нет, а он, с дипломом инженера, едет в московском экспрессе на Урал. Потом открывал глаза и видел уже на явь, как громыхающая колонна танков шла по ухабистой, неровной дороге и Бурову уже казалось, что его студенческие годы и тот день, когда он защищал в большом зале перед огромным, покрытым зеленым сукном столом, свой дипломный проэкт гидроэлектрической установки — все это давний, смутный сон и, что жизнь началась, как то сразу, внезапно, в деревушке под Смоленском, когда он впервые подошел к машине 217-ой.

Не легко давался Бурову и боевой опыт. Летом в танке стоял нестерпимый жар. Зимой иней проступал на стенках и все было прокалено морозом. В полумраке пропитанном машинной гарью и пороховыми газами разъедало глаза. От рева моторов, от стрельбы собственной пушки и пулеметов в танке стонало и дрожало все до последнего болта. Снаружи градом осколков стальную броню лизала смерть. А довелось бы тяжелому снаряду угодить в танк и разорваться в нем — всему экипажу верная смерть. Тот, кого не добьет осколком— сгорит живьем.

В первое время Бурова лихорадило внутренней дрожью, когда он водил свой танк в бой. Но однажды он избавился от этого чувства раз и навсегда. Как то танки вошли в отбитую у немцев деревню и встали на площади возле школы. Неподалеку от того места толпилась кучка солдат. Буров вышел из танка и подошел к ним. На мокрой земле лежали два тела — девушка с нарукавной повязкой медпункта и солдат, у которого со лба тянулась белая полоска размотанного бинта. Тут же валялась открытая санитарная сумка, пузырьки, коробка с ампулами, пакеты ваты. Перевязку раненого прервал немецкий автоматчик, который лежал неподалеку подсоченный меткой пулей неизвестного бойца.

— Эх. яку дывчину сгубили гады! сокрушенно проговорил, стоявший рядом с Буровым пехотный стрелок.

Каждый день Буров видел много крови, смертей, изуродованных тел. Он давно уже перестал замечать их. Но эта смерть впервые поразила его. Он не мог оторвать

взгляда от мертвого лица убитой. Его изумила еще не тронутая смертью красота. И всматриваясь в прямой гладкий лоб убитой девушки, ее тонкий нос, крепко сомкнутые пушистые ресницы, Дмитрий представил себе, как она, еще полгода назад, должно быть, веселая, жизнерадостная возвращаясь с лекций домой, невольно приковывала к себе взгляды встречной молодежи. А теперь она лежала, неловко подогнув под себя ногу и раскинув в стороны руки. Ее ушанка валялась в стороне и толстый жгут волос блестел в мокрой глине золотистым отливом. Чем больше глядел на убитую Дмитрий, тем острее испытывал какое то горькое чувство жалости к этой бессмысленно загубленной молодой жизни. За что? За что? Кто дал право врагу убивать эту чью то дочь, сестру, невесту? Кто осмелился посягнуть на ее юную жизнь и счастье? Кто совершил эту ненужную жестокость, неоправдываемую даже суровым законом войны? Чья кровожадная похоть к исступленному зверству остановила ее героический человеколюбивый подвиг? Буров стиснул зубы и отошел.

С того дня у него исчез страх за свою собственную жизнь. Этот страх заместила лютая ненависть. А ненависть ведь лучшее средство против страха. И чем дальше, тем ярче становился образ убитой и сильнее росло клокотавшее в груди бешенство. С того дня на Бурова сошел холодный, расчитывающий каждое движение для удара, гнев. Дерзкая храбрость командира невидимыми токами передавалась всему экипажу танка. И всякий раз, когда танк с ревом кидался в бой и скрывался в чаду кромешного ада, Бурову мерещился точеный лоб, дуги тонких бровей и золотистые пряди волос втоптанные в придорожную землю.

Потом образ медленно, словно нехотя, исчезал, а затаенная молчаливая месть разом прорывалась, заполняя собой все существо Бурова. И он давил своим танком пушки, пулеметные гнезда, людей в каком то приступе мстительного яростного разгула. Уже много славных, удачных дел совершила машина 217-ая. Много новых царапин и шрамов прибавилось на ее боках. Все это для Бурова раскрывало свою подлинную конечную цель —мстить за девушку. Теперь ее образ углубился, расширился. Он воплотил в себе всю скорбь людей, непоправимость несчастья всей страны. Эта девушка где-то, когда-то лежавшая неподвижно с узкой струйкой запекшейся крови, для Бурова стала каким то скорбным символом всей России и ее великих страданий. . .

**
*

Поручик Александр Буров был убит под Танненбергом в 14-м году. Вдова поручика осталась с двумя сыновьями: 4-х летним Мишей и годовалым Митей. Распродав домашний скарб Бурова переехала к своей матери в

Москву и устроилась конторщицей в правлении одной из железных дорог.

После революции член правления занял видный пост спеца и вместе со своей секретаршей перешел в наркомат путей сообщения. Спустя несколько лет спец попал в опалу, а энергичная и трудолюбивая Бурова стала ценным, незаменимым сотрудником и осталась служить в том же самом отделе до последних дней своей жизни.

Сыновья росли быстро и хорошо. Особенно старший — румяный крепыш с веселым, всегда возбужденным лицом, вспыльчивый и добрый по характеру. На дворе Миша был энергичным и властным организатором ребячьих игр, и если затевалась игра в казаки-разбойники, атаманом, по общему согласию, выбирали Мишу. Иногда, в разгаре игры, по всему двору разносился его громкий, неудержимый плач, который минуту спустя стихал и переходил в звонкий победоносный клич и смех.

Рядом с Мишей младший казался неприметным и бледным. Он и действительно был тоненький и бледный. Большие же, серые глаза с темным обводом густых ресниц поражали своим не по возрасту серьезным и задумчивым выражением. Митя редко принимал участие в детских играх. И когда на дворе происходила возня, он сидел за столом над толстым, переплетеным журналом «Нива» 1914 г. и рассматривал картинки со скачущими казаками и стреляющими в них немцами в остроконечных красках. Просмотря весь журнал, от корки до корки, Митя аккуратно клал его на этажерку, подходил к столику и долго пристально смотрел на фотографию молодого офицера в мундире с эполетами и серебряной портупеей чрез плечо. Митя знал, что это его отец.

— Мамочка, а русские будут еще раз воевать с немцами?

— Не знаю, Митя. Почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Я бы отомстил им за папу.

Мать молчала и с грустной улыбкой гладила головку своего любимца.

Много лет прошло с того времени. Дмитрий вырос, возмужал, но серьезная задумчивость его красивых глаз осталась навсегда и не уходила.

Миша был способным, схватывал все на лету, но ленился и в классе шел в серединке.

Потом пошел в школу и Митя. Учеником он был на редкость прилежным и усидчивым и переходил из класса в класс первым. Кончив среднюю школу, Миша избрал себе военную дорогу. Тремя годами позднее Митя поступил в Политехнический Институт. Когда Митя был на втором курсе, а Миша воевал под Наманханом с японцами, умерла мать. Вскоре после ее смерти вернулся из Монголии Миша. У него под суконной офицерской гим-

настеркой заживала рана, а над ней, подвешенный к красной ленточке красовался боевой орден.

Погоревав о матери и, острее почувствовав свое одиночество Миша, к счастью для себя, встретил миловидную, скромную девушку и на ней женился.

А Дмитрий все время проводил бессонные ночи над книгами и чертежами, готовясь к зачетам. После весенних экзаменов он уезжал на практику на Донбас или на Урал. Для Дмитрия близилась заветная весна, когда он должен был защищать свой обстоятельный, тщательно разработанный дипломный проэкт. Проэкт он отлично защитил, а несколько дней спустя после защиты, провожали брата Мишу на войну. Через два месяца мобилизовали и Митю.

***

Для Бурова было всего тяжелее сознавать, что его танкисты погибли не в открытом бою с врагом, а по какой то нелепой и трагичной случайности. На смену погибшим прислали двоих: Алешу Першина — бойкого тракториста колхозника и Колычева, уральского сталевара, человека огромной физической силы и самообладания. Новые танкисты быстро освоились с походной жизнью, к тому же и батальон отходил к Москве без крупных боев.

Буров внимательно присматривался к своим новым людям и ему казалось, что к войне привыкает быстрее и легче — водитель танка Алеша Першин. Подметил Буров в нем и способность необыкновенно быстро все схватывать. Кажется, ведь, недавно на войне этот коренастый с русыми кудряшками паренек, а уже бойко болтает с пленными по немецки. Какое бы трофейное оружие не попадалось ему в руки, Алеша покрутит его, разберет, заменит при случае поврежденную часть. Много он починил немецких браунингов, парабеллумов и автоматов, а потом, отдавая кому нибудь, неизменно говорил:

— Принимай, товарищ. Угостишь фрицев их собственным добром.

На отдыхе Алеша часто лазил в разбитые немецкие танки, копошился в механизмах и вскоре усвоил конструкции Марков и Тигров. Иногда, когда нужно разжечь костер и сырые ветки плохо разгорались, Алеша принимался разряжать немецкий снаряд, чтобы добыть растопку.

— Ты бы, Алешка, шел подальше со своей механикой, — ворчал в таких случаях Колычев. — А то взлетим все тут к чертовой бабушке на воздух и Берлина не увидим. Крепко верил Колычев в победу. Много времени спустя, сбылась заветная мечта уральца-сталевара, когда он в

солнечное майское утро на стене рейхстага старательно выводил кудрявую надпись:

С. И. Колычев
Урал—Берлин
7—V—45.

Любили танкисты своего товарища Алешу за веселый нрав и за песни, которые он пел сильным, звонким тенорком под собственный аккомпанимент гармошки. Много знал песен Алеша. Умел он своей песней растрогать душу. И когда слушали ее, бывало, танкисты, сидя в тесном кругу возле костра, у серьезного Колычева загорались влажным блеском карие, грустные глаза.

Об Алеше танкисты знали немного. Знали, что он до войны работал в колхозе трактористом, что родных у него не было и ни от кого не получал он писем. Сам же Алеша никогда не говорил о своей прежней жизни.

**
*

Рано осиротел Алеша Першин. В тот год в приволжскую деревню вместе со страшным голодом пришел и сыпняк. Заглянул он и в першинскую избу. Родители умерли один за другим. Два свеже сколоченных из сосновых досок гроба поставили посреди избы, а у ее двери стоял пятилетний хлопец в потертом полушубчике и в отцовской, сползавшей на лоб шапке. Парнишку терзало сложное чувство страха, жалости и голода. И он плакал навзрыд, не переводя духа безутешным плачем и надсевшим, охрипшим голосом причитал:

— Тятенька, маменька, милинькие . . .

Левой рукой парнишка то и дело поправлял сползавшую на глаза шапку и плакал все горше и горше. Днем позже, смутно сознавая, что происходит вокруг, не в силах уже больше плакать, брел он позади дровней за гробами. Покойников свезли на погост, а сердобольный сосед на время приютил сироту у себя.

Не под силу было соседу содержать в голодный год лишний, хотя бы и малый, рот. У него без Алеши было четверо своих, да еще дряхлый дед, кряхтя на палатях доживал свой долгий век. Чтоб сбыть с рук мальца, сосед отписал обстоятельное письмо Алешкиному дяде, служившему истопником в каком то учреждении в Москве и отправил хлопца с попутчиком солдатом.

За сотни верст от родных мест ехал в теплушке Алеша безродный-сирота в неизвестность и одиночество.

По дороге солдат, встретив в поезде земляка, побежал на станцию за бутылкой самогона, замешкался и отстал от поезда. Больше Алеша никогда его уже не видел. Бледный, до смерти перепуганный, бегал он по московскому перрону, протискиваясь сквозь густую толпу, стараясь разыскать дяденьку солдата. С перрона толпа увлекала Алешу в зал третьего класса. Потом вокзал опу-

стел, а Алеша горько плакал, сидя на длинной скамье. Тогда-то у него и произошла встреча с Васькой Багрянцевым, повлиявшая на дальнейшую судьбу мальчика. К Алеше подошел подросток, повыше и покрупнее его, в длинном огромном пиджаке. Глядя исподлобья на плачущего Алешу и, распросив подробно обо всем, незнакомец потянул его за рукав.

— Ну, довольно реветь, топай со мной!

— Куда с тобой? — пятился от незнакомого парня Алеша.

— В нашу коммунью! Придешь увидишь. Живем мы роскошно. Ай-да!

Долго шли они по Москве, пока не добрались до большого пустыря. Незнакомец подвел мальчика к ржавому заводскому котлу, заглянул в лаз и крикнул:

— Ей, братва, новенький к нам! Из котла вылезли двое парнишек в лохмотьях с грязными тощими лицами, взъерошенные, с нечесанными головами.

— Вот и вся наша коммунья. Я — Васька Багрянцев, эти — Костя Ступин и Сашка Бураков.

Для Алеши началась новая жизнь.

Коммуна безпризорников жила на то, что удавалось украсть на базаре. Каждый вечер Васька и его помощники возвращались, принося с собой кульки, свертки, мешки, сумочки, кошельки, пшеничные калачи и овощи. Алеше, — до времени, главарь безпризорников воровства не поручал. Слишком опасное дело, требовавшее сноровки, было не по силам новому члену. Даже самого Ваську Багрянцева не раз ловили, драли за уши, били по щекам и грозились отправить в милицию. Алеша ходил по базарам, держал картуз за козырь, в который добрые люди бросали копейки, бублики, мятные пряники и другую снедь.

Спали безпризорники в котле, подстилая под себя содранные со стен пласты афиш и укрываясь тряпьем. Но перед тем, как ложиться спать, наступал момент, о котором Алешка мечтал целый день. Вечером, после ужина, все четверо сбивались в круг зажигали огарок и слушали Костино чтение. Костя Ступин — единственный грамотный член коммуны и обладатель замечательной книги с разноцветными картинами. Читал Костя увлекательно, с подробными разъяснениями. Прочет пол страницы, а потом даст волю собственной фантазии. С широко раскрытыми глазами слушали ребята, затаив дыхание о диковинных заморских странах ... Оплывший огарок догорел, надо спать. Грея друг друга, давно уже заснули ребята, а Алешке все еще мерещится, как в ярко-синем, залитом солнечным светом небе, высятся мраморные стены сказочных замков. Внизу, в ярких, золотых попонах ходят слоны. На них разъезжают черные,

как асфальт заморские принцы, срывая с пальм бананы, апельсины, виноград и плитки шеколада ...

В горловину котла врываются холодные порывы ветра, и слышно, как по стальному кожуху стучат крупные капли дождя. Голодный, продрогший Алешка напрягает всю силу детской мечты, чтоб продлить картину счастья и роскоши. Этой ложью воображения он старается скрасить свою горькую долю сиротства, голод, холод и одиночество. И странно, чем больше было детских невзгод и лишений у Алеши, тем сильнее были приступы бодрости и жажды жить.

Но всему бывает конец. Пришел конец и гнезду полу-зверенышей. Как-то однажды, уже в сумерках, на пустыре появились милиционеры. Они подошли к старому котлу, загородили собой большой круглый лаз и захватили всех четырех безпризорников. Ребята второпях собирали свои пожитки. Костя протянул Алеше засаленную книжку с картинками.

— Бери себе, парень. Научишься грамоте будешь читать ее сам. Безпризорники шли под конвоем милиционеров и плакали все, кроме Васьки Багрянцева.

— Чего ревете, дурни? В детдоме то лучше вам будет, — успокаивали их милиционеры. По дороге Багрянцеву и Ступину удалось вырваться и убежать. Двое младших Бураков и Алеша попали в детдом.

В детдоме мальчишек отмыли от пластов грязи, переодели и вернули им человеческий облик. Посадили за букварь и стали учить грамоте.

Раннее детство оставило в памяти у Алеши только одну мрачную картину — на его глазах вымерла от голода и мора почти вся деревня. Да и ему самому грозило нечто более страшное, чем голодная смерть и сыпняк.

Вынес голодные дни в старом котле Алеша, а главное, среди детских невзгод и лишений не увяз он в окружавшем его преступном быту безпризорников и пороке. Не по дням, а по часам росло его понимание жизни, и вместе с тем крепла воля, упорство и бодрость для борьбы с суровой судьбой. Выучившись в детдоме грамоте, Алеша по вечерам доставал заветную книжку. Теперь, в ней его увлекала не экзотика, — слоны в золотых попонах и чернокожие принцы. Он жадно всматривался в другие картинки, на которых изображались люди в щегольских белых костюмах, желтых блестящих ботинках и пробковых шлемах. Они разжигали в Алеше страстную мечту о привольной жизни, о достатке, богатстве и своеобразно понятой красоте жизни. Он подчинялся внешней прививке казенной дисциплине в детдоме и безропотно сносил ее. Но в душе у него с годами росло глубоко упрятанное, строптивое чувство. Верил Алеша, что когда нибудь он выбьется в люди, поживет в свою во-

лю и во что-бы-то ни стало завоюет себе свое право на блестящие желтые ботинки.

А время шло. Из детдома Алешу определили в ремесленную школу. В ней учился он упорно, сознавая, что знание — важное и ценное оружие в борьбе за лучшую жизнь. После школы Першин попал подручным на тракторный завод. Работал он старательно и скоро стал квалифицированным механиком. Но не по душе пришелся Алеше цех с его стальным лязгом, шумом и вечно сизым, пропитанным масляным перегаром сумраком.. Потянуло в деревню, к земле, на поля. Стал хлопотать о переводе на машинно-тракторную станцию. Несколько лет проработал Першин в большом колхозе, а когда под Смоленском гремела война и ручьями растекалась кровь, пришел и Алешин черед одеть комбинезон танкиста.

Грустно провожали колхозники своего тракториста— русого, веселого паренька с задорным, насмешливым лицом. Алеша уложил в телегу все свое имущество: парусиновый чемоданчик и бережно завернутую в простыню гармошку. А когда телега тронулась колхозные девушки незаметно смахивали навернувшиеся слезы. Так и приехал Алеша в танковый батальон с гармошкой. И не даром: легко и весело привыкал он к тяжелой боевой службе танкиста. Правда, иногда в трудные минуты сильно нервничал, терялся или даже робел. Но в такие моменты слышал над собой спокойный, ободряющий голос командира:

— Бодрей, Алеша! Ты танк, будто, корову на убой тянешь. А еще на Берлин собираешься идти. Потом, после боя, на привале Буров разъяснял своему водителю премудрость управления танком в бою. Набрав в горсть камешков, он раставлял их там, где полагалось находиться немецкой батарее и наступающим на них танкам.

— Главное в атаке, — управляй танком, как конем, а не водовозной клячей. Нужно, чтоб машина маневрировала, бросалась из стороны в сторону. Вот такой маневр на открытом месте — одно только спасенье. Помни, что с первого снаряда тебя не покроют, а со второго неизвестно. Так ты, как ударит по тебе пушка, считай в уме до десяти и бросай танк вправо, сорок пять градусов. Другой снаряд, опять считай до десяти и маневр влево. Тогда, как ни доворачивай враг орудия — никогда он тебя не поймает на прицел.

Часто беседовал лейтенант со своим водителем и не только о войне. Удовлетворяя ненасытную любознательность Алеши, Буров рассказывал ему то эпизоды из русской военной истории, то объяснял устройство высоковольтовых генераторов, или говорил о Декабристах, Льве Толстом и Чехове. Любил слушать эти беседы Першин. В короткое время крепко привязался к своему лейтенанту и питал к нему такую преданность, что если

от этого зависела бы судьба Бурова, он, не сморгнув глазом, пожертвовал бы собственной жизнью за командира машины.

X. НА КУРСКОЙ ДУГЕ.

Еще не оправились немцы от сталинградского разгрома, а уже с весны начали готовиться к новым боям перед Курском там, где Красная армия глубоко вклинилась на запад широкой дугой. Теперь ее мощный, стальной кулак угрожал сокрушительным ударом по Украине и Польше. И нужно было, во что-бы то ни стало, отсечь этот кулак одновременным ударом панцырных армий с севера и юга.

В начале июля 1943 г. произошла величайшая в истории второй мировой войны танковая битва, после которой смертельно раненый, но все еще сильный и опасный зверь, оставляя по пути кровавый след, уходил на запад к себе в берлогу, в ту самую берлогу, которую в седые века славяне звали «Берлом», а позднейше германские поселенцы переделали это имя в «Берлин».

Точно предчувствуя недобрый конец задуманной операции, старые генералы, вынесшие из боев у Смоленска, Москвы и Сталинграда горький опыт, угрюмо пожимали плечами и открыто называли «курский план» — новой авантюрой, могущей привести к катастрофической развязке войны на восточном фронте. А генералы, вновь назначенные на высшие командные посты, сменившие опальных Манштейна и Гудериана, желая оправдать доверие и благосклонность своего фюрера, ретиво отстаивали идею летнего наступления на центральном фронте и были преисполнены самых радужных надежд.

На Мазурских озерах, овеянных былой славой Гинденбургской победы. в старой прусской крепости Люцене, новый главнокомандующий восточным фронтом генерал Зейцлер был погружен в разработку будущих боев. Вечерами в кабинет Зейцлера собирались для совещания генштабисты. Генерал водил пожелтевшим от сигаретного дыма пальцем по разостланной на столе карте, указывая на разноцветные ромбики, кружки, треугольники и квадраты. Словно, околдованный их магической силой, он с твердой, несокрушимой уверенностью заканчивал свой стратегический анализ одной и той-же фразой:

— А обеспечит наш успех вот этот удар с юга панцырной группы — «Гросс Дойчланд» . . . Как видите блестящая операция. И какие результаты: окружение двух советских армий и полное их истребление ... Важно и то, что Россия лишилась своих верных союзников. Зима уже кончилась, фельдмаршал мороз со счета снят. Это раз. И генерал загибал на руке указательный палец. —Через

месяц дороги подсохнут. Фельдмаршал Грязь тоже в отставку — это два. — Он загибал средний палец. — На восточный фронт прибывают новые танки: Пантеры и Тигры. — При этих словах загибались оставшиеся безымянный и мизинец. И генерал, потрясая над головой сжатым кулаком, спрашивал у стоявших перед ним на вытяжку генштабистов:

— А вы знаете, что это за танки? Это — самые мощные въ мире танки. Чудо военной техники! Самое лучшее, что только мог создать профессор Порш. Это германский гений, ползущий по земле на стальных гусеницах! О! Если-б были у нас под Москвой «пантеры» и «тигры» мы бы уже давно закончили войну!

Генерал был глубоко убежден в правоте своих слов. Теперь только оставалось склонить фюрера к утверждению «курского плана». А это было не так легко. В последнее время Гитлер проявлял неуверенность, подолгу колебался и часто менял свои решения.

**
*

Военное совещание происходило в начале февраля в Берхтесгадене, в резиденции фюрера, Бергхоф. Оно уже не было, как прежде, многолюдным. В зале совещаний собралось несколько высших генералов и Химмлер. Былой блеск и напыщенная торжественность тоже отсутствовали. Их сменила серьезная озабоченность, даже вернее, гнетущая подавленность людей, понимавших трудность или безвыходность своего положения. Перед столом заседавших генералов, прохаживался взад и вперед Гитлер в серой домашней тужурке с низко опущенной головой. Говорил он медленно, делал частые паузы. И в такие моменты поднимал свое желтое, одутловатое лицо с большими мешками под глазами, рассеянно оглядывал присутствующих, и, казалось, молчаливо просил у них подсказать на чем он остановился. Потом ловил нить прерванной мысли и снова продолжал свою монотонную, вялую речь. Временами он обращался лицом к стене, где висела огромная карта восточного фронта. С севера на юг, от Нарвы до Таганрога она пересекалась размашистыми зигзагами. Гитлер, следя взглядом за жирной чертой, обозначавшей изломанную линию фронта, ворочал своей головой то с права на лево, потом слева на право, опуская ее все ниже и ниже к побережью Азовского моря, и казалось, что его голова кружится по спирали сверху вниз. А в этот момент мысли в голове Гитлера тоже кружились вокруг невидимой, затерянной глубоко в сознании точки и постепенно закручивали какую-то сильную, упругую пружину, которая напряженным, болезненным чувством сковывала язык, руки, ноги, все существо Гитлера. И сам он чувствовал, что, если б, почему-то, эта пружина вдруг соскочила со своего

закручивающего механизма и внезапно раскрутилась, стремительным круговоротом в обратную сторону, он бы здесь пред чинно сидящими генералами, начал бы корчиться в припадке безотчетной злобы, топать ногами, рвать на себе волосы и рыдать в пароксизме отчаяния и бессильного бешенства. Но пружина не соскакивала. Невидимый механизм закручивал ее все сильнее и сильнее, напрягая нервы до последней, предельной степени и, отзываясь во всем теле ноющей, тягучей болью.

Гитлер мрачно смотрел на эти, глубоко врезавшиеся на запад советские клинья у Старой Руссы, перед Витебском, Брянском, Курском, Харьковым и ему ярко представилось, как там сейчас бешеным ревом грохочут орудия, ползут танки, атакует пехота, разламывая и пробивая себе путь на запад. Как по ночам, скрытые непроглядным мраком, просачиваются сквозь немецкие линии, без единого выстрела, кучки русских солдат. Неслышно роют окопы, подтаскивают пулеметы, пушки, снаряды и уже под утро закрепляются глубоко в немецком тылу мощными авангардами наступающей армии. И ничем нельзя остановить эту, грозно надвигающуюся, стихийную силу.

Вот здесь, в нижнем правом углу карты, где сближаются синие полоски Дона и Волги, неделю тому назад лежали запорошенные снегом тысячи трупов немецких солдат. А другие десятки тысяч полуживых, обмороженных и голодных, прикрытых лохмотьями людей, точно собранных со всего мира толпы нищих и калек, безконечными вереницами медленно брели на восток под конвоем советских солдат, оставляя позади себя несчетную массу танков, орудий, самолетов, грузовиков и складов, хранивших боевую утварь — все то, что принесла с собою к Сталинграду 6-ая армия.

— Вот здесь, — указывая на Сталинград, продолжал свою прерванную речь Гитлер, — наши генералы позорно сдались большевикам в плен. Почему они не пустили себе в лоб последнюю пулю? В Германии в мирное время ежегодно кончают с собой 20-ть тысяч человек, иногда и без уважительных причин, а командующий, у которого на глазах погибло 50 тысяч солдат, сдался! Германия была слишком занята развитием интеллектов и совершенно не обращала внимания на развитие характеров. Меня больше всего удручает, что на Паулуса смотрел весь мир! А что же вышло? Героизм всей армии пошел на смарку из-за одного труса. Какой же это пример для наших солдат? Теперь я должен сказать, что каждый солдат, который рискует на фронте собственной жизнью, просто на просто — идиот. Кому я поручаю свою армию, а? Кому?

Главнокомандующий заерзал на стуле и тяжело вздохнул:

— Непостижимо! И никто не мог раскусить этого человека.

— Не говорите этого, — перебил его Гитлер: я собственными глазами видел письмо, адресованное моему адъютанту. Я вам могу показать это письмо. Офицер из Сталинграда в нем писал: Я пришел к выводу, что Паулус — под большим вопросом, а Зейдлица и Шмидта следовало бы расстрелять. Только один Хюбе — настоящий командир. Я сначала, признаться, не поверил. И что же вы думали? После того, как этот гусь получил предложение от русских о капитуляции, он обратился ко мне с запросом — «как ему поступить». Вы понимаете, «как поступить»! Это меня спрашивает командующий германской армией!

— Но, может быть, русские пустили ложный слух? Эти дьяволы способны на всякие штуки, — с ноткой надежды проговорил один из генералов.

— Нет! Это абсолютно так, — продолжал Гитлер, не обращая внимания на генеральскую реплику. — Вообразите: его привезут в Москву, посадят на Лубянку. Вы, вероятно, не знаете, что это такое. Там его заедят вши, загрызут крысы. Там он подпишет все, что ему подсунут. Признается в чем угодно. Будет составлять прокламации для нашего фронта. Выступит по радио.

— Ну, русские могут подставить кого-нибудь вместо него, — не сдавался генерал.

— Нет, сами будут говорить. Это генералы-то германской армии! Я поручил армию академическим акробатам. Необходима более тщательная проверка моральных качеств наших командиров.

— Особенно въ Генеральном Штабе, — поддакнул главнокомандующий. Недавно я назначил в штаб простого армейского офицера, не академика, за то, что он успешно провел отступление своей дивизии. Когда я узнал об этом, немедленно же отдал приказ: капитан такой-то — за боевые заслуги зачисляется в генеральный штаб . . .

И этого человека, — продолжал Гитлер, — у которого злополучный Паулус не выходил из головы, — я произвел в фельдмаршальский чин. Нет-с! Довольно! Это было последнее производство в фельдмаршалы до конца войны.

Гитлер нервно ходил вдоль стены, видимо, не желая больше говорить. Наступило тягостное молчание. Генералы переглянулись, и один из них встал со своего места.

— Наша победа на востоке, — начал он, — дается нам не так легко и быстро, как мы предполагали перед войной. И это не является ошибкой нашей стратегии или слабостью духа победоносной армии Рейха. Это попросту особенность войны на восточном фронте. Особенность азиатской психологии врага. Теперь мы поняли

эту особенность. Да, теперь мы имеем опыт. Он научил нас считаться с упорством противника, поэтому было бы неправильно торопиться регистрировать месяца войны, километры завоеванной территории, число уничтоженных нами дивизий. К Красной армии нужно подходить с особой меркой. В ней отражается упорство, безумие большевистской системы, не знающей компромисса. Нам, европейцам, кажется феноменальным, что большевистские солдаты месяц за месяцем идут в наступление на верную смерть, и, не задумываясь, жертвуют жизнью. На восточном фронте не бывает капитуляции окруженных армий и крепостей, — того нормального порядка, который признается всеми западными странами. Русские сражаются с фанатичным упорством животных. Они жертвуют жизнями с легкостью непонятной для психологии западного, цивилизованного человека. Они хладнокровно шагают через тела убитых товарищей, спокойно зарывают эти тела в могилы и безразлично встречают собственную смерть. Для них жизнь не имеет ценности. И с тем же безразличием они переносят холод, голод, жару и жажду. Вот почему наш план, составленный по правилам стратегии, план безошибочный, точный и неопровержимый для всякого военного специалиста, не осуществляется так, как мы думали вначале. Но мы будем продолжать войну до победы ...

Гитлер обернулся к говорившему.

— Так. А что вы можете предложить конкретно?

Генерал на минуту замешкался. У него не было определенного плана дальнейших боевых операций на восточном фронте, и говорил он, главным образом, для того, чтоб отвлечь фюрера от неприятной и щекотливой темы о высшем военном командовании. Этой минутной паузой воспользовался главнокомандующий восточным фронтом генерал Зейцлер. Для него это был самый подходящий момент позондировать почву о Курской дуге, и он начал подробно излагать план окружения Курского района.

— Мы должны, — говорил Зейцлер, — сосредоточить все, имеющиеся у нас силы, использовать все резервы для этого удара. Эта операция прежде всего вопрос международного престижа германской армии. Главнокомандующий многозначительно посмотрел на Гитлера. Он знал, что задел чувствительную струнку фюрера, и конечно, не ошибся. При слове «престиж» Гитлер оживился и стал внимательно прислушиваться к словам главнокомандующего. Когда тот кончил, следующий генерал решительно высказался против курской операции.

— Много ли людей во всем мире слышали о Курске и знают, где этот самый Курск находится? Внешнему миру совершенно безразлично, кто им обладает — мы или русские. Но что произойдет, если мы проиграем это сра-

жение? В этой игре мы ставим на карту все, с малыми шансами на успех. Для курских операций необходима более длительная подготовка и удар наверняка.

— Да, да, — прервал генерала Гитлер, — имено, удар наверняка. Признаться, когда я думаю о Курске, у меня переворачиваются в животе кишки ...

Со своего места поднялся генерал, специалист танковой войны.

— Мой фюрер, я полагаю, что операции в курском направлении преждевременны. Новые типы танков имеют некоторые недостатки, которые необходимо устранить. К тому же их и не достаточно. Нам необходимо перебросить танковые части из Сицилии. Все равно они там ржавеют в бездействии.

— Ваше предложение невыполнимо, — заметил Геринг: Мессинский пролив находится под бдительным контролем неприятельской авиации. При теперешних условиях перебросить их в Италию совершенно невозможно.

— Да? Но, ведь, вы, г-н рейхмаршал, — отпарировал танковый эксперт, — вы обещали обеспечить защиту Мессинского пролива с воздуха. Я полагаю, что, если вы сможете выполнить свое обещание, наши танки также безопасно возвратятся в Италию, как они были доставлены в Сицилию.

Геринг бросил злобный взгляд на танкового генерала и ничего не ответил.

— В таком случае операции у Курска необходимо отложить до следующего года, — настаивал танковый генерал.

— Невозможно, — запротестовал главнокомандующий Зейцлер, — невозможно. Это будет роковой ошибкой с нашей стороны. Во-первых, союзники к тому времени откроют второй фронт. Да и русские не будут сидеть, сложа руки. Если не мы, то они начнут наступление, в котором инициатива операций будет принадлежать им, а не нам. Только сейчас нам представляется благоприятный случай, стремительно охватить панцырными силами курский район и уничтожить в нем советские армии.

— Да, да, он прав, — порддержал Зейцлера Гитлер: это очень важно для нас. Мы не должны ждать, пока на нас нападут. Мы должны атаковать первые.

Гитлер подошел к карте, резко провел рукой вдоль линии фронта.

— Все, вот эти извилины — к черту! Фронт нужно выровнять, а все эти карманы перерезать. Начнем с Курска. Мы должны выровнять фронт! И теперь же! У нас все есть для победы. Я дам вам свежие резервы. Новые танки. Я брошу все силы Рейха, чтоб покончить с этими ...

красными свиньями ... Начинайте концетрацию сил перед Курском! . .

Заседание кончилось. Присутствующие генералы обменялись друг с другом недружелюбными взглядами, замаскировав их улыбками. Сторонники плана чувствовали себя победителями и поэтому улыбались пренебрежительно и высокомерно. Их противники, сознавая нелепость и рискованность задуманного плана, уверенные в несомненном провале операции, улыбались с тенью недоумения и как бы говорили своими улыбками:

— Ну, что-ж, Курск — так Курск! Не пошло, значит, Сталинградское битье вам в прок.

А в это время Гиммлер исподлобья посматривал на улыбавшихся генералов, и его маленькие глазки горели злым огоньком. Он знал многое, почти о каждом из присутствующих. Все доносы, рапорты и донесения, которые писали Гитлеру друг на друга генералы, находились у него в руках в особой секретной папке. Вот еще недавно генерал-полковник Клюгэ в своем рапорте просил Фюрера разрешить ему вызвать генерала Гудериана на дуэль. Гитлер отклонил просьбу Клюгэ и на его рапорте написал резолюцию: — Вопросы германской чести решаются не на дуэли, а в бою на восточном фронте»...

Гиммлер оглядывал генералов острым, пронизывающим взглядом. Он знал всю сложную паутину внутренних человеческих мотивов, и каждый из этих людей представлялся ему преломленным через какую то призму неприглядной правды. И, смотря на них, он словно снимал с них украшенные орденами, блестящие мундиры, оставляя их в одном нательном белье...

**
*

С весны началась лихорадочная переброска немецких войск в районы перед Курском. Через Орел, Чернигов, Конотоп и Харьков двигались походные колонны пехоты, танков, артиллерии. День и ночь, состав за составом, шли на восток поезда: штабы, санитарные и воинские эшалоны. В перемежку с вагонами, собранными со всех дорог Европы, тянулись длинные платформы, на которых, поблескивая свежей краской, громоздились танки с заводскими ярлыками: Геншель-Кассель, Деймлер, Бенц-Берлин, Алкетт-Спандау.

Эти мощные потоки войск, снаряжения и провианта разветлялись на север и юг, вливаясь в составы армий Моделя и Гота, сосредоточенные на флангах Курской дуги. Полумиллионная армия, имевшая свыше 3000 танков, 7000 орудий и 2000 самолетов, должна была одновременным ударом перерезать дугу и выйти на соединение восточнее Курска.

С началом наступления немцы не торопились: оно было намечено на 6-ое июля. А пока что на центральный фронт прибывали все новые и новые силы. Нескончае-

мыми лентами тянулись по дорогам авто-обозы, груженые смертной кладью. Они везли эту смерть пока еще, до времени, заколоченную в ящики, разлитую в цистерны, сложенную штабелями, закрытую парусиновыми чехлами, смотанную в катушки и ленты. Смерть отмеренную граммами и десятками тонн. Смерть жидкую, порошкообразную или прокаленную до бронебойнаго закала. Этот огромный и сложный арсенал смерти впитал многовековые сокровища человеческого знания, поглотил все природные дары земли, вобрал в себя напряженный труд миллионов людей на заводах, в полях, лесах и шахтах. Ни необузданный гнев первобытного дикаря, ни инстинкт голодного кровожадного зверя устремлял коллективную волю людей к убийству, насилию и разрушению. Эту волю направлял бесстрастный и бездушный разум, отвергнувший древний закон ветхозаветного пророка. Разум, все точно взвешивающий и расчитывающий, готовил неслыханные злодеяния, обращая их в смысл и содержание жизни своих современников, не ведая того, что незримый, карающий закон уже вынес свой суровый неотвратимый приговор: Мне отмщение и Аз воздам ...

**
*

Нежданно-негаданно на походе к Курску, за два дня до начала великой битвы произошла встреча братьев Буровых. В жаркий полдень в клубах пыли громыхали по дороге танки. У обочины, внимательно всматриваясь в обознательные номера, стоял плотный широкоплечий человек в порыжевших от долгого похода солдатских сапогах и вещевым мешком за спиной. Дмитрий, смотревший на дорогу высунувшись по пояс из башни, не сразу узнал брата. Только, когда танк, почти, поровнялся с человеком, Дмитрий заметил на его плечах полевые защитные погоны полковника и на загорелом дубленом солнцем лице радостную улыбку.

На привале Дмитрий разыскал брата. Вместе закусили мясными консервами, а потом до позднего вечера ходили у околицы деревни и беседовали. В тот вечер брат Михаил долго оживленно говорил о семье, о своих планах на будущее. Мечтал после войны поступить в академию и со временем стать историографом великих и грозных лет.

— Ну, это, конечно, пока мечта. Потом будет время поговорить детально, если не убьютъ, а сейчас, главное, на первом плане — не личная жизнь, а победа. У нас есть уверенность в победе, и еще больше уверенности в чем то другом светлом, что придет на другой день после нее.

— Ты веришь в это? — спросил Дмитрий брата, поняв без лишних слов его мысль.

— Конечно! Ты знаешь в войне, в героическом подъеме, мысли и чувства народа очистились, возвысились,

просветлели. До войны советский человек жил в каком то затхлом подполье мещанского, провициального догматизма, вроде средневековых монахов. А когда началась война, советский народ среди жертв, страданий, трудностей многое передумал, многое переоценил. Война всколыхнула страну и сбросила тонкий поверхностный нарост революционных лет. Вспомни: после крымской войны — освобождение крестьян, после пятого года — революция, в 17 году — тоже. Конечно, дело не в новой революции и не в реставрации прошлого. Они уже изжиты на век. А дело в расширении кругозора. Новый взгляд на человека, на личность, на труд, на свободу, на прогресс всех форм жизни. Мы теперь шире и глубже поняли жизнь, себя, весь мир. И мир тоже стал лучше понимать нас. Много, много возможностей открывается теперь перед Россией. Война и тот великий вклад, который сделала Россия уже привлекает к нам симпатии всего мира. А что делали мы до войны? Чем мы занимались? Седлали издыхающий коминтерн и лезли на рожон. Какой запас неприязни и какая чудовищная руссофобия созданы всеми этими авантюрами! А теперь другое. Красная армия освободила Европу от Гитлера. Она символ мира и свободы народов. Вот почему я так мечтаю о победе. Она принесет с собой не только избавление от тягостей военных лет, но даст народу нечто большее. Мы пожертвовали многим ради нее. Цветущие города — в развалинах. Молодые красавцы-заводы обращены в груды бетона. И все же не даром мы воевали, Дмитрий. Не зря! Все, что было до войны, с войной же и кончится! Просветлеет русское небо. Свободней вздохнет земля ...

В голосе Бурова - старшего звучала вера в какое то близкое чудо. Брат не договаривал, но Дмитрий все понимал настолько это было огромно, желанно, настолько глубоко запало в душу у многихъ людей в армии и в тылу, что каждый бы все понял без ненужных, лишних слов.

Поздним вечером братья попрощались, чтоб уже больше никогда не встретиться вновь.

**
*

На краю перелеска, в прогалах между деревьями, алело вечернее небо. Заря догорала, окрашивая листву и атласно-белые, испещренные чернью стволы берез багровым отсветом заката. Тишина стояла над лесом. Где то, вдали, глухо и лениво ухали пушки да порой легкий ветерок, пробегая по вершинам деревьев, доносил ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, шелест литвы. Сумрак мягко темнел в лесу. Последние слабые, багряно - желтые блики гасли в чаще кустарника и на бархатных зеленых наростах мха. Крепче потянуло грибной сыростью, перегнившей листвой и дымом от костров.

Синяя темнота сгущалась на небе. В его глубине заблестел звездный узор. Ярче засветились по лесу огоньки костров. Окруженное мраком ярче пылало пламя, вырывая из темноты фигуры сидевших вокруг костра танкистов и отбрасывая от них огромные колеблющиеся тени на стволы деревьев. Поужинав, танкисты кипятили чаек и вели тихую беседу. Алеша допил чай и потянулся за своей, неразлучной спутницей, гармошкой. Бережно развернул посеревшую от времени простыню и положил на колени блестевший перламутровыми пуговицами полубаян.

— Вот это дело, Алеша, — одобрительно протянул Семен Колычев. Эх, до чего же хороши русские песни, слушаешь и, будто, теплой слезой душу окропит. Вот дома - то, на Урале по вечерам девчата соберутся и поют. Голоса звонкие, чистые. У жены, она тогда еще в девках была, голос грудной, бархатный ...

Алеша тихо взял пробные аккорды, искоса посматривая на Колычева.

— Уральскую говоришь? Ну, что-ж сыграем уральскую. Вспоминай, как на Урале девушки поют.

Под окном черемуха колышется
Осыпая лепестки свои,
За рекой знакомый голос слышится,
И поют всю ночку соловьи.

Ох, ты, песня, песня соловьиная,
До чего-ж ты за сердце берешь,
Ведь к любви ведет дорожка длинная,
Чуть отстал, и вовсе не дойдешь.

А дойдешь, от счастья не надышешься
От хорошей песни, от любви.
Пусть тогда черемуха колышется,
И поют всю ночку соловьи.

Закончив песню, Алеша стал снова подбирать какой то мотив. Колычев помешал хворостиной угли и закурил от нее. Алеша участливо улыбнулся Колычеву:

— Не горюй, Семен. Не век война будет! Вернешься к себе на Урал, будешь внукам о курских боях рассказывать. Непременно тогда скажи, что был у тебя товарищ и песню пред боем пел. И Алеша снова запел внятней и задушевней:

Закрутила вьюга, замело дороги,
И тоски по дому в сердце не унять,
Как там на Урале, на родном пороге
Эти дни когда нибудь мы будем вспоминать.

О боях неслыханных,
О друзьях испытанных
Где нибудь, когда нибудь
Мы будем говорить.

Вспомним пехоту
И родную роту,
И тебя за то, что
Дал мне закурить.

Давай закурим,
Друг мой дорогой.
Давай закурим,
Товарищ боевой.

Скоро дни минуют мрачной непогоды.
За столом с родными встретившись опять,
Вспомним про скитанья, вспомним про невзгоды
Эти дни когда нибудь мы будем вспоминать ...

Танкисты, не сводя остановившихся глаз с тлеющих угольков, молча слушали. Каждый ушел в себя, в свои думы о близких, о родных местах о прежней мирной жизни, ставшей теперь каким то давним сном. Слушал песню и Колычев, думая о своей молодой жене, от которой его оторвала война. Неужели-же, когда нибудь наступит время, когда война закончится и он у себя на Урале будет вспоминать вот этот привал в березовом перелеске под Курском.

Где то запел соловей. Сладко и сильно цокал, щелкал и рассыпался переливчатой трелью. Долго слушали бойцы эту лесную песню, а когда она замолкла, Алеша мечтательно вздохнул.

— Эх, как хороша жизнь. А ведь не понимают этого люди. Ну, для чего им нужна война?

— Попробуй — не повоюй, — хмуро заметил Колычев, — на тебя Гитлер разом хомут оденет.

— Конечно, надо, — с жаром отозвался Алеша, надо воевать за землю, за народ, за мирную жизнь, за родную песню. Видать, не дается все это человеку даром. Кровью своей надо отстаивать. Только, друг, не об нас речь идет, а про тех взбесившихся чертей, кто войну затевает.. Ну, возьми, в пример, хотя бы Наполеона. Понесла его нелегкая на Россию. Заморозил своих гвардейцев, да и нашего народа погибла уйма. А что из его затеи вышло? Ни черта, брат, не вышло. Через сто лет все забыли о Наполеоне, потому что людям-то от него пользы ни на грош. Ну, может быть, какому нибудь французишке-лейтенанту лестно про прошлую французскую гордость вспомнить: жил, мол, Наполеон-покоритель Европы, а мы его славные потомки. И — только. Да ведь это одно бахвальство. Как коснулось на деле гордость свою проявить, получился срам. Столицы своей отстоять не смогли. Как лакеи, распахнули в своем Париже двери: проходите, мол, мусью-фюрер, милости просим.. Ну, и с фюрером с этим тоже самое получится, что с Наполеоном: погубит он свою армию и страну. Это же, как пить дать! Согласен?

— Ясное дело, — солидно подтвердил Колычев.

— А ведь французскому или немецкому солдату,—продолжал Алеша, — тоже ведь жить-то хочется. Убьют его и конец. Все для человека кончается со смертью. И никогда, никогда уже больше он не увидит ни солнца, ни звезд, никогда не будет вот так сидеть у костра, петь и думать о девушке. Потому что человек всего-то живет один раз.

Алеша снова взялся за гармонь и спел про Костю-моряка. А когда закончил песню, бережно завернул гармонь и долго задумчиво смотрел на небо. В нем ярко разноцветными огнями искрились алмазы созвездий. Над головой белела широкая, раздвающаяся дымно-прозрачная полоса млечного пути, покрытая мелкой звездной россыпью. Вот вспыхнула и пала какая-то звезда, чертя зеленоватый след на темном своде. Алеша, глядя на звездную бесконечность, думал о том, что сейчас где нибудь на эти звезды тоже смотрят люди, не думая о войне. Эта мысль казалась столь необычной, что ему захотелось поделиться ею со своими товарищами:

— Вот живут ведь где нибудь люди без войны, без пушек, и танков. Теперь даже как-то не верится.

— Не найдешь ты, человек, такого места на земле,—печально протянул Колычев, — весь мир воюет.

— Почему же не найти? Вот, скажем, в Риа-Жанейре, например.

— Где? — удивленно переспросил Колычев.

— В Риа-Жанейре — город такой в Америке есть.

— Не слыхал такого. Вот про Нью Иорк слыхал, огромный говорят город.

— Да, Нью-Иорк — в северной Америке, а Риа-Жанейра — в Южной, — пояснил Алеша.

— Так, так, — протянул Колычев, ну, и что-же там в этой ...

— Ну, что — войны, ясное дело, нет. Разгуливают люди с тросточками. Желтые ботинки, на голове пробковый котелок. Надоест прогуливаться, сядут за столик в ресторане, лимонад со льдом попивают. Не жизнь, а малина.

— Так говоришь, — прогуливаются и лимонад попивают? Только и всего? — переспросил Колычев.

— Ну, да.

— А кто-же тогда на этих франтов работает?

— Как-кто? — Негры.

— Так, — ухмыльнулся Колычев, — вот тут, брат, собака и зарыта. Без негров они лимонад то, небось, не попивали бы.

— Я, как посмотрю, у тебя, Першин, мелко-буржуазный уклон, — вставил полу-шутя, полу-серьезно радист Лепко. Он числился в роте помощником политрука после того, как был принят кандидатом в партию, и теперь

с пылом неофита ревностно штудировал политграмоту.

— Буржуазные замашки? — удивился Алеша. Да, откуда им взяться? У меня, брат, отец с матерью с голоду в деревни померли. Да и сам то я кроме, как на заводе, да в колхозе нигде не был.

— Ну, и что же, что на заводе и в колхозе? Буржуазный уклон у тебя от классовой несознательности,— ответил Лепко.

— А ты вот, Лепко, если сознательный, то скажи-ка, есть-ли на свете такой человек, который по доброй воле от тросточки и лимонада отрекся-бы? Вместо того, чтобы, скажем, сидеть в кабинете, на мягком кресле, предпочел бы работать в шахтах или на тракторе?

— Ну что-же, кому что ... вполне понятно ... распределение труда ...

— Толкуй мне — распределение, — возразил Алеша,— скажешь у одного ума палата, а другой — круглый дурак. Не так это. Бывают, конечно, люди огромного ума. Да сколько таких то: один, два и обчелся. Единица на миллион. А остальные все приблизительно среднего ума люди. Только один половчее, похитрее, или по случайности судьба у него сложилась иначе. А лимонаду-то хочется каждому.

— Будет каждому лимонад. И труд будет легче. Все, брат, устроится, лет через сто. Важно капитализм сокрушить. Тогда всем людям станет легче жить, а главно, — войн больше не будет из за земли, нефти, золота. Ты, вот, потолкуй с политруком, он тебе все это объяснит, лучше чем я.

Да, чего там политрук, — не унимался Алеша. Откуда он знает, что будет через сто лет? И кто тебе это сказал, что между пролетарскими странами войн не может быть? Ну, первое время может и не будет. А потом? Ты вот подумай-ка. Допустим, что чрез сто лет во всем мире будет диктатура пролетариата. К тому времени людей прибавится везде вдвое. В Советском Союзе может и хватит на всех земли, хлеба, скота, леса, нефти. Ну, а как вот насчет Германии, Франции, Италии или Китай, Индия. У них и сейчас — нехватка всего этого. Тогда и получится, что одна страна — с натуральным капиталом, а другая — нищая, пролетарская. Вместо капиталистического и пролетарского класса, получится вроде как - капиталистические и пролетарские народы. Ясно дело, французы или немцы потребуют себе зерна, угля, леса: с Кубани, с Дона, с Урала, Сибири. Давайте, мол, в порядке пролетарской солидарности. Ну, а кому же охота свое добро за дарма отдавать? Ясное дело, Советский Союз покажет всем пролетарским странам кукиш: на вас, мол, дармоедов, всего не напасешься. Начнут все читать и перечитывать с корки до корки Маркса. Одни толкуют строчку так, другие — иначе. Слово за слово, и

...

пошла свалка. Вот католики, люди одной веры, а сто лет резали друг друга.

— Да, то католики, а то пролетариат, — как-то неуверенно возразил Лепко.

— Хрен редьки не слаще. Те и другие хотят мир в одну веру обратить.

Внимательно слушавшие политический диспут, танкисты сдержанно улыбались. У озадаченного Лепко оставалось теперь одно средство — пристращать своего опонента.

— Подожди, доберется когда нибудь до тебя проорг с этими разговорами!

— Может быть, — огрызнулся Алеша, — только не теперь. Сейчас каждый боец на счету. Ну, а после войны, может быть, и доберется, если меня не убьют до того времени.

Беседа начала принимать опасный оборот. Желая прекратить этот спор, вмешался, все время молчавший Буров.

— Чудаки вы. Чего спорить о том, что будет через сто лет. Ну, ограничат прирост населения, переселят излишки на свободные земли, урегулируют мировое хозяйство. А ты вот, Алеша, до этого о Рио-Жанейро говорил. Знаешь, везде хорошо, где нас нет. И там, поди, у людей своего горя не оберешься. Тяжело сейчас нам, верно. Может быть, и потом будет не легче. А все таки, родина наша. Не может человек жить без нее, сам по себе. Ну, попал бы ты куда нибудь, где нет войны и полный достаток. А разве не стосковался бы ты по своей земле? Мне вот кажется, я бы даже года не выдержал на чужбине.

Несколько минут все сидели, молча. Огонь в костре уже потух. В нем краснела горка тонких угольков, слабо отсвечиваясь на лицах танкистов. Внезапно пол-неба озарилось зеленоавтым сиянием немецких осветительных бомб. Тишину нарушил отдаленный гул моторов. Полыхнули отблески взрывов, а несколько мгновений спустя, до перелеска докатились частые, один за другим раскаты взрывов.

XI. ПРОХОРОВСКОЕ ПОБОИЩЕ.

Было около пяти утра. Над давно непаханными полями всходило июльское солнце. Там, где когда-то наливалась и золотилась рожь, где с веселой и бодрой песней трудился человек, теперь зияли чернотой линии окопов, ходы сообщений, противотанковые рвы, и торчали обтянутые стальной паутиной частоколы проволочных заграждений. В ту ночь в окопах и на батареях никто не спал. С вечера по всему фронту был разослан приказ о бдительном наблюдении за противником. В любую минуту можно было ожидать немецкого наступления. И,

словно предчувствуя надвигающуюся бурю, вся природа оцепенела в какой-то зловещей тишине.

Стоявший в окопе в стальной защитной каске часовой долго внимательно смотрел в бинокль. Потом, опустив его, оглядел пространство перед окопом. В кустарнике озабоченно шаборшили пичуги. Бурундук вылез из норки, поворочал мордочкой и снова юркнул назад. Коричневая бабочка, едва заметно вздрагивая сложенными крыльями, минуту посидела на бревенчатом накате блиндажа, а потом, вспорхнув, полетела к кустам бурьяна, из которого робко пробивались тонкие, чахлые стебли васильков. Эти скудные, жалкие остатки жизни пока еще пощадила война. Но надолго ли? С чувством жалости и грусти смотрел на них солдат, а потом снова стал наблюдать в бинокль за противником. Зоркие глаза часового не замечали ничего, но зато ухо уловило слабый отдаленный гул.

Гул усиливался. В ясном голубом небе на западе, со стороны Орла, появилось рябоватое облачко. Оно росло и быстро приближалось к позициям. Теперь можно было увидеть и пересчитать массу отдельных точек большой немецкой эскадрильи. Впереди по обоим сторонам летели черные истребители с хищно вытянутыми клювами и белыми крестами на крыльях. Истребители сбросили дымовые шашки. Черные, вертикальные полосы повисли в воздухе и, словно огромными пальцами, указывали на фланги боевого расположения русских.

Через минуту в воздух полетели высокие фонтаны земли. Все пространство заполнилось оглушительнымъ гулом взрывов, от которых сотрясалась земля.. С ноющим воем эскадрильи пронеслись над окопами. Опять слитный рокот взрывов на этот раз позади, на позициях тяжелой артиллерии и резервов.

Эскадрилья, описывая широкий круг, готовилась ко второй атаке. В это время с востока, ей на перерез, неслись стайками по три советские истребители. Они взмыли вверх, а потом с жалобным воем кинулись на немецких бомбардировщиков, поливая их серебристым серпантином огня. В сбившихся и перемешавшихся стаях, временами ярко вспыхивало пламя, и подбитый самолет, оставляя черный дымный след, кувыркаясь в воздухе, стремительно падал вниз...

Воздушную атаку сменил шквальный огонь артиллерии. Густой лес земляных смерчей быстро наползал на передовые позиции. Пехотные и артиллерийские подразделения лежали в блиндажах и землянках, укрывшись от смертоносного огня. Пол-часа продолжался ураганный обстрел, и, когда он стал стихать, в трех километрах от позиций, едва различимый сквозь пелену дыма и пыли, запестрел стальной вал. Все новые и новые танки выходили из дымной мглы, за которыми бежали

цепи пехоты. Танки все ближе и ближе. Ясно вырисовываются их боевые порядки — углом вперед. Уже можно различить знакомые очертания: командирские башни, тупорылые носы, тонкие щупальцы пушек, изрыгающие блестящие узкие снопы огня.
900 метров . . . 800 . . .

Вот здесь, сейчас, проносится в голове командующего боевым участком, седого коренастого полковника, наблюдающего в бинокль за наступающими немецкими танками. И точно, — один за другим раздаются оглушительные взрывы. Головные танки скрылись в дыму и взметах земли. Они наскочили на минное поле и теперь горели, окутанные жирным дымом. Танковый строй перемешался. Увеличив скорость, танки несутся вперед и ведут частую бесприцельную стрельбу.
700 метров . . . 600 . . .

Командиры антитанковых батарей повторяют движением руки команду огонь! Грохочут залпы пушек. Еще подбито несколько танков. Они сползают на бок, беспомощно ворочают одной стороной, загораются. У переднего сорвало башню, и из ее горловины сверкнул яркий столб пламени. В одном месте танкам удалось переползти через окопы. Туда, вслед за ними, устремились пехотные цепи. По линии окопов прокатился слитный треск пулеметного и ружейного огня. Огонь с каждым мгновением наростал, временами заглушаемый взрывами минометов и ручных гранат. Первые цепи уже скошены. Пространство пред окопами покрылось телами в серо - зеленых мундирах. Над ними выростают новые цепи, стреляя на бегу из автоматов. Одиночные фигуры немецких солдат добегают до окопов, спрыгивают в них. В траншеях и ходах сообщений завязалась рукопашная схватка. Пущены в ход ручные гранаты, штыки и приклады. Туда втягиваются новые танки и густые цепи пехоты, стараясь расширить местный прорыв в советских позициях ...

Так трое суток шли упорные бои за обладание узкой полоской Курской земли, между деревней Гнилец и станцией Поныри. К исходу третьего дня немцам удалось продвинуться с севера вглубь курского выступа на шесть километров и занять северную окраину станции Поныри, из которой они были выбиты на рассвете следующего дня.

Ночью командующий 9-ой армией генерал Модель шифрованной телеграммой сообщил в ставку главнокомандующего Зейцлера о своих потерях: 42 тысячи солдат и 800 танков. Все резервы были уже исчерпаны. Для германского командования было очевидно, что дальше продвигаться к Курску с севера 9-ая армия не в состоянии. Теперь успех курской операции всецело зависел от действий южной, 4-ой армии Гота.

Наступление с юга 4-ой армии Гота началось 4-го июля. Мощные эскадрильи немецких бомбардировщиков Хенкель и Фоккэ Вульф непрерывно бомбили передовую линию укреплений, расположенных у деревень Сырцев, Луганино, Алексеевка и Завидовка. Потом ураганный артиллерийский огонь расчищал путь танкам и пехоте. Панцырные колонны несколько раз ходили в атаку, несли тяжелый урон, откатывались и затем снова бросались вперед в дымный смрад, где догорали исковерканные танки и застилали землю сотни солдат гренадерской дивизии «Великая Германия».

Удар с юга казался более успешным. Правда, этот успех был достигнут тяжелым уроном, но все же в пятидневных упорных боях панцырные колонны в нескольких местах прорвали советский фронт и продвинулись на 35 километров. Позади наступавших танковых колонн оставались части советской пехоты и артилерии, ведя упорные бои. И, казалось, чем было более безнадежно положение окруженных, чем меньше оставалось уцелевших бойцов, тем сильнее росло их сопротивление.

В одном из таких окружений оказался пехотный батальон того самого полка, которым командовал полковник Михаил Буров, брат Дмитрия. Батальон, занимавший гребень высоты «243», в течении нескольких часов отбивался от яростно наседавшего противника. Танковые клещи немцев, охватив высоту с востока и запада, отрезали батальон от резервов и продолжали вести убийственный огонь по высоте со всех сторон. Дважды высоту бомбила вражеская авиация. Батальон быстро таял, и час спустя в нем осталась одна неполная рота, которой командовал уцелевший сержант.

Наблюдавший издали за боем полковник Буров, с минуты на минуту ждал подхода танков при поддержке которых только и было возможно прорвать окружение и выручить остатки баталиона. Наблюдая в бинокль, за высотой, он уже не мог различить окопов: склоны высоты были скрыты непроницаемой пеленой дыма. Только по слабеющему ответному огню можно было судить, что высота еще держится. С высоты вызвали командира полка. Буров подошел к полковой рации, и надел наушники. И не смогло бы ни людское воображение, ни перо, ни кисть, ни торжественно-печальные аккорды реквиема представить и выразить всю трагичность положения и все величие духа русского солдата, говорившего в ту минуту со своим командиром. Прерываемый треском и шумом радио-передачи голос докладывал:

— Товарищ полковник ... заместитель командира роты сержант Полынев.

— Слушаю, — отозвался Буров.

— Удержать высоту трудно, шлите подкрепление.

— Продержитесь еще пол часа. Пробиться к вам без танков невозможно.

— Товарищ полковник, — настаивал голос, — шлите сейчас, немедленно.

Буров, едва не вспылил но сдержался, и резко ответил: — Приказываю удерживать ротой высоту до прибытия резервов!

В наушники было слышно, как человек с трудом переводил дыхание.

— Товарищ полк ... от роты осталось двое, я и радист.. оба ранены ... диски на исходе...

Передача прервалась. Буров снял наушники. Крепко стиснул челюсти. Он еще раз посмотрел на высоту. На вершине ее в дымном смраде грохнули гранатные взрывы. Высота 243 смолкла.

**
*

Уже неделю шли беспрерывные бои, и, чем дальше продвигались немцы на север, тем больше росло и усиливалось сопротивление. Особенно тяжело пришлось немецким дивизиям на левом фланге, наступавшим вдоль шоссе Раково-Круглик. Их наступательный порыв ослабел, выдохся, и, подойдя к деревне Березовка, они уже не могли продвигаться вперед.

На правом фланге положение было лучше. Гренадерская дивизия «Великая Германия», хотя и несла тяжелые потери, но все еще продолжала наступать на север в направлении Ольховатки. Впереди, ее путь пересекался сильными советскими позициями перед деревней Новоселовка.

В сумерках «Великая Германия», встретив слабое сопротивление, заняла поселок Гремучий и по ошибке сообщила в штаб южной армии, что ею занята Новоселовка. Дивизии были даны новые инструкции: прекратить дальнейшее продвижение на Ольховатку, повернуть на запад и идти на выручку к обескровленным дивизиям левого фланга. На рассвете гренадерская дивизия вышла из Гремучего в западном направлении к деревне Березовка. Уже на походе штаб армии потребовал подтверждения о том, что Новоселовка взята. Командир дивизии сверился по картам, и тогда вскрылась ошибка. От Гремучего до Новоселовки больше 15-ти километров, и «Великая Германия» даже не вошла в соприкосновение с главными силами противника, оборонявшего позиции перед Новоселовкой. Начальник штаба чесал затылок, разводил руками и повторял, что на войне все может случиться, особенно в России ....

Благодаря перегруппировке немецких войск, главные силы южной армии Гота сосредоточились на сравнительно небольшом участке фронта. 12 Июля у деревни Прохоровка произошла величайшая битва танков — «про-

хоровское побоище», завершившее курский разгром немцев.

**
*

Дивизия, в которой находился со своим танком Буров, с самого начала курских боев стояла в резерве, в лесу северо-западней деревни Березовка. Томительно тянулись дни в ожидании боев. Все экипажи знали, что скоро должно произойти большое сражение. Ведь не спроста, целая танковая дивизия, тщательно замаскированная, притаилась в лесу. Экипажи готовились к боям: смазывали пушки и пулеметы, осматривали ходовые части, проверяли механизмы и моторы. Алеша целые дни хлопотал у танка. И, хотя все было в образцовом порядке, он вновь обходил танк, лазил под него, забирался внутрь, включал свет, смотрел на приборы, пробовал рычаги. Потом вылезал из танка что то бормотал себе под нос. Видимо, что-то мучило его. Трудно было сказать, что с ним происходило. Буров и Колычев, зная веселый нрав своего водителя, удивленно посматривали на Першина и пожимали плечами. Иногда прихватив трофейный бинокль, Алеша забирался на вершину высокого дерева для наблюдений. Он уже хорошо ознакомился с местностью. В километре от опушки с юга на север тянулось шоссе, а за ним километрах в трех, раскинулась Березовка. Она скрыта густой пеленой дыма ... В небе не смолкаетъ гул моторов. Стаи самолетов своих и вражеских парят в воздухе, вступают в бой. Вот опять эскадрилья немецких бомбардировщиков, описав над лесом полукруг, полетела к Березовке. Над деревней, в грохоте взрывов высоко в небо поднялись узкие, как свеча, блестящие языки пламени. Цистерны подбили — пронеслось в голове у Алеши. Но через минуту он уже забыл о злополучных цистернах. Теперь его внимание привлекли немецкие танки, которые в клубах пыли двигались по направлению к шоссе, за которым стояла замаскированная антитанковая батарея. Батарея молчала, видимо, командир ее хотел подпустить танки на близкую дистанцию, чтоб бить по ним прямой наводкой. Танки вышли на шоссе и стали разворачиваться на юг. Грохнул залп. Два танка задымили. Третий, с подбитой гусеницей, завертелся на месте, как перевернутый на спинку большой жук. Остальные танки стали отходить назад, отвечая батарее беспорядочным огнем. Еще несколько залпов антитанковых пушек. Вспыхнул четвертый танк ... Алеша слез с дерева и пошел назад к своему танку поделиться новостью с Колычевым.

— Ну, Семен, здорово пушкари орудуют: 3-х немцев подожгли, а четвертого затормозили. Не то, что мы!

— А чего мы? — удивился Колычев.

Алеша отошел от приятеля. Оживление его уже прошло. Опять он ходил, как в воду опущенный, вокруг тан-

ка и что то ворчал. Колычев, наконец, не выдержал.

— Ты чего это, Алеша, все бубнишь себе под нос? Чего губы надул?

— А того ... огрызнулся Першин: всю душу вымотало. Ну, что стоим спрашивается? Там вот воюют, а мы в лес забрались. Ждем, что-ли, когда на танках грибы вырастут?

— А, ты вот о чем!... — ухмыльнулся Семен, — дойдет черед и до нас. Поспешишь — немцев насмешишь, а воевать-то надо так, чтоб фриц рыдал ... В штабе-то начальство, поди, лучше нашего знает, когда надо зачинать ...

Наконец, долгожданный день наступил. С вечера экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в баталионы. Возвратившись оттуда, они разъяснили боевую задачу. Утром дивизия должна была выйти из леса и начать бой.

**
*

Со всех сторон из леса взвились красные ракеты. Эхом прокатилась повторная команда: к машинам! Подминая под собой мелкий кустарник, ломая ветки, танки двинулись к опушке. Передние машины уже катились стройными рядами по широкому полю, пуская за собой голубые дымки, а из леса выходили все новые и новые ряды. Буров, высунувшись из башни, огляделся вокруг. На всем пространстве, куда ни глянешь, везде танки. Над башнями головных машин развеваются полковые знамена, а впереди них колыхает дивизионный значек: сам командир дивизии лично повел свои полки в бой.

Немцы заметили. Вдали, навстречу танкам, уже летела эскадрилья юнкерсов. Стараясь ее перехватить, с севера наперерез юнкерсам неслась стая советских истребителей. Буров нырнул в танк и захлопнул люк. Успеют-ли? — пронеслось у него в голове. Он уже не видел, как бомбовозы шли почти отвесно в пике. Внутри танка был слышен близкий, надрывной вой моторов, и казалось, что бомбовозы снизились почти к самой башне. Раздался ряд оглушительных взрывов. Танк швырнуло в сторону. На момент запнулся мотор. Потом он снова взревел и рванул вперед, словно преодолевая невидимое препятствие.

— Легче, легче, Алеша, — услышал Першин в переговорном устройстве голос Бурова, — протаранишь кого нибудь.

Предупреждение было сделано во время. Все затянуло черной завесой, и танки, сбавив ход, шли на ощупь.

Между тем, подоспевшие истребители кинулись в самую гущу немецких бомбардировщиков. С высоты они камнем падали вниз на «юнкерсов» и клевали их огненными трассами. Несколько бомбовозов вспыхнуло, и,

чертя дымный след, они с грохотом врезались в землю. Взрывы прекратились. Расстроенная немецкая эскадрилья уходила к югу. Непроницаемая завеса над землей стала рассеиваться. Теперь уже можно было различить впереди идущие машины. Прошли мимо танка, развороченного прямым попаданием бомбы. Изуродованный, почерневший, окутанный клубами дыма, он своими ленивцами глубоко ушел в землю. Из огромной бреши, где была башня, вырывалось наружу ослепительно яркое пламя, и с воем разлетались осколки рвущихся внутри снарядов.

Пространство впереди расчистилось от мглы. В километрах четырех видны колонны немецких танков. Они, как огромные серые гусеницы, расползались во все стороны по темно-зеленому разливу полей, перестраивались в боевые порядки, и потом шли навстречу широким развернутым фронтом, точно фигуры на огромной шахматной доске.

Расстояние быстро сокращалось. Из башен вспыхнули блестящие язычки выстрелов.

Головные танки, идущие впереди Бурова, отвечают на немецкий огонь. Через перископ кажется, что разрывы снарядов вспыхивают у самых бортов немецких танков. И видно, как над одними машинами взвиваются дымки разрывов, а над другими выростают и тянутся в небо столбы густого дыма.

Четкий боевой порядок уже нарушился. Ревя моторами, сверкая выстрелами, обгоняя друг друга танки дорвались до врага и каждому из них хочется сразиться с ним. Экипажи посылают снаряд за снарядом, бьют прямой наводкой, почти в упор. Буровская машина тоже стонет от натуги, подпрыгивая на неровностях и, словно, хочет оторваться от земли. Поле зрения съузилось. Теперь в перископ видны только отдельные танки свои и вражеские. Промелькнул мимо подбитый немецкий танк. Он весь охвачен пламенем. Вокруг него горит на земле кустарник и прошлогодний сухой бурьян. С обогнавшего Бурова соседнего танка сбило тяжелым снарядом башню. Машина вздрогнула и остановилась. Из горловины вырвались космы дыма. В танке раздался взрыв и блеснул сноп светло-желтого, яркого пламени. Другой танк, шедший впереди слева, внезапно круто перерезал путь буровскому танку, волоча за собой распущенную гусеницу правого борта. Буров обошел стороной подбитый танк и заслонил его собою. Сквозь пелену дыма и пыли вырисовываются контуры вражеской машины. Секунду спустя, уже видны очертания смотрового люка водителя. Люк немца в перекрестии прицела. Буров нажал педаль. Немецкий танк вздрогнул. Из его середины брызнул сноп искр. В прицеле надвигается другой танк. Его башня, повернувшись, уперлась в Бурова своей пуш-

кой. Доля секунды решит судьбу одного из танков: кто скорее выстрелит. Враг опередил, и снаряд с режущим воем скользнул сбоку по стенке башни. От сильного удара заныл стальной корпус. Буров, едва удержавшись на ногах, нажал педаль спуска. Раздался гром выстрела. В поле зрения телескопического прицела вместо башни заклубился дым.

Уже поднявшееся к зениту солнце, едва пробивалось тусклым пятном сквозь расплывшийся по небу дым, а бой все еще продолжался. С каждым моментом он нарастал и уже достиг своего апогея. Но ни укого из танкистов машины 217-ой не было ни чувства усталости, ни жажды, ни ощущения времени. Казалось, с первым выстрелом для них остановилось не только время, но и сама мысль застыла на одном чувстве огромном и волнующем. Какая то жестокая и буйная воля, наконец, вырвалась из души каждого из них и теперь вошла в рычаги управления, в мотор, слилась с грозным ревом орудия и наводила прицел, выискивая себе новую жертву с белым крестовым тавром. Вокруг танка клубился дым, его осыпало осколками, кусками исковерканной стали, комьями земли. Кругом бушевало море огня: горели подбитые танки, копны прошлогоднего неубранного сена, трава и кустарник.

В танке пышет жаром, как из открытой печки. Широкой ладонью вытирает с лица струящийся градом пот Колычев и снова спокойно и уверенно закладывает в пушку снаряд. Алеша прильнул к триплексу. Мокрый комбинезон пристал к спине. Лицо у него почернело от сажи и пыли, и только белки, как у негра, выделяются на почерневшей и лоснящейся от пота коже. Першин искусно маневрирует, проводя машину чрез узкие проходы, чтоб не протаранить соседа и не врезаться в горящие и подбитые танки. У Бурова на висках вздулись голубые жилки, а сам он, с каким то неуязвимым сосредоточенным спокойствием, наводит оптический прицел и нажимает ногой спусковую педаль своей пушки.

Огонь немецких танков слабел, и, видимо, они уходили с поля битвы, ведя беспорядочную редкую стрельбу. Танковая лава опрокинула и размела главные панцырные силы немцев, и теперь с моторным ревом на предельных скоростях неслась вперед.

Баталион, в котором шла буровская машина, атаковал окраину деревни, преследуя беспорядочно отступающие немецкие танки. Ломая заборы и плетни, вошли на улицу, загроможденную длинной вереницей грузовиков, самоходных орудий, брошенных мотоциклетов. Танки, прижимаясь к избам медленно шли узкими проходами по краям улиц, едва перематывая гусеницы, расшвыривая в стороны доски, бревна и брошенную воин-

скую кладь. До времени замолчало грозное жерло пушки. Зато надрывается трескучим лаем пулемет, из которого радист Лепко косит убегающих немецких солдат в серо-зеленых мундирах. Внезапно над буровским танком просвистало два снаряда. За избами промелькнуло крестовое клеймо бронеавтомобиля. Колычев быстро заложил в казенник бронебойный снаряд, а Буров навел прицел на первый по ходу просвет между избами и стал ждать. Серая машина показалась в просвете. Бухнула пушка, и броневик с отваленным боком задымил. Пройдя улицу, буровский танк вышел на площадь. Вся она была усеяна, словно хлопьями снега, листами штабных бумаг. На краю площади беспомощно стоял, сползший в канаву, блиставший эмалью пассажирский мерседес. Буров крикнул Алеше подвести танк к машине, а сам, открыв люк, высунулся из него, давая немцам знак рукою подойти к танку. Дверца мерседеса распахнулась, и немецкий офицер пустил по танку очередь из автомата. Рой пуль просвистел над головой Бурова. В этот же момент Лепко ответил пулеметной очередью. Стрелявший офицер грохнулся на землю. А в пассажирской кабине, завалившись на бок, лежал изрешеченный пулями грузный немец с витыми погонами командира танкового полка.

**
*

До поздней ночи продолжалось преследование остатков 4-ой немецкой армии, отступавшей на юг. Уже сгущался вечерний сумрак. В темном небе колыхало багрово - красное зарево пожаров, озаряя кровавым отсветом длинные вереницы немецких танков, самоходок, пехоты и обозов. Колонна, отсвечивая стальным блеском, извиваясь по дороге, ползла, как огромная змея, назад, к себе в логово. А за ней, наседая на хвост, бряцая броней, и волоча по земле тяжелые палицы шли советские танки. Отбрасывая от себя длинные тени на придорожную полосу полей своими башнями-шишаками танки были похожи на закованных в кольчуги богатырей, тех кто ходили в стародавние, седые века по этой самой земле. Ходили чтоб повстречать страшного сказочного змея, вступить с ним в единоборство и одолев его, добить ударами своих тяжелых палиц.

XII. БЕГЛЕЦЫ.

Уже далеко позади остались Ока и Десна, Сожь и Днепр, Висла и Одер, а буровский танк, устремляя свой бег на запад, все шел и шел вперед. Когда же его стальные лапы почуяли под собой немецкую землю, сильнее заревел новый мотор, и неугомонно заливалась огненным лаем новая пушка. Старый мотор преждевремен-

но надорвал в боях свое стальное сердце, а пушку разгрыз пополам немецкий снаряд. Оба они пошли на переплавку в мартен. Сменившие их новички, вырвавшись из сумрака заводских складов и почуяв вдруг свободу, в буйном разгуле пробивали себе путь к Берлину. И в экипаже машины 217-ой тоже произошли перемены: Буров командовал танковой ротой, заместив погибшего в бою прежнего командира, Колычев и Алеша одели погоны с нашивками сержантов, а на смену Лепко, ставшему батальонным политруком, пришел новый радист — тихий, молчаливый юноша студент второкурсник.

Вдвое больше стало почетных царапин и отметок на боках танка. Особенно тяжело пришлось ему, когда он взбирался по крутым склонам Зееловских высот, составлявших внешнюю оборону немецкой столицы. Несколько дней спустя, во время уличных боев в центре Берлина, орудийную башню скользом лизнула немецкая балванка, оставив на ней глубокий шрам. Возьми немецкий наводчик прицел чуть-чуть левей да пониже, долгий и трудный поход четырех танкистов закончился бы на улице Унтер-ден-Линден, около огромного, серого с гранитными колоннами дома, за два часа до капитуляции. Это был едва ли ни самый серьезный случай с машиной 217-ой за всю войну. От сильного удара заклинило башню. Буров, потеряв равновесие, упал на руки подхватившего его силача Колычева. Оглушенный Першин неуверенно повел машину. На нее вторично наводила свой ствол немецкая пушка, но, к счастью, в тот момент ее сбил удачным выстрелом, шедший позади Бурова, соседний танк. Машина 217-ая продолжала двигаться вдоль Унтер-ден-Линден и прошла под сводами Бранденбургских Ворот. Впереди темнел Тиргартен. Безжизненные деревья, обгоревшие и посеченные артиллерийским огнем, простирали свои исковерканные, срезанные вершины в предрассветное небо, словно молили его о пощаде. Вправо в двухстах метрах над парком свисал тяжелый силуэт рейхстага, окутанный клубами черного дыма. Там уже огонь стих. В танке затрещала рацея. Из штаба армии передавали приказ:

— Гарнизон Берлина сдался. Прекратить стрельбу.

Пушка буровского танка гордо задрала вверх свой ствол. Отовсюду, из полуразрушенных домов, выходили толпы немецких солдат. Они складывали вдоль тротуаров оружие и строились длинными шеренгами, ожидая своих конвоиров. Над Берлином рдела заря раннего утра второго мая ...

**
*

Танковый полк оставили в Берлине и перевели на мирное положение. Иногда машина 217-ая попав в наряд, медленно ползла среди развалин вдоль границы со-

ветской зоны, за которой стояли американские часовые. У Алеши постепенно сглаживались впечатления недавних боев. Теперь, с любопытством разглядывая в смотровой прорез щеголеватые фигурки в белых шлемах, думал про себя, что там, за узкой полоской ничьей улицы, начинается новый мир, иная жизнь, бьющая по воображению своим привольем, достатком и свободой. Красочные картинки засаленной книжки, которую Алеша бережет на дне своего чемоданчика, словно претворялись теперь в живую явь, манящую своей неизвестностью. Иногда танк останавливался у приграничной черты. Алеша вылезал из машины, подходил к часовым и начинал с ними объясняться голосом, жестами, мимикой. Издали было видно, как Алеша брал сигаретку из протянутой ему пачки, лез в свой комбинезон, доставал из кармана коробку папирос и угощал ими американцев.

Откуда-то он раздобыл небольшую книжонку, медленно по складам читал английския фразы, а потом, когда копошился у своего танка, твердил вслух заученные слова. Как-то раз Колычев удивленно посмотрел на Алешу.

— Ты чего все бормочешь, Алешка? С умным человеком беседуешь, что-ли?

— Английский язык учу. Легкий язык, куда легче немецкого.

— Да, ну? А как, например, сказать: я — сержант танковой роты, Першин?

— Ай ем танк компани сержант Першин.

— Гм! компания значит рота по ихнему?

— Ну, и голова же ты Семен. Тебя бы надо пелпредом в Лондон. Колычев усмехнулся. — Какой там Лондон, скорей бы домой, на Урал. Потом уже серьезно сказал своему другу:

— А ты, Алеша, молодец. Набирайся знаний. Кто знает, может пригодится когда-нибудь. По какой-то случайности, Колычев, сам того не ведая, произнес вещие слова, которым было суждено сбыться в недалеком будущем.

**
*

Отбыв дневной наряд, Буров зашел навестить знакомого офицера и позднее обычного вернулся домой. На пороге торчал уголок засунутого под дверь письма. Буров вошел в комнату, поднял письмо и минуту держал в руках, с улыбкой разглядывая, так хорошо ему знакомый почерк. Среди сотни других писем он мог бы безошибочно отличить руку своей невестки. Всякий раз глядя на тщательно выведенные каракули, он не мог удержаться от невольной улыбки, и мысли, что не всегда можно судить по почерку о человеке. Вот, невестка, например, женщина культурная, с хорошим вкусом, и ее золотые руки способны, кажется, выполнить самую тон-

чайшую работу, а почерк — словно наследили куриные лапки. Буров присел на кушетку, распечатал письмо и принялся за чтение.

— Дорогой Митя, — писала невестка, — должна поделиться с тобой нашим общим горем. От Миши, вот уже больше двух месяцев, как нет вестей. Все мои старания и хлопоты узнать о нем, ни к чему не привели. Мне известно, что в полку он уже больше не числится. Не было его и в списках убитых и раненых. Очень беспокоюсь, так как осенью, еще не оправившись от ранения, Миша буквально сбежал из госпиталя на фронт. Теперь ко всему этому, может быть, еще прибавились тяжелые душевные переживания, которые даже и здоровые люди часто не выдерживают. Может ты бы мог, со своей стороны, узнать о его судьбе, и немедленно мне сообщить. Жду с нетерпением ответа. Дети здоровы. Е. Бурова.

Дмитрий опустил письмо. Дрожащей рукой растегнул ворот рубахи и снова, напряженно морща лоб, перечитывал эти две строчки:

.... в полку он уже больше не числится. Не было его и в списках убитых и раненых ...

Вскочив с кушетки, нервно ходил из угла в угол по маленькой комнате, натыкаясь на стул, стоявший у стола.

— Не может быть ... Не может быть ... Громко повторял сам себе Буров одну и ту же фразу. — Как это случилось? Как это могло случиться? Миша, брат, боевой офицер, трижды раненый и теперь вдруг ...

До Бурова и прежде доходили ползучие слухи о массовых арестах в армии, начавшихся сразу же после войны. Маленькое подозрение, донос, лишнее неосторожно сказанное слово вырывали из рядов армии лучших по существу лояльных стране офицеров и солдат. Но все эти слухи об арестах, о жестокой и несправедливой расправе, хотя и вызывали в душе чувство тревоги, обиды и сочувствия к далеким и беззвестным жертвам, но быстро забывались, не оставляя в памяти глубокого следа.

А, вот, теперь несчастье стряслось с братом, с самым близким на свете человеком. Буров опять сел на кушетку, закрыл ладонью лицо и стал припоминать последнюю встречу с Мишей два года назад у Курска.

Бедный, бедный Миша. Война пощадила тебе жизнь, а теперь ты потерял нечто большее — ту надежду, которую вынашивал в годы боевых скитаний. Эту потерю гораздо тяжелее вынести, чем даже самую мысль о личной гибели.

Всю ночь Димитрий не смыкал глаз. Не раздеваясь, лежал на кушетке и безостановочно курил. От груды окурков в тесной, низкой комнатушке стоял сизый туман. Много в ту ночь передумал Буров о брате, о себе. Память уныло бродила по годам ученья, трудовых будней и кровавых лет войны, отзываясь в душе внутренней

болью. И та нелепость, которая наполняла его сознание, которой он дышал, которая окутывала его теперь, стояла большим и грозным знаком вопроса, мучившим и не дававшим должного, справедливого ответа.

Утром Дмитрий вымылся, привел себя в порядок и пошел к командиру полка, полковнику Мельникову. По пути обдумывал, что он скажет. А какой то внутренний подсознательный голос настойчиво твердил, что этот предстоящий визит к командиру ни к чему не приведет, и Буров шел просто для очистки совести.

**
*

Перед Буровым за столом сидел широкоплечий, коренастый, седой полковник в защитной гимнастерке с длинной пестрой полоской боевых наград поперек груди. Когда-то в первую мировую войну Мельников был солдатом саперного батальона. Во время гражданской войны связал себя тесными узами боевой дружбы с Чапаевым и поступил в партию. Но этот старый большевик не сделал карьеры и замерз в чине полковника, командира танковым полком. По натуре Мельников был грубоватым, прямым и очень самостоятельным. Политические комиссары его ненавидели, но ничего не могли с ним поделать. Солдаты и офицеры его побаивались, но в то же время чувствовали в нем глубокую отеческую заботу и суровую, скрытую сердечность.

Увидев вошедшего Бурова, Мельников слегка улыбнулся.

— Здравствуй, лейтенант. Что скажешь? — Мельников ко всем обращался на ты.

Дмитрий изложил своему командиру все то немногое, что знал о брате из письма невестки. Мельников внимательно слушал молодого офицера, рассматривая растопыренные над столом большие, толстые пальцы.

— Да... а! дело видно серьезное. И ничего тут не поделаешь. Не в нашей власти. Я только тебе должен сказать: повредить это может и тебе. У меня и запрос от следователя о тебе был. Ну, аттестовал тебя с лучшей стороны, а вот поможет ли, сказать затрудняюсь. Да тебя и самого, наверное, скоро вызовут по этому делу. Смотри, как бы не вышло какой беды. Тут уж вроде, как коллективная ответственность родственников. Сам то ты офицер безупречный. А начнут копаться, ну, и зачислят в неблагонадежные. Отец у вас царским офицером был, а? — спросил Мельников у Бурова.

— Офицером, — ответил Дмитрий, — убили в первую войну.

— А ты думаешь им не все равно? — усмехнулся полковник. — Для них та война не в счет — империалистическая. Выходит, что в России-то настоящих войн до 18-го рода ровно, как и не было. И Полтава, и Бородино,

и Севастополь, все это войны, вроде, как, феодальные. Н-д-а-а!...

Мельников сидел минуту в раздумьи. — Ты вот что лейтенант, будешь отвечать следователю, десять раз обдумай, а потом скажи. До греха там не-долго. Сорвется лишнее слово, обида или жалость к брату распалят, а это ему только на руку. Спровоцирует, вызовет на резкий ответ и крышка. Будешь тогда вместе с братом в сибирской тайге лес рубить. А ведь жаль тебя. Каждого из вас мне жаль. Но что же я могу сделать? Власти на это моей нет.. Ну, иди, Буров, может быть, как нибудь все обойдется ...

**
*

Из невидимых нитей плелась паутина. Кто то очень сильный занес свою тяжелую руку над окружавшими Бурова людьми. Дмитрий это чувствовал, только не знал, когда этот бьющий без промаха и жалости удар обрушится на него. Вслед за письмом от невестки пришла еще другая зловещая весть. Взволнованный Алеша рассказывал Бурову о допросах, которым подверглись танкисты машины 217-ой. Все давнишние факты, о которых уже никто не помнил, все слова и выражения когда-то сказанные и давным давно забытые, упоминались при этих допросах и поражали своей протокольной точностью и подробностями. Очевидно, кто-то очень тщательно все это собрал, сохранил и донес.

— Лепко — это. Один только он и мог об этом знать. Больше-то ведь некому, — строил свои догадки Першин и рассказав все, что знал, стоял пред Буровым растерянный и сумрачный, точно ждал от своего лейтенанта ободряющего слова. Но Буров молчал. Нервно хрустнул суставами пальцев. Удрученно покачивал головой, словно вспоминая о чем-то очень тягостном и гнетущем.

— Кончилась, значит, наша служба. Отвоевались .... Снова безнадежно вздохнув, сказал Алеша и, потом, снизив голос, почти до шопота, пристально смотря на Бурова, неуверенно, словно пугаясь собственных мыслей, проговорил:

— Товарищ лейтенант, Дмитрий Александрович, а если все это к чертовой бабушке похерить!

— Ты о чем это, Першин, — спросил Буров.

— А о том. Бежать надо нам.

Дмитрий с удивлением уставился на своего водителя.

— Как бежать? Куда?

— Бежать к ним ... К американцам ... В западную зону...

— Да, ты что? С ума сошел, что-ли?

Першин пожал плечами: одно только и остается. Не сдобровать нам. Будем в тюрьме вшей кормить. Другого выхода нет.

**
*

На другое утро Буров держал казенный бланк с лаконичным предписанием немедленно явиться к следователю для дачи показания. Дважды внимательно перечитал бумагу, потом поправил плечевой ремень под погоном, одел фуражку и вышел.

Пока шел, обдумывал возможные вопросы следователя, и что на них отвечать. Он незаметно для себя прошел длинные кварталы и уже подходил к тому месту, где зловеще хмурился широким фасадом большой, серый дом. Там судили быстро и глухо, выносили беспощадные приговоры и, не теряя лишней минуты, вывозили осужденных, чтоб дать место новым узникам. И днем, и ночью их вводили в черный зев, широко открытых дверей, туда, где за мрачными стенами были скрыты тысячи раздавленных жизней. Одни, не утратившие еще надежды, входили смущенно и робко и, когда встречали чужие, враждебные взгляды, улыбались подобострастно, заискивающе, и, казалось, хотели этими улыбками убедить окружающих в своей невиновности. Другие мрачные и сосредоточенные шли с гордо поднятой головой. Они старались казаться спокойными, чтобы этим спокойствием выразить презрение своим тюремщикам и палачам.

Буров вошел в здание, доложил о себе дежурному офицеру. Следуя за ним, поднялся на второй этаж, прошел в самый конец длинного корридора. Дежурный офицер слегка приоткрыл дверь, мельком взглянул внутрь, а потом, широко распахнув ее, дал знак Бурову войти. В глубине комнаты, за большим письменным столом, сидел человек, лет сорока, с черными восточными на выкате глазами. Одет он был в щеголеватый, хорошо пригнанный, китель. От него пахло крепким мужским одеколоном. От постоянного сидения в кабинете или на мягких подушках лимузина, от обильной еды и комфорта гладко выбритое лицо следователя округлилось и заплыло желтым жиром. Несмотря на военную форму, по своему облику он скорее напоминал биржевика или коммивояжера, чем сурового инквизитора революции и ответственного руководителя военно-политического управления. Тысячи людей с такой внешностью сидят в деловых кварталах Нью Йорка или Лондона, старательно выводят цифры в толстых бухгалтерских книгах. Другие тысячи снуют в крупных торговых центрах обоих материков, покупают и продают крупнейшие в мире изумруды, тракторы, свиные туши, косметику, пшеницу, динамит или сапожные щетки. Но человеку с наружностью коммивояжера было суждено родиться в России стать ровесником революции пятого года жениться на племяннице одного из влиятельных членов политбюро. Все это предрешило его дальнейшую судьбу и

дало ему огромную власть над сотнями тысяч людей. В центре следователя считали энергичным, подающим большие надежды, партийцем. И, чем выше были похвалы, тем больше усердия проявлял по службе следователь.

Уже много ушло на восток арестантских вагонов и наглухо замкнутых теплушек, набитых бывшими власовцами, колхозниками, обвиненными в сотрудничестве с немцами, людьми покинувшими Россию на рубеже 20-х годов и уже успевших состариться в эмиграции. А следователь проводил напролет ночи в своем кабинете, распутывая сложную паутину действительных и мнимых заговоров, недовольств и антигосударственных настроений в армии. По неуловимым признакам, какой-то особой интуицией, он прощупывал то, чего бы не заметили другие, уяснял себе то, чего нельзя ни предвидеть, ни постигнуть обычным разумом. Следователь перелистывал толстые папки дел, вчитывался, вдумывался, комбинировал, строил одну за другой системы различных предположений, набрасывал списки имен и потом ставил свою резолюцию. Часто он и ошибался. Часто заговоры существовали только в его фантазии. Людей, тем не менее, арестовывали, увозили на восток или расстреливали на месте. Но от этого следователь не терял спокойствия духа и не смущался. В работе ошибки неизбежны. Особенно в такой работе, где действительность, фантазия и кошмар переплелись в один спутанный, петлистый, колючий клубок. День за днем продолжал свое дело следователь, но никогда не видел его страшных результатов. Он никогда не присутствовал при казнях и истязаниях. Черновую работу пыток и уничтожения исполняли его подчиненные. Сам же он сидел в своем просторном, покойном кабинете, перелистывал бумаги, на которых не было пятен крови, но которые убедительно говорили о смерти.

Подписав очередное дело со страшной лаконичной резолюцией, следователь облегченно вздыхал — еще одно удачное решение кровавых ребусов и крестословиц. И брал в руки новую папку. Опять крестословица, наполовину решенная доносами и агентурными справками. Нужно вставить несколько недостающих имен, заполнить вдоль и поперек пустые квадраты и наложить резолюцию ...

— Да, да помню, вызывал, — мелком взглянув на вошедшего Бурова, ответил следователь, принимаясь за просмотр дела. Потом начал подробно допрашивать.

Уже независимо от ответов, вопросы, которые задавал следователь, сами по себе, по смыслу звучали каким то тяжким обвинением.

— А о брате вам что-нибудь известно?

По тону Буров сразу же понял, что письмо от невестки было вскрыто.

— Брата в последний раз я встретил перед боями у Курска и уже больше года не получал от него писем.

— Да? — протянул следователь. — Могу вам о нем сообщить, что бывший полковник Буров находится под судом и обвиняется в антисоветском уклоне. Что вы можете сказать о нем, именно, в этом смысле? Вы понимаете, лейтенант, что ваши ... ваши искренние, правдивые показания пойдут только вам на пользу. Этим вы реабилитируете самого себя.

Думает что я предам брата, подумал Буров, и от этой мысли кровь прилила к лицу. Дмитрий чувствовал, что теперь, если-б даже ему грозил неминуемый расстрел, пытки, что угодно, он уже не сможет сдержать себя. Едва выговаривая слова от душившего его гнева, ответил:

— О брате я могу сказать, что он — боевой офицер, три раза ранен и беззаветно любит родину.

Следователь медленно отложил бумаги, скривил толстые губы презрительной гримасой и уставился на Бурова колючим взглядом.

— Ну, одной-то любви к родине не достаточно. Без лояльности к советскому государству и социалистической сознательности такая любовь ровно ничего не стоит. Вам это, как советскому офицеру, должно быть понятно.

Буров стоял бледный, стиснув до боли зубы.

— Мне понятно только одно, — резко чеканя каждое слово, ответил Дмитрий, — патриотизм для советских бойцов и офицеров самое ценное и главное. Не будь этого, вы-бы, товарищ следователь, ни только не былибы здесь, сейчас в Берлине, но вряд-ли удержались-бы и в Москве ...

Следователь невозмутимо выслушал последнюю фразу, потом, многозначительно растягивая слова, протянул:

— Та-ак ... Ну, на сегодня достаточно. И в тоне его голоса звучало что то угрожающее, не оставляющее надежды человеку, попавшему в его цепкие руки.

**
*

Дмитрий ясно сознавал, что слова сказанные им в запальчивости, готовили ему ту же участь, какая постигла брата Михаила. Возвращаясь от следователя домой, ошеломленный внезапно разразившейся бедой, он испытывал в себе, незнакомое прежде, странное чувство какой то двойственности, точно это был он и-не он, как бывает в тяжелом сне. Буров шел спокойной, твердой походкой, внешне ничем не проявляя, терзавшей его жестокой внутренней боли. На перекрестке его остановил встречный, очевидно приезжий, офицер, попросив ука-

зать дорогу в какое то административное учреждение. Слова незнакомца звучали, точно откуда то издалека, странным приглушенным эхом. Буров подробно объяснил офицеру дорогу, и, когда говорил, не узнавал собственного голоса, словно сам он беззвучно шевелил губами, а кто-то другой за него произносил слова, и ухо извне улавливало чей-то чужой голос. Потом Буров опять шел твердой поступью, глядел вокруг невидящими глазами. Только горело лицо, точно опалило его огнем, да в голове беспорядочно громоздились мысли. И не успевал Дмитрий остановиться на одной, как уже другая, еще более волнующая и гнетущая, заслоняла собой предыдущую. И не было сил привести их в порядок, сосредоточиться, совладать с этим хаотическим потоком мрачных мыслей, которые отзывались во всем теле огромной мукой, туманящей сознание душевной болью.

Около дома Бурова уже полчаса терпеливо поджидал Першин. Когда Дмитрий заметил издали фигуру своего водителя, у него произошло внезапное пробуждение от столбняка, перешедшее тотчас же в приступ острого горя. Словно Алеша напомнил ему все, вместе проведенные годы войны и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения.

Буров вкратце передал Першину разговор со следователем.

— Говорю же я — бежать надо ... Эх!... — страдальчески загорячился Алеша. — Конечно, надо, — продолжал он, стараясь придать своему голосу, как можно больше убедительности. — Теперь ни минуты терять нельзя. Сейчас самое главное — кто кого опередит: или мы, или они .....

Решено было бежать. Сегодня же с наступлением темноты.

Першин давно уже думал о побеге, и, откажись Буров, он все равно бежал бы один. Алеша подробно разработал план, точно знал расположение советских постов вдоль западной зоны. Изучил расположение улиц, сквозных дворов, разрушенных зданий и наметил наиболее безопасный и скрытный маршрут задуманного побега.

Сквозь окна уже пробивался закат, наполняя золотистыми бликами внутренность казармы. Алеша лежал навзничь на жестком казенном тюфяке, уставившись глазами в потемневший от времени потолок. Вокруг него спали, разговаривали, делали что-то свое десятки товарищей, но Першин их не замечал. Все думал о предстоящем побеге, охваченный острым непроходящим волнением, от которого пробегала по телу нервная дрожь и гулко стучало в груди сердце. Потом тревога сменялась легким и радостным чувством, будто слышал Алеша, как новая жизнь приближается к нему большими и звонкими

шагами. Та жизнь, о которой он мечтал оборвышем-беспризорником в ржавом котле на заброшенном московском пустыре, и которая когда-то манила его заманчивыми и увлекательными картинками из старой потрепанной книжки.

Першин поднялся с койки, заглянул под нее, где хранились все его пожитки: аккуратно завернутая в простыню гармонь да брезентовый, потертый временем и походами, чемоданчик. Минуту Алеша печально глядел на свое барахлишко. От него веяло воспоминаниями многих лет жизни. Нерушимо хранило оно все прошлое: горе и радости, тревогу и веселье. Оно все помнило и обо многом могло бы рассказать без слов. Готовый разрыдаться Алеша нежно погладил свой баян, словно прощаясь со старым верным другом. Потом раскрыл чемоданчик и, пошарившись в нем, достал с самого дна обернутую в газетный лист заветную книжку.

Спокойно и терпеливо ждал наступления ночи Буров. Что важное им было сказано и решено. И после того решения стихла тревога, смолкла душевная тоска. Их сменила какая то апатия, отрешенность не только от прошлого, но и от самого себя. В голове не было мыслей. Даже о предстоящем побеге Буров мало думал, всецело полагаясь на Першина. Только на один краткий момент пришла мысль о возможном провале их плана. И тогда Дмитрий подошел к комоду, достал сверкающий вороненым блеском немецкий «валтер», проверил обойму и положил его в карман.

В половине десятого кто-то осторожно поцарапался в окно.

**
*

В жизни человека бывают, иногда, те роковые или спасительные минуты, когда судьба властно и повелительно выражает свою державную волю. Рок-ли это? Сцепление-ли случайных обстоятельств? Человек вступает на новый путь, словно напутствуемый каким-то непостижимым произволом. И не ведает человек, что ждет его на этом новом пути. Быть может незримая десница Провидения оперяет смертельную стрелу или заслонит щитом. Скрывается ли в неведомом будущем хищный зверь, притаилась ли змея под придорожном камне? Нависнут ли грозные тучи или теплом и лаской согреет солнце? Откроется ли широкий просторный путь к будущему, или тернистая тропа приведет к пропасти? Горе-ли, страдание или счастье? Этого не дано знать человеку, и только видит и чувствует он, что слишком внезапен, резок и решителен перелом к новому. Еще темным стоит будущее, а непроницаемый завес спустился надъ прошлым. Ведь прошли только минуты, а человеку кажется, что какая-то непреодолимая пропасть отделяет его от

прошлого. Быстро промелькнули эти минуты, а уж прежней жизни нет. Никогда не повторится больше привычное, знакомое. Поблекнут дорогие лица, рассеятся без остатка прежние заботы и радости. И усумнится тогда человек в том, что все это было когда-то, ибо новое обращает прежнюю явь в зыбкий и призрачный мираж, в небыль, в ничто ...

И в жизни двух танкистов эти минуты наступили в тот момент, когда Буров, выйдя из дома, перешел на другую сторону и встретил, еле видимого в темноте, поджидавшего его Першина. Беглецы уже сворачивали в соседний переулок, когда Алеша вдруг внезапно остановился и дернул Бурова за рукав: «Гляди-там!»...

К подъезду буровского дома в тот момент, сверкая снопами фар, подъехал виллис. Из него торопливо выскочили три фигуры. Сталь автоматов сверкнула у фонаря. Люди направились к входным дверям.

— Успели, значит, во время, — шепнул Алеша, и беглецы, прибавив шагу, скрылись в ночном сумраке. Долго пробирались они по темным проулкам каким то дворам, крались вдоль стен, перелезали через заборы. На каждом шагу путь преграждали кучки штукатурки, бетонные глыбы, скрученные, исковерканные стальные балки, железные листы. Медленно приближались они к заветной цели. Теперь впереди оставалось самое трудное: пересечь широкую улицу, бдительно охраняемую патрулями. Чаще и сильнее забилось сердце, когда раздались вблизи тяжелые шаги патруля. Затаив тыхание, прижались к разрушенной кирпичной стене. Буров инстинктивно прощупал у себя в кармане плоскую сталь пистолета. Солдаты прошли мимо в пяти шагах. Их медленный, гулкий шаг постепенно замирал вдали притихшей, омертвевшей улицы. Теперь уже можно. Неслышными тенями пересекли улицу. Алеша вздохнул свободней: советская зона осталась позади. Они шли по чужой земле, уже не крадучись, но все еще испытывая сильное волнение пред неизвестностью, которая притаилась где то впереди в темных пролетах улиц. Так прошли квартала два, когда на перекрестке беглецов внезапно осветил лучик ручного фонаря. В темноте сверкнули короткие стволы автоматов. Раздался чужой, непонятный окрик:

HOLT! WHO IS THERE? ...

— Френдс. Ви ар френдс, — крикнул Алеша, стараясь как можно отчетливей и ясней произнести иностранные слова. Буров вынул из кармана пистолет и, держа его ствол, ручкой вперед подал часовому.

**
*

Их доставили к коменданту. После краткого допроса отвели в камеру для арестованных. Буров и Першин внимательно, как новички, впервые попавшие в незнако-

мый класс, оглядели чистенькую комнату, две застланные свежим постельным бельем кровати, два стула и маленький столик. Глядя на все это, Алеша вдруг почувствовал себя свободным, именно свободным. Как будто, в маленькой арестантской камере не было стен, и он уже не под арестом, а только что вышел из тюрьмы, в которой сидел всю жизнь.

Через четверть часа в камеру вошли дежурный сержант и комендантский вестовой с подносом. Солдат поставил на стол тарелку с сандвичами и две чашки кофе. Сержант весело улыбнулся, сунул каждому пачку сигарет и похлопал арестованных по плечу.

— Ну, ребята, закусывайте и отдыхайте. Спокойной ночи, — потом взглянув на ручные часы добавил:—Точнее говоря, доброе утро! Опять засмеялся раскатистым басистым смешком и вышел из камеры.

Выпив кофе, беглецы лежали на койках. Пережитые волнения отгоняли сон. Говорили в пол голоса.

— А если выдадут обратно? — видимо пугаясь собственной мысли, спросил Алеша.

Буров ответил не сразу, затянулся сигаретой и вопросительно взглянул на Першина. — А тебя это волнует, Алексей? Неужели за четыре года не привык к мысли о смерти? Сто раз ведь тебя могли убить, чего-же теперь то робеть? А по моему раз веришь, что поступил правильно, что никогда не раскаешься в том, что сделал, то тогда все остальное уже не важно.

— Нет, важно, — загорячился Алеша, — очень важно! Вы вот поймите, в бою-то я ведь не один, кругом люди, за спиной вся страна, весь народ думает о тебе, гордится тобой. Так и умирать-то не страшно. А тут вот совсем другое. Все тебя презирать будут. Предателем, подлецом посчитают. Ведь ни у кого даже жалости не встретишь. Да где-же взять столько геройства, чтоб отстаивать свою правду против всех. Такого геройства мало у кого найдется . . .

Буров грустно улыбнулся.

— Значит по твоему тоже выходит, что смерть для человека еще не самое страшное. Есть вещи и пострашнее ее. Ну, вот, скажем, в нашем положении. Мы потеряли все, решительно все, кроме собственной шкуры. Теперь мы без рода и племени. Впереди всю жизнь придется кочевать да сиротствовать! Без языка ... да и душа у нас совсем другая. Как-же жить тогда? Одной-то сытостью век не проживешь!...

— Что-же, поскучаем первое время, без того не обойдешься, — согласился Алеша, больше из деликатности, угадывая тоску своего офицера, — ну, а потом привыкнем. Русские-то теперь по всему свету разбрелись.

Исчезла улыбка с лица Алеши, видно, припомнил что-

то невеселое. Качнул головой, рассыпав по лбу русую курчавую прядь, и потом хмуро начал: — Не мы ведь первые, Дмитрий Александрович! За века до нас уходил русский человек с обжитых мест искать вольной жизни. Бежали куда глаза глядят: за Волгу — в степи, к туркам, в Литву, в Сибирь, в Америку. Оседали на новых, вольных местах, обживались там и больше о родной земле никогда даже и не вспоминали, потому что родина - то человеку там, где лучше и свободнее жить. Да и чего вспоминать о ней? Подумать, и то страшно! Страшная это земля! Не вспоминать ее, а проклинать надо за кровь, за слезы, за страдания, которые на ней терпел народ...

Было в голосе Першина столько ненависти, горечи и отчаяния, что ничего не ответил ему Буров. Сидел молча, опустив голову и думал об Алешиных словах. Не было в них ничего нового и умного. Но поразило Дмитрия то, с какой легкостью этот смышленный паренек теперь проклинал и поносил тысячелетнюю святость своей земли. И чем больше думал Буров об этом, тем тоскливее становилось на душе, и острее почувствовал он свое одиночество. Долго ворочался Буров, стараясь заснуть, а когда заснул, мучил его кошмар, и проснулся он от собственного сдавленного крика с холодной испариной на лбу. Снилось Бурову, что окружает его мрак, не тот, что окутывает темной ночью, а какой-то особый: душный и смертельно тяжкий в своей непроницаемомости. Буров метался, стараясь выйти из этой тьмы. Напрягал зрение, слух в надежде что нибудь увидеть или услышать. Но кругом был все тот-же мрак, пустота и покой, в котором одна только буровская мысль терзалась сознанием своего одинокого Я, затерянного в бесконечности. Бурову казалось, что проходили миллионы, биллионы веков, а рассудок оставался ясным, память свежей, чувства обостренными. Вся жизнь представлялась Дмитрию во всех мельчайших подробностях, каждое слово и чувство, сказанное или пережитое, снова и снова, безчисленное число раз, повторялось в ярких, почти реальных образах и только лишь для того, чтобы глубоко осознать и почувствовать теперешний, безграничный, надвременный гнет одиночества. И это чувство, которое он испытывал, ничем нельзя было прекратить, и весь ужас заключался, именно, в непрекратимости его, в бесконечности, в неизменном постоянстве.

— Помогите . . . спасите . . . — кричит Буров. Но никто не отозвался на этот отчаянный призыв, и только внутренний голос беззвучно шепчет Дмитрию:

— Это смерть. Ты здесь один, абсолютно один. Не пытайся ни звать, ни молить. Никто не придет, не откликнется. Здесь нет ни времени, ни пространства. Только од-

на твоя мысль, затерянная в бесконечном, будет жить вечным, неугасимым сознанием своего одиночества.

Буров проснулся от собственного глухого, хриплого стона. И услышав свой голос, все еще продолжал переживать ужас виденного. Буров вспомнил, как наивная религиозная мистика запугивает людей картинами ада. Так, ведь такой ад, совсем не ад, в нем нет самого ужасного. Никому из великих мыслителей еще не пришла мысль о вечной загробной муке. Ни древние греки, ни Шекспир, ни Кант, ни Толстой не подумали о том, что самое страшное для человека это — полное, абсолютное одиночество. Какой ужас, непостижимый, безграничный ужас от сознания своего одинокого Я в пустом и вечном мраке . . .

**
*

В просторной, светлой канцелярии комендатуры Вилл Харрисон — полный, коротконогий человек в погонах майора американской армии, перекатывался, как колобок, взад и вперед возле столика машинистки в защитном мундирчике В А К*.

Майор жевал толстую сигару и диктовал суточный рапорт в штаб. Голова работала плохо. Харрисон всю ночь играл в бридж. Правда, игра закончилась очень и очень недурно, но от бессонной ночи и большого количества выпитой виски, мысли путались и плохо укладывались в строки официального донесения. С пачкой рапортов от караульных начальников майор плавал в дыму собственной сигары и снова принимался диктовать машинистке сводку. Машинистка отбивала строки, а когда наступала длинная пауза, брала со столика никеллированную пилку и подтачивала свои ярко красные ноготки. Потом опять быстро трещала машинка, и снова длинная пауза. Покончив с манюкиром, машинистка достала из сумки зеркальце, выпятила губки пунцовым сердечком и навела на них безукоризненный штрих. Рапорт был, наконец, составлен.

— Вот и все, — облегченно вздохнул майор, вытирая платком вспотевший лоб. — Прочитайте. Машинистка, склонившись над валиком, выпрямила лист и быстро скороговоркой прощебетала:

16 августа 194* Сектор ZZ Вест Берлин.

Начальнику Гарнизона Генерал Майору Едварду Роджерс.
Дорогой Сэр:

Имею честь доложить: 15 Августа с. г. в 11 ч. 30 м. вечера в районе сектора ZZ задержаны чины советского N-го танкового полка лейтенант Дмитрий Александрович Буров, 32 лет и сержант Алексей Прокопьевич Першин, 28 лет. На допросе оба показали, что дезертирова-

* ВАК — женский армейский корпус.

ли из советской армии по политическим мотивам. Произвожу дальнейшее следствие.

Майор Виллиям Харрисон.

Выслушав свой собственный рапорт, майор вызвал дежурного сержанта и приказал после завтрака привести арестованных для допроса.

Допрос продолжался недолго, но зато после формальной части, майор подробно расспрашивал советских танкистов об отдельных интересовавших его эпизодах войны на восточном фронте. И, слушая ответы переводчика Харрисон, часто поглядывал на Алешу Першина. Какое то смутное, едва уловимое сходство в лице этого русского сержанта с племянником Джимом.

— Да-уж кому, как на роду написано, — подумал майор. Вот, эти парни воевали от самой Москвы и уцелели, а бедняга Джим, едва успел перелететь Английский канал, как его подбитый бомбовоз в пламени рухнул вниз на песчаную отмель Нормандиии... Судьба ... каждому свое ... опять подумал майор, дружелюбно поглядывая на арестованных. Вот и они, поди, надеялись вернуться домой к родным, а теперь ... Майор от природы был мягким и немного сантиментальным человеком. Он искренно пожалел беглецов, когда представил себе то, что должен чувствовать человек, убегая из своей страны. Ну, вдруг, скажем, он, Билл Харрисон, покинул бы свой уютный домик в Нью-Джерси и убежал бы в какую нибудь совсем чужую, незнакомую страну. От такой неприятной мысли у майора заныло подложечкой. Он заерзал на кресле и мельком взглянул на часы ... Ого! Давно бы уже следовало закончить допрос ...

Медленно и томительно тянулись дни, особенно для Алеши. У него радостное ощущение новой жизни и свободы подчас сменялось тревожным чувством, будто черные прожилки в белой толще мрамора, и тогда темные, мрачные мысли роились в голове, и Першин представлял себе, как американские солдаты посадят на джип и отвезут обратно на границу восточной зоны.

Раз на допросе Алеша даже спросил у майора, могут ли их выдать назад. Харрисон ничего не ответил, только отрицательно покачал головой. — Сам должно быть не знает. А, если и знает, то кто же об этом так прямо и ответит, — подумал Алеша и провел остаток дня в подавленном, мрачном настроении. Однажды утром их снова привели в кабинет майора. Лицо Харрисона расплылось в широкую улыбку, когда он объявил беглецам, что их отправят во Францию, а оттуда в Нью Иорк.

— Ну, прощайте. Поможет вам Бог в новой жизни. Майор на прощанье добродушно кивнул головой. Потом о чем то вспомнив выдвинул ящик письменного стола.

— Ах, чуть не забыл, вот этот ваш трофей. Хорошая вещь, одобрительно заметил майор, рассматривая выгравированную готическую вязь с инициалами «СС». Он вынул обойму и возвратил пистолет Бурову.

На другой день большой транспортный аэроплан снялся с Темпельховского аэродрома, увозя беглецов в Париж.

XIII. КАМЕННЫЙ МЕШОК.

Первые дни в Нью-Йорке пронеслись, словно в каком-то стремительном калейдоскопе. Каждое утро, ровно в девять, на 20-м этаже отеля из большого бесшумного лифта выбегали озабоченные деловитые люди с портфелями и фотокамерами. Они торопливо проносились по устланному коврами корридору и стучались в дверь номера, где остановились Буров и Першин. Когда дверь открывалась репортеры шумно протискивались внутрь, здоровались крепкими рукопожатиями, что-то очень быстро строчили в свои блок-ноты и щелкали аппаратами.

— Ваше имя, сэр?

— Першин.

— Пе-рши-ин? Пи-и-ар-эс-ейч-ай-ен? Очень хорошо. Легко запомнить. Почти, как Першинг!

— А ваше имя, сэр? — Буров. Би-о-ю-ар-о-ви? Прекрасно, тоже нетрудное имя. Скажите, м-р Першин, как вам нравится Америка?

— Вери мач, вери мач, — без запинки отвечал журналистам Алеша. Начинались подробные и настойчивые расспрашивания: как, что и почему. Получив ответы, репортеры жадно их записывали и тотчас же задавали новые вопросы. Потом, закончив интервью, крепко трясли руки и уходили. После них приходили новые ньюс-мены и фотографы.

— Ваше имя, сэр?

— Пи-и-ар-эс-ейч-ай-ен!...

И опять мучили вопросами. Распрашивали буквально обо всем. Повторяли с удивленной улыбкой ответы, и, видимо, никто изъ них даже и не задумывался, нужно ли это им знать или нет.

— Как относится к Сталину армия?

— Были-ли вы в концентрационном лагере?

— Когда в России будет революция?

— Популярны-ли в России холливудские кинофильмы?

Буров и Першин отвечали. Чаще Першин. Впрочем, к концу дня Алеша устало шевелил губами и уже был не в состоянии больше вникать в вопросы и обдумывать ответы. Вечером, после ухода последних визитеров,

приятели спускались на лифте вниз и шли закусить в ближнем кафэ. Через полчаса возвращались назад к себе в номер и рассматривали из окна массивные силуэты небоскребов, погруженных своими основаниями в сверкающий, переливчатый разноцветный океан огней.

На третий день визиты репортеров внезапно пресеклись. В это утро, словно по взаимному уговору, ни один из ньюсменов уже больше не появлялся в отеле. Сложный и безукоризненно точный механизм газетного дела сделал положенное число оборотов, строк, интервью, снимков, вопросов и ответов. Репортеры и фотографы выполнили ни больше и ни меньше того, что точно соответствовало степени важности и интереса, который представляли для прессы Буров и Першин и их побег из советской зоны Берлина. Теперь впервые Буров и Першин могли всецело располагать собой. Позавтракав, они вышли на улицу и сразу окунулись в грохочущем водовороте города.

**
*

Каждый русский при слове Москва невольно представит себе древние стены Кремля, его дворцы и соборы, Красную площадь, где не раз решалась русская судьба. Это и есть сердце Москвы, самая ее суть, без чего думать о русской столице просто немыслимо. Точно также и любой американец при слове Нью-Йорк подумает не о штате того же названия, ни обо всем метрополитене с его огромными частями Бронкс, Бруклин, Квинс, а о небольшом островке в дельте Гудзона. На нем, упираясь в небо вершинами небоскребов, уходя глубоко в недра земли, повиснув над водой ажурной сталью мостов, высится Манхаттэн, как библейский фантом, где народы со всех концов земли вновь воздвигли столпы Вавилона. Собрав воедино труд и мысль всего человечества, все богатства земного шара, хочет он необъятным и невиданным размахом показать всему миру свою мощь, величие, надменную гордость и несокрушимую силу.

Клокочущие улицы Манхаттэна забиты сплошным движущимся потоком пешеходов, автомобилей, трамваев и басов. Подчиненный повелительному ритму красно-зеленых огней, этот поток на минуту замирает и снова несется к центру несметного нагромождения бетона, стали и стекла . . . Там в огромных, блестящих витринах: камни, драгоценные металлы, редкостные меха, шелка, цветная кожа, дорогое дерево, хрусталь, бесценные сокровища искусства, приборы, инструменты, аппараты и машины. Для того, чтобы наполнить эти исполинские витрины сказочными дарами земли, работают руки всего человечества, использованы все богатства планеты, на-

пряжены пытливая мысль ученых, талант и вдохновение художников.

Вдоль набережной Гудзона высится лес мачт, вонзивших в дымное сероватое небо флаги всех наций мира. Под грохот лебедок, визг кранов, скрип вагонов день и ночь опоражниваются огромные плавучие вместилища, наполняя пристани и склады невообразимым количеством ящиков, мешков и бочек. Мощной, ненасытной пастью все вбирает в себя Нью-Йорк: мясо, и шерсть, уголь и рыбу, лес и хлопок, кашмирские ткани и сибирские меха, лионские кружева и японский шелк. И сколько бы не производил весь мир, ему никогда не насытить этой огромной пасти города-исполина ...

***

На огромном циферблате «Колгэйт Клок» стрелка подходит к 9-ти. По улицам делового Манхаттэна густой, непрерывный человеческий поток тянется к подъездам оффисов, банков и бирж — к главным штабам индустрии и капитала.

Нескончаемой вереницей, шурша по асфальту, тянутся бассы с грузом втиснутых и сжатых до отказа человеческих тел. Со стальным лязгом несутся под землей поезда. Леди и джентльмены наспех пробегают заголовки утренних газет о новом матче бокса, новой воздушной катастрофе, новом сексуальном убийстве.

В полдень из подъездов оффисов, банков и бирж живой поток устремляется в рестораны, кафетерии и дрогсторы. Не задерживаясь там лишней минуты, быстро проглатывают свой завтрак солидные бизнесмены и миловидные барышни. Они не смакуют и даже не едят, а скорее запихиваются сандвичами, отчего сами эти рестораны и кафэ скорее напоминают собой некое подобие газолиновых станций, вливающих пищу в желудки людей-автоматов . . .

На огромном циферблате «Колгэйт--Клок» стрелка подходит к пяти. Из оффисов, банков и бирж густой человеческий поток растекается в собвеи, автобусы и автомобили. Леди и джентльмены развернули вечерние газеты, чтоб опять наспех пробежать заголовки о новом матче бокса, о новой катастрофе и новом убийстве. Кварталы Манхаттэна пустеют. Жизнь делового города замирает, и тогда эти огромные здания глухие и непроницаемые, как сейфы, похожи на склепы среди вымерших безлюдных улиц. Завтра утром они снова проснутся в лихорадочной горячке, снова наполняются шумом человеческого муравейника, шуршанием шин и лязгом стали в сизой дымке перегорелого газолина ...

Шумливая жизнь перекочевала на Бродвей. Он горит ярким заревом рекламных огней. Огни мигают, гаснут и

вспыхивают, кружатся, извиваются змеями, рассыпаются каскадами. Миллионы разноцветных лампочек, десятки миль пестрых неоновых трубок манят, зазывают толпу, и человеческий поток тянется в кино, рестораны, бары, мюзик-холы, чтоб укрыться в них от скуки и убить пустые вечера. Матросы и рабочие, клерки и оффисные барышни, молодежь и старики, люди всяких профессий и люди без профессии и без работы сидят на круглых, металлических табуретах и тянут пиво, коктэйлы и хайболы. Из баров доносится визгливая и резкая какафония модных песенок. С овчаркой-повадырем медленно ступает слепой негр, растягивая свой хрипящий аккордион. Он тоже поет модную песенку. Поют на углу два человека в синих мундирах солдат армии спасения. Их голоса заглушает громкоговоритель, выведенный из бара, где на крохотной эстраде в микрофон поет полуголая девица каким то неестественно сиплым, надтреснутым голосом . . . Куплеты, что поет девица, по смыслу тупы и пошлы, сам мотив режет ухо вопиющим диссонансом, но, именно, эта-то предельная нелепость имеет свою характерность, как-то криво, несуразно, но выразительно отражает общий колорит ночной жизни увеселительных кварталов и как нельзя, полнее гармонирует с яркими трубками неона и всей лихорадочной толкотней нервно - возбужденных людей с бледными, усталыми лицами.

**
*

Буров и Першин устроились на работу. Алеша на газолиновую станцию. Дмитрий уборщиком в большом деловом здании. Из дорогого отеля они переехали в гостинницу поменьше и подешевле. Номер был обставлен дешевой, но чистенькой мебелью из гнутых аллюминеивых трубок и пластиковой обивки. Окно выходило на глухой двор, окруженный серыми от пыли и сажи стенами соседних домов. И несмотря на то, что приятели жили вместе, в одной комнате, видели они друг друга редко, мельком. Когда один из них приходил или отправлялся на работу, другой спал, иногда просыпаясь, чтобы пробормотать сквозь сон несколько слов, по большей части каких нибудь поручений и, снова, повернувшись на другой бок, заснуть. Только в конце недели, выходные дни приятели проводили вместе и, пообедав, ехали развлечься на Бродвей. Там их подхватывал бурный, шумливый человеческий поток и нес к ослепительно ярким подъездам кино. После картины заходили в соседний бар, садились у стойки на высокие, круглые табуретки и заказывали себе виски с лимонадом.

Однажды, на огромной, заставленной сотнями всевоз-

можных бутылок полке, Алеша разглядел бутылку водки.

— Смотри, Митя! Наша водка.

— Йес, водка, рошен водка, — подтвердил «бартендер» у стойки и приготовил им модный и любимый американский напиток — «скрудрайвер» — смесь водки с апельсиновым соком. Алеша пригубил первым, поморщился, неодобрительно проворчал:

— Добро зря переводят! Впрочем скоро привыкли к этому новшеству, но все же пили по своему: опрокидывали рюмку водки и потом запивали ее апельсиновым соком.

Так тянулись дни за днями. Проходили пестрые, суматошные недели. Мелькали новые лица, бывали частые, мимолетные встречи с русскими. Многие из них искали знакомства с людьми «оттуда». Одни, чтоб услышать о родине, и ее лучшей доле и, тем укрепить свою веру в нее, изъеденную долгими годами скитаний и тяжелых сомнений. Другие, чтобы найти доказательств в скорой и несомненной гибели ненавистного им строя. Приятели, однако, чуждались эмигрантской среды. Коротали субботние вечера в кино и барах. А оттуда, уже после полуночи, два русских беглеца, бывшие лейтенант и сержант танкового полка брели по опустевшим улицам к себе в гостинницу.

Буров задумчиво шагал, стараясь уловить какую-то ускользающую, неясную мысль, которая уже давно вертелась в голове.

— Знаешь, Алеша, — сказал он своему спутнику. — Что то особенное отличает Нью-Йорк от старых европейских городов. Там старые храмы, университеты, крепости, замки или даже глыбы развалин на каждом шагу говорят о старине. А вот Нью-Йорк не хранит в себе памяти столетий, будто его нагромоздили в пятьдесят лет.

— Это ты — верно, — согласился Алеша. — Дома все новые, огромные. Везде электричество, даже днем. Красиво!

— Ну, вот возьми, — продолжал Буров: хотя бы Киев, Варшаву, Прагу — в них отложились и неприкосновенно лежат какие то пласты стародавних времен и нерушима связь человека с прошлым.

— А на кой ляд, спрашивается, людям эта старина? — перебил Бурова Першин. Узкие переулки, обшарканные, низкие дома, ухабистые булыжные мостовые. Город тебе не музей. Главное, чтоб в нем комфорт чувствовался.

Буров, казалось, не слушал своего собеседника и продолжал:

— Только вот почему прошлое управляет человеком с

такой дивной силой? Не потому ли, что самое дорогое и ценное для человека в мире это связь его с прошлым. Тут ведь уже не просто историческая память, а идея личного бессмертия. Ну, что такое сам по себе человек, его скоротечное, случайное и, в общем, бесцельное существование? А ведь исторические дела, легенды, предания, традиции обращают краткую жизнь человека в какое-то звено тысячелетней непрерывной жизни. Человек сознает, что как личность, он должен быстро исчезнуть, но как частица, вечно обновляющейся жизни народа, он одарен бессмертием. Кто знает, может быть, религия то тем и ценна для людей, что в ней заключается смутно сознаваемое чувство крепкой, нерушимой связи с прошлым, преклонение пред ним, наше таинственное родство с мыслями и делами всех отживших поколений. . .

— Интеллигенщина в тебе старая сидит, мечтатель ты, Митя. Ну, а к чему это? Ведь не поймут здесь твоей философии. Американцы таких непрактичных разговоров выносить не могут.

— Знаю, что не поймут, — вздохнул Буров, а ведь и у них есть своя старина, только придавлена она бытом и бетоном. О старине некогда и некому подумать. Да и какая, собственно, связь культурная, духовная, историческая между первыми поселенцами — пуританами и теперешними польскими или итальянским эмигрантом? Каждый год сюда приезжают десятки тысяч французов, евреев, ирландцев, немцев, итальянцев. Все помыслы и интересы этих пришельцев прикованы к одному: заработать. Одни мечтают обогатиться, другие стараются не околеть с голоду. И у этих выходцев из Ирландии, Гамбурга, Вены, Варшавы, Белостока и Неаполя ни только нет и не будет связи с прошлым этой земли, но даже и с той современной им средой, людьми и бытом, в котором они живут. Вот Нью-Йорк-чудовищно громаден и многолюден. А подчас мне кажется, что у каждого здесь живущего человека эта скученность как то несуразно сочеталась с чувством одиночества. Будто каждый из них живет не в огромном городе, а в какой-то грохочущей, торопливой, лихорадочно-деятельной пустыне. Я уже не говорю о нас с тобой. Мы пришельцы — безродные и немые. Но, наверное, многие, кто здесь родился, чувствует свою заброшенность в этом многомиллионном муравейнике.

— Ну, может быть, и чувствует, — неохотно согласился Алеша. Да только это совсем для них неважно. Для них самое главное — заработок, «джаб». День прошел, положил в карман доллар и успокоился. А если заработка не оказывается — надо за него бороться. И правы! Главное у человека борьба за существование. Ты сам по

себе, другие — тоже. Одним словом, человек человеку-волк. Ну, да это и не ново.

И желая прекратить спор с Буровым, Алеша в полголоса запел своим чистым тенорком:

Синеет море за бульваром,
Каштан над городом цветет.
И Константин берет гитару
И тихим голосом поет:
Я вам не скажу за всю Одессу:
Вся Одесса очень велика . . .

**
*

Несколько месяцев приятели прожили в Нью-Йорке, и с каждым днем в его многолюдности и шуме все сильней переживали они чувство затерянности, одиночества и страха перед равнодушно-жестоким ревом моторов и гулом толпы.

Огромные небоскребы уходили в высь заслоняя собой небо. Они, казалось давили каким-то тяжким гнетом человеческие души и самую землю, на которой стояли. А на дне этих бетонных ущелий лихорадочно суматошился человеческий муравейник, от которого тоскливо и страшно. Будто, глядя на него, и сам человек затерявшись в этих глубоких и сумрачных пролетах, утратил свое своеобразие, неповторимое «я», обратившись в муравья или мокрицу.

**
*

Доконал Нью-Йорк и Алешу Першина.

Однажды, сидя в баре, сильно подвыпивши, он тоскливо говорил Бурову: — Не думай, Митя, мне ведь тоже тяжело. Тоска гложет! Ну, пусть, скажем, здесь часы-браслетка, самопишущие ручки, разные там пылесосы... а чувствую я, что этот пылесос высосет мою душу ... Махнул, как то, безнадежно рукой и выпил стоявшую перед ним налитую рюмку. — Бежать от всего этого! Понимаешь, уйти-бы на Алтай, в тайгу, в Арктику, в степь, освежить себя пространством, опьяниться простором, ширью, бескрайностью рек и степей. Только нет здесь ничего такого ...

— Почему же нет?— старался успокоить приятеля Буров. — Ну, хотя бы Орегон, Монтана. Там леса нашей сибирской тайге не уступят. Америка велика. Много в ней есть еще привольных мест. А из Нью-Йорка уехать бы нам следовало. Вырваться из каменного мешка. Спастись от этого бетонного, электрического, автомобильного хаоса. Убежать из человеческого муравейника.

В тот вечер приятели решили уехать в Калифорнию.

XIV. В КАЛИФОРНИИ.

Как то однажды, июньским утром к Ветрову приехал шурин Николай Иванович. Оба сидели на веранде и пили кофе. Денисов рассказывал городские новости.

— Да, вот еще . . . На днях встретил двух советских молодцов.

— Да? Где же это ты их выкопал?

— Случайно, разумеется. Откровенно говоря, давно хотелось мне встретить человека «оттуда». И так, знаешь, чтоб по душам, откровенно поговорить о тамошней жизни, о психологии новых советских людей. Ну, а тут, что называется, «на ловца и зверь бежит». Подъезжаю к своей газолинке. Стоит у помпы какой-то новичек: коренастый, русый, широколицый. Ну, думаю, в рубаху бы его, в косоворотку обрядить, картуз на голову —вышел-бы рязанский паренек. Что то в лице у него с Есениным даже общее. И не ошибся. Как рот открыл, сразу всякое сомнение исчезло. Ну, и он смотрит на меня как-то по особенному: чутье-то, видно, у нас одно. Он мне по английски, я — ему по русски, — вобщем разговорились. Живет он с приятелем. Вместе бежали из армии. Полгода проболтались в Нью-Йорке, а теперь вот перекочевали сюда. Спустя неделю, я опять этого паренька встретил, взял у него адрес и напросился в гости.

Ну, и какое впечатление у тебя от этого знакомства? поинтересовался Николай Алексеевич.

— Занятные ребята! Особенно этот, первый-то! До войны в колхозе работал. И говорок-то у него простонародный, русский! В нем и намека нет на интеллигентность, но зато какая зарядка энергии, наблюдательность, практическая сметка. Такой, знаешь, нигде не пропадет. Особенно в Америке!

Денисов закурил и подлил себе в чашку кофе.

— Да, а вот другой, — продолжал он, — полная противоположность: молчаливый, но, видно, человек серьезный. Танковый лейтенант. До войны кончил в Москве инженерный институт. Хоть он и неразговорчивый, а как стал я его о Москве расспрашивать, скрытность- то эту у него, как рукой сняло. Много интересного порассказал.

— Ну, а о войне что нибудь говорили?

— Да нет, как то в голову не пришло спросить. Человек я не военный. Вот тебе-то было бы интересно с ними поболтать. Они, кажется, чуть-ли не во всех крупных сражениях участвовали.

— Так, так, — протянул Ветров. — Другой, ты говоришь, москвич, земляк значит мой?

— Москвич! Подожди, как же его? — старался припомнить Денисов. — Ах — да! Буров!...

— Буров? — почему то с ноткой удивления переспросил Николай Алексеевич. Ты знаешь, очень знакомая фамилия. Был у меня в училище близкий друг, портупей-юнкер Буров. И перебирая в памяти давние годы, Ветров стал вспоминать вслух.

— Помню, мечтали мы вместе об академии. Я то вот попал, а он на старшем курсе влюбился и совершенно потерял голову. Вышел в полк, сразу же и женился. Ну, а потом семья, ребенок, какая уж там академия! Убили беднягу в самом начале войны ... Да! славный был павловец Саша Буров!

— Позволь, Николай, — оживился вдруг Денисов, — ты говоришь Александр Буров?

— Да . . . Саша . . .— подтвердил Ветров.

— Так ведь этот то Буров Дмитрий Александрович. И отец у него царским офицером был. Не сын ли он твоего товарища?

— Вряд-ли. Совпадение простое.

Минуту оба молчали, потом Денисов как-то неуверенно спросил:

— Слушай, Николай! Ты ничего не имеешь против, если я их как нибудь привезу сюда. В городе-то у них— ни души.

Ветров охотно согласился. — Привези, конечно, привези. Интересно взглянуть на новую русскую молодежь.

**
*

В то утро с самого рассвета над заливом стоял теплый, неподвижный, густой туман. Издалека доносился протяжный вой сирены. Тревожно и настойчиво повторяла она свою короткую оборванную жалобу. И под ее размеренное убаюкивающее завывание мирно досыпал эти ранние часы воскресного утра маленький городок. Его улицы, окутанные серой непроницаемой пеленой, словно толстым ватным одеялом, были безлюдны. Только изредка прошуршит по мокрому асфальту одиночный автомобиль, скроется в серой мгле, и снова улицы цепенеют в ленивом, дремотном покое. Так прошел еще час. Городок постепенно стал пробуждаться. Все чаще и суетливее проносились по его улицам автомобили.

На востоке серую пелену пронизала широкая светло золотистая полоса, сквозь которую мягко просвечивались очертания гор. Все выше и выше поднималось в небе июньское солнце. Быстро таяли последние разорванные клочья тумана. Залив уже совершенно очистился, и теперь его водяная гладь зыбилась и ослепительно сверкала, а вокруг него пестрели яркими красками прибрежные холмы с разбросанными на них белыми домиками.

Перед полуднем старый денисовский фордик подъехал к ветровскому дому. Николай Иванович сдержал

свое обещание и привез с собой Бурова и Першина. Ветров сошел с веранды встречать гостей. Предупредительно-ласково поздоровался с молодыми людьми, которых представил ему Денисов. Когда он взглянул на Бурова, у него рассеялось всякое сомнение, перед ним стоял человек, имевший поразительное сходство с его давнишним товарищем. Немножко, пожалуй, пониже ростом, думал Николай Алексеевич, пристально всматриваясь в Дмитрия. Да, именно, таким он и помнит портупей-юнкера Бурова: темные слегка вьющиеся волосы, прямой высокий лоб, взгляд темно-серых глаз задумчиво-серьезный, характерно буровский. Вылитый отец, и почему то при этой мысли, Ветрову пришла в голову народная примета: если сын похож на отца — не бывать счастливому ...

Денисов снял пиджак, вытер пот с бритой головы и весело огляделся вокруг.

— Эх, благодать - то какая! Солнышко, теплынь. А в городе туман, холодище. В пору хоть шубу одевай. Это в июне - то! .. Да-да . . . А где же твои красавицы?

— Пошли купить что то из продуктов. Да вот, кажется, они и идут. И, действительно, в полисаднике стукнула калитка. За домом раздались оживленные голоса и на дорожке захрустел гравий. Из за угла дома показалась худенькая, стройная фигурка Нади и рядом с ней высокий, нескладный, с плоской ввалившейся грудью человек, лет 35-ти, в ярко-пестрой гавайской рубахе на выпуск. Позади них шла Вера с крупной рыжеволосой дамой. Все четверо на момент остановились и с недоумением глядели на незнакомцев, пока Денисов не стал представлять их приехавшим молодым людям.

— Ну, что-ж, мы здесь стоим, — спохватился хозяин, —милости прошу в дом, там прохладней, да и завтракать пора. Гости прошли в гостинную. Ветров с Денисовым стали накрывать стол а Надя с Верой отправились на кухню приготовлять завтрак.

Когда стол был накрыт, Николай Алексеевич рассадил гостей, указав Бурову место сбоку около себя.

— Сюда, пожалуйсте, сядем рядом, чтоб удобнее было беседовать.

— Знаете, Дмитрий Александрови, — обратился Ветров к соседу, наливая ему рюмку водки, — до чего же вы похожи на давнишнего моего друга по военному училищу, тоже ваш однофамилец Буров, Александр Васильевич. Вашего-то батюшку как величали?

— Александр Васильевич, — ответил Дмитрий, удивленно посмотрев на своего собеседника.

— Так, насколько я знаю, вашего отца на германской войне убили? — продолжал расспрашивать Ветров.

— Да, в самом начале войны, в Восточной Пруссии.

Об отце я знаю очень мало, только со слов матери. Знаю, что окончил он Павловское военное училище.

— Ну, так и есть, так и есть-он, Саша Буров — ваш батюшка! Ах, ты, Господи, — возбужденно воскликнул Ветров теряя свой обычный спокойный тон в разговоре. — Ты, слышишь, Николай? Оказался то на самом деле сын Сашин.

Все присутствовавшие за столом прекратили закусывать и с удивлением смотрели поочередно, то на Ветрова, то на Дмитрия, еще не вполне понимая причину возбуждения хозяина дома. Начались долгие и подробные расспросы. Ветров стал рассказывать о своем друге, портупей-юнкере Саше Бурове-отце Дмитрия, о том, как они вместе кончили училище, и Саша вышел в гвардию, в Кексгольмский полк, и с ним ушел на войну. Не приминул даже рассказать и о том, как славные кексгольмцы геройски бились с целым германским корпусом у Ваплица и в том бою был убит Буров-отец.

Долго еще не мог успокоиться Ветров и по мелочам перебирал воспоминания давних лет. С отеческой лаской, протягивая Дмитрию свою рюмку, чтоб чокнуться с ним, он задушевно говорил:

— Ну, за ваше здоровье, Митя! Вы меня уж простите, что я вас попросту, по-стариковски, Митей. Отец ваш моим близким другом был. Ветров выпил, закусил ломтиком ветчины и продолжал:

— Вот, Сашу-то на втором месяце войны убили, а я шесть лет без перерыва воевал и уцелел. У каждого своя судьба. Все же радует меня то, что нам не удалось, сыновья за нас выполнили. Горжусь я вами молодым поколением: отстояли Россию. Ну, а остальное — скитания на чужбине, личные горести ... Ветров при этих словах махнул рукой, — смириться надо со всем этим. Как великий царь однажды сказал: «о Петре ведайте — жизнь ему не дорога жила бы только Россия!» ...

Ветров налил по второй. Вера, сидевшая рядом с Дмитрием, с удивлением посмотрела на отца и улыбнулась. Такое радостное возбуждение редко случалось с отцом.

— Я, вот, в «Огоньке» картинку видел, — рассказывал Николай Алексеевич, и до сих пор не могу ее забыть. Сидит лихой солдатик на ступеньках у Рейхстага, на коленях — гармошка . . . Ведь это третий раз русские в Берлине. Подумайте только — третий раз! Это, Митя, вы — за восточную Пруссию ... Молодцы!..

— Ну, что же, много тогда советских гармонистов съехалось в Берлин на гастроли, шутливо ответил Дмитрий. Вот, Алеша тоже вез свою гармошку в танке из под самой Москвы.

Все, улыбнувшись, посмотрели на Першина.

— Гармошку-то вы, надеюсь, привезли с собой, спросила, сидевшая рядом с ним рыжеволосая Анна.

— Какой-там! Не до гармошки нам было ... — усмехнулся Першин и многозначительно поглядел на Бурова. — Без музыки и то едва унесли ноги. У меня теперь новая — здешний аккордион. Только к нему еще не приловчился. Звук в нем другой - тягучий. Яблочко или барыню на нем так не сыграешь, как на нашем баяне, — и Першин подробно стал объяснять различие в устройстве обоих инструментов.

— А вы, Дмитрий Александрович, — обратилась к Бурову Вера, — играете на чем нибудь?

— К сожалению, нет. Музыку я очень люблю. Когда был студентом, старался не пропускать московских концертов, а самому музыкой заняться не пришлось. Жизнь складывалась по иному. Мне кажется, многое бы я дал, чтоб хоть немножко для себя играть.

— Да, вам, именно, только кажется, — возразила Вера. Начнете сами играть, послушаете игру других, настоящих музыкантов, и тогда весь пыл пройдет. У меня подруга есть, законченная пианистка, забросила рояль из за того, что не смогла достигнуть того совершенства в игре, о котором мечтала.

— Ну, уж это — крайность, Вера, — вмешался в разговор Денисов. — Почему же каждый непременно должен играть, как Шнабель, Горовиц или Браиловский. Это ведь виртоузы, мировые светила, единицы на весь мир. А для обыкновенного смертного очень важно и ценно в жизни играть, именно, как Дмитрий Александрович сказал, для себя. Лично со мной часто случалось: сядешь за рояль, поиграешь немного и чувствуешь, как свою тоску или даже горе звуками выплакал. Великое дело — музыка. Ведь ей можно выразить любой оттенок душевного состояния или настроения, а главное —то, — музыка, как слезы — поплакал и легче.

Вера упрямо пожала плечами. Может быть, ты, дядя Коля, и прав, но, по моему, лучше совсем не играть чем играть посредственно, особенно классику.

— Вы не удивляйтесь, Митя, — стараясь поддержать дочь, сказал Ветров: Вера очень требовательна, и к себе и к другим. Уж за что возьмется, сделает так, что и подкопаться нельзя.

— Характер то у Веры Николаевны видать, как у лейтенанта Бурова, — вставил реплику Алеша. Онъ тоже командир требовательный. Машина то наша 217-ая самая образцовая в баталионе была.

— Попадало вам, наверное, от вашего лейтенанта, Алеша? — подтрунила над Першиным Анна.

— Без того не обходилось.

— Что-ж, в строю порядок необходим, — резонно заметил Николай Алексеевич. Он начал подробно расспрашивать Бурова о войне. Буров обстоятельно отвечал на вопросы, а сам приглядывался к лицам своих новых знакомых. Несколько раз во время завтрака он мельком заметил, как на него пристально смотрела Анна. У нее модные, медно-рыжие волосы, зеленоватые, с поволокой глаза. Вот опять эти глаза с задорной пытливостью, с манящим удивлением уставились на него... У ее брата, Павла, одутловатое лицо с маленькими глазками. Волосы у него белесые, зачесаны назад и топорщатся прямыми, жесткими прядями. Он не принимал участия в общем разговоре, что-то вполголоса рассказывал Наде, и та, не сводя с него глаз, казалось, застыла в каком то напряженном внимании.

В конце завтрака приехали давнишние друзья Николая Алексеевича: бывший инженер-путеец с женой, моложавой седой дамой, походившей лицом на маркизу. Молодежь встала из за стола и перешла в гостинную, а Ветров принялся угощать запоздавших гостей.

Надя стала просить Шетинина прочесть что нибудь из его новых стихов.

— Вы знаете, — обратилась она к Бурову с Першиным, — Павел у нас поэт, пишет изумительные стихи. Вот не знаю только, удастся ли мне его уговорить. Павел! ну, пожалуйста, ну, хоть одно ... самое коротенькое ...

— Ну, что с вами поделаешь? — сдался, наконец, Шетинин, сделав при этом притворно-ленивую гримасу. Басисто откашлявшись, начал:

В храм далекой своей мечты
Я стихами граню ступени.
Может быть, когда нибудь ты
В нем молитвенно склонишь колени.

Изумрудно-алмазным узором
Я украшу в том храме порог,
Чтобы с девственно-нежным взором
Ты вступила в любовный чертог.

Слушатели зааплодировали, причем Вера посмотрела на сестру с едва заметной лукавой улыбкой. Надя слушала декламацию Павла, и сердце замирало от восторга перед ним и от сознания, что он читает стихи, имеющие особый скрытый смысл, понятный только им двоим. А этот, искусственно пониженный, переходящий почти в шопот, голос, и даже насмешливая небрежность, с которой Павел мельком взглянул на нее, таили в себе такое очарование, что для Нади в тот момент уже не бы-

ло более дорогого и любимого человека, чем он, Павел Павлович Щетинин.

— Бис! Бис! — хлопала в ладоши Надя, глядя на Щетинина блестящими, восторженными глазами.

— Ну, еще что нибудь. Ну, пожалуйста, Павел, мы вас очень просим.

Щетинин прочел еще два стихотворения. Они были звучными, но мало понятными и, главное, грешили против правил стихосложения. В одном стихотворении Павел отвергал нежные чувства девушки, в другом роли менялись, и девушка отвергала его пылкую любовь. Больше читать Павел не стал. Кто-то предложил пойти на прогулку в горы. Все с радостью приняли это предложение и, быстро собравшись, отправились в путь.

Сначала шли по пологому травянистому скату. Дальше извилистая дорожка скрывалась в чаще росшего по склону горы перелеска. Подъем становился круче. Шли медленно, не торопясь, чтоб не устать. Иногда, в трудных местах подъема, Буров, шедший рядом с Верой, осторожно поддерживал ее за локоть, помогая взбираться по узкой тропе. Теперь по обеим сторонам дорожки вплотную подступала густая чаща деревьев и кустарника. Высокие сосны раскинули свои широкие игольчатые лапы, образуя густой, тенистый свод. Вперемежку с ними росли низкорослые, кряжистые дубки, какие-то голубоватые, стройные елочки, кипарисы и огромные, с оголенными красными ветвями, мадроны. Долго шли в этом темно-зеленом, глухом лабиринте. Потом, постепенно лесная чаща стала редеть. Снова сквозь ветви деревьев брызнули светлые лучики солнечного света, опять пахнуло раскаленным зноем. Перелесок кончился. Они вышли на открытый склон, покрытый выжженной солнцем травой и чахлым кустарником. Кое где торчали большие, высунувшиося из под земли камни, среди которых вилась узкая тропа, уходя к самой вершине горы. Далеко впереди, на серовато-землистом фоне яркими пятнами выделялась Надина блузка и пестрая гавайская рубаха Щетинина. Павел шел, обняв Надю за талию, часто поднимая свободную левую руку кверху, очевидно что то ей декламировал. Алеша с Анной шли впереди, шагах в двадцати. У Анны большой вырез на спине обнажил красноватый треугольник свежего загара, лоснившегося на влажной коже. Временами Анна с Алешей замедляли шаг, оборачивались, обменивались короткими замечаниями и снова шагали вперед, оставляя позади Бурова с Верой.

— Как странно складывается жизнь, — сказала Бурову Вера. — Если б случайно в разговоре дядя не упомянул о вас папе, мы бы вероятно никогда в жизни не

встретились. А теперь, мне кажется, что мы с вами давным давно знакомы. Правда, о вас мы еще мало знаем, гораздо меньше, чем о вашем папе. Вера улыбнулась, и вопросительно посмотрела на Дмитрия точно, молча, просила его рассказать о себе.

— Слишком много и долго пришлось бы говорить,— тоже улыбнувшись, ответил Буров, — вот пять лет жизни провел на войне. Ведь война вас не интересует?

— Нет, — откровенно созналась девушка. Да и вам самому, наверное об ней тяжело вспомнить. Лучше расскажите о Москве, о студенческой жизни, о балете, театре.

— Спрашивайте, Вера Николаевна, спрашивайте, что вас интересует. Все расскажу.

Вера стала расспрашивать, с большим тактом обходя такие темы, которые могли бы вызвать у Бурова неприятные воспоминания. Буров рассказывал и, слушая вопросы, которые задавала ему Вера, удивлялся ее осведомленности. Он так ей об этом и сказал. Девушка засмеялась.

— Ну, ведь мы читаем книги, журналы, ходим в кино, а главное нас просвещает папа. Вы бы знали, как он любит Россию и интересуется всем, что там происходит. Он много, очень много читает и всегда делится своими мыслями с нами. Скучно ему здесь, — продолжала Вера. Знакомых у него немного, то есть таких, с которыми он мог бы побеседовать. У других, то ведь взгляды разные. Надеюсь вы меня понимаете?

Буров молча кивнул головой.

— Ну, а мы. Мы с Надей — американки, — полушутя сказала Вера. У нас собирается американская молодежь. Все это для него не интересно. Но вы бы видели, как он всех приветливо встречает. Вобщем, — вздохнула она: старая, печальная история разлада отцов и детей. Нет, это даже не разлад. Мы папу очень любим. И он нас. Как бы вам это объяснить? Живут родные, близкие друг другу люди, а понятия у них разные. Каждый представляет себе вещи по своему. Ну, допустим, кто-то сказал слово — «роща». Папа и, вероятно, вы подумаете о березах, а я невольно представляю себе эвкалипты, которые когда-то росли здесь в моем детстве. И так во всем. О чем бы ни начинали говорить люди, слова и мысли, которыми обмениваются они, вызывают у них разные чувства, мысли, воспоминания. Словом, все то, чего они никогда в жизни не смогут и не согласятся забыть или переделать на другой лад.

Буров внимательно слушал Веру и радостно чувствовал, что та откровенность, с которой она говорила об отце, уже устанавливает между ними какую то тонкую связь. Они подходили к вершине горы, где отвесным пи-

ком возвышалась скалистая гряда. На ней, резко выделяясь на фоне яркого синего неба, стояли Надя с Павлом, Алеша, Анна и смотрели на запад.

— Оттуда прекрасный вид на океан, — пояснила Вера. — Ну, бежим, кто скорей, — крикнула девушка.

Пробежав несколько шагов, запнулась за что-то и, если б не поддержал ее Дмитрий, вероятно, упала бы. Оба, учащенно дыша, вскарабкались на вершину и подошли к самому краю отвесного каменистого обрыва.

Необъятная даль развернулась перед ними. Далеко внизу, теснясь вокруг залива, сливаясь в одно пестрое пятно, лежал совсем маленький городок. На его окраинах, в яркой зелени садов, чуть приметными светлыми пятнышками белели разбросанные домики-особнячки. А дальше темный бархат зеленеющих гор исчезал вдали постепенным переходом ярких красок в нежные, голубовато дымчатые тона отдаленных горных хребтов. И на воде тот же ровный, мягкий переход от сверкающей аквамариновой глади залива к широкому, бледно-голубому океанскому простору, уходившему в безоблачную небесную высь у горизонта.

Налюбовавшись вдоволь чудесным видом, спустились вниз со скалистой гряды, дошли до первой раскидистой, тенистой сосны и уселись под ней, жадно вдыхая в себя прохладный воздух, пропитанный пряным смолистым ароматом. После отдыха сил, как будто, прибавилось. Быстро и незаметно спустились с горы: сбегать с нее было легче, чем идти шагом.

Сели за стол позднее обычного. Во время обеда путейский инженер спросил Ветрова:

— А вы ничего не слышали о Янчевском?

— Нет, — как то неохотно ответил Ветров, — видимся очень редко, да, кажется, уже месяца два назад он куда-то уехал.

— Могу сообщить о нем новость. В сегодняшней газете прочел. Оказывается, вместе с какими то темными дельцами, занимался торговлей наркотиками. На днях его арестовали в Лос-Анжелосе федеральные агенты.

Николай Алексеевич удивленно посмотрел на говорившего, качнул головой и промолчал.

После обеда Николай Алексеевич, Денисов и путеец с супругой уединились в дальнюю комнату доигрывать преферанс. Молодежь сидела в полутемной гостиной. Все были утомлены прогулкой. Никому не хотелось двигаться, зажигать огонь или даже громко говорить. Вялый разговор, как то сам собой, прекратился. Наступила пауза настолько длительная, что все ее заметили, улыбнулись и решили чем нибудь разогнать это чувство усталости и какого то полусонного покоя.

— Что же мы сидим такие сонные, — проговорила Анна, нарушив общее молчание, — хоть-бы ты сыграла, Вера, нам что нибудь.

Вера грациозно присела к роялю и начала по памяти играть шопеновский ноктюрн. Чем то нежным и грустным звучали мелодия и тихие аккорды. Они намекали на что-то, хотели выразить что-то, еще непонятное, а только смутно осознанное. Может быть, в этих звуках изливались затаенная мечта, сдавленный порыв и девичья грусть ...

Бурову, сидевшему на диване, напротив рояля, было хорошо видно лицо Веры. Свет из под абажура лампы ложился на лицо и золотистые локоны волос. Эта рез кость свето-тени по новому обрисовывала спокойное, словно изваянное из мрамора, лицо девушки.

Какое гордое, бесстрастное лицо! И трудно сказать, добра ли она? Если-б добра . . .

Звуки рояля становились более уверенными, твердыми и решительными. Теперь они выливались в чудную мелодию, какую то неземную песню, от которой замирало в душе. Вот, прозвучали повелительно-властные, нетерпеливые аккорды. В них уже не было прежней робости и скрытой грусти. Силой и дерзким вызовом звучала каждая нота. И лицо Веры тоже преобразилось: широко открытые глаза сверкали внутренней, вырвавшейся наружу страстью. На нежной коже пылал яркий румянец.

Буров, сдерживая дыхание, слушал игру и восторженно смотрел на Веру: удлиненный и безукоризненный оклад лица, прямой лоб, большие васильковые глаза. В этих чертах запечатлелась тонкая одухотворенность древне-русской славянской породы. Это лицо приковывало Бурова к себе, что то знакомое было в нем. Где я видел его? Где? — старался вспомнить Буров.

Вера обернулась к нему лицом, опустив вниз пушистые ресницы. И тогда Дмитрий вспомнил давнишнюю девушку, лежавшую на смоленской земле с повязкой медсестры: те же золотистые локоны, гладкий, прямой лоб, тонкий точеный нос и длинные, пушистые ресницы. Сейчас, здесь, пройдя суровый и долгий путь, он нашел ее, снова ожившей на другом конце света. Та, убитая, была адля Бурова символом России родины, потерянной безвозвратно и навсегда. Кто знает, может судьба теперь дает ему что взамен, чтобы перенести тяжесть отрыва и одиночества ...

Уезжали от Ветровых поздно вечером. Через веранду вышли в сад и минуту все, молча, глядели на темное небо, усыпанное ярким звездным узором. Было тихо, только изредка со стороны шоссе доносился шуршащий шум

одиночных автомобилей, да порой слабый ветерок нежно шелестел листьями тополей. Стали прощаться. Бурова и Першина просили приезжать почаще и запросто. Затарахтел денисовский фордик, тронувшись в обратный путь.

Всю дорогу Буров думал о новых знакомых, о той случайности в жизни, которая устанавливала прочные дружеские отношения с симпатичной, радушной русской семьей. Милые люди. И эта замечательная девушка. Буров представил себе Веру за роялем настолько живо и ярко, что в ушах зазвучал знакомый отрывок шопэновского ноктюрна. Грустная мелодия переживалась теперь по новому, словно эти звуки пробудили его тоскующую и одинокую душу к новой, радостной жизни. Дмитрий настолько ушел в себя, что даже не заметил, как они уже подъезжали к Сан-Франциско, и все кругом заволокло густым, холодным туманом. Денисов ехал медленно. Снопы фар упирались в сплошную, непроницаемую серую завесу. Из нее выплывали мутно-желтые расплывчатые огни встречных автомобилей и медленно проходили мимо. Приятели добрались до дому перед полуночью. Уже, лежа в кроватях, долго обменивались своими впечатлениями от поездки к Ветровым.

— Душевный человек — Николай Алексеевич, — говорил полусонный Алеша. И хозяйственный. Дом то этот он сам выстроил, собственными руками. Вот тебе и старорежимный барин! А сад то какой. Много нужно работать, чтоб держать его в таком порядке. — Ты знаешь, Митя, — вдруг вспомнил об Анне Першин, — эта, рыжеволосая дамочка, рассказывала, что в кино играла. Можно сказать, холливудская звезда. Что то она все о тебе на прогулке расспрашивала — заинтересовалась.

Буров, желая переменить тему, перебил Першина.

— Ну, а — дочки?

— Старшая-то, видать, как кошка влюблена в этого увальня.

— В поэта?

— Какой там поэт. Этакую галиматью и я сочинить могу.

— Ну, почему же, Алеша? Это собый стиль.

— Рассказывай там, стиль — буркнул Першин. Стиль может и бывает у настоящих поэтов. А у таких-то, вместо стиля, одна дурость. Я тебе прямо скажу: нет на свете такого балвана, чтоб от безделья стихов не плел. Не поэт он, а нахлебник при генеральском столе. Ну, а, если женится, незавидный будет зять. Такую поэзию разведет, что и для работы времени не останется.

— А Вера? — спросил Дмитрий, стараясь придать сво-

ему голосу равнодушный тон, будто задал этот вопрос невзначай.

— Вера? — протянул Алеша и ответил не сразу. Трудно, брат, сказать. У нее этой деликатностью душа, как броней, скрыта.

XV. НОВОЕ ЗНАКОМСТВО.

Быстро и незаметно летели дни. Один за другим мелькали они, словно телеграфные столбы в окнах вагона, такие однообразные, поразительно похожие друг на друга, что даже казалось, будто только крестиками зачеркивались цифры и месяца на календаре, а день, все один и тот же, тянется бесконечным повтореним будничных мелочей. Этим тупым и тягучим чувством однообразия и скуки опустошалась и обесцвечивалась жизнь, словно, кто подменил ее каким то механизмом с огромной, упругой пружиной, которая вращает невидимые колесики и рычажки, заставляя жестяного человечка повторять одни и те же движения: ворочать головой вправо, влево, двигать руками, нагибаться и, закончив этот механический цикл, неподвижно застыть на мгновение, а потом снова ворочать головой вправо, влево и опять, и опять без конца, покуда не сотрутся зубцы на колесиках. Тогда сломанного жестяного человечка заменят новым. И этот новый, штампованный дубликат прежнего, сломанного, которого уже выбросили в кучу мусора, будет опять повторять все одно и то-же, одно и тоже.

Каждое утро, за пять минут до того, как будильнику следовало наполнить комнату тревожной металлической дробью, Буров и Першин просыпались. Скрытое где то в глубине мозга, сложное сплетение нервных клеточек и волокон, подчиняясь неизменному порядку повседневной жизни, работало с точностью часового механизма. Приятели быстро вскакивали с кроватей, умывались, наспех выпивали чашку кофе, а потом торопливо шли на ближний угол, где их подбирал автобус. Первым выходил из автобуса Алеша. Несколько минут спустя, в белой парусиновой робе и пилотке с эмалевым значком компании, он уже суетился возле газолиновых колонок, куда вереницей тянулось прожорливое железное стадо. Алеша наполнял газолином танки, проверял воду, масло, шины. В работе проходили часы, а жадное стадо все шло и шло, и казалось, не будет конца этому ненасытному, бесконечному железному потоку. С голодным ревом проходили между рядами колонок: чопорные аристократы — паккарды, эксцентричные каддиллаки с лохматыми пудельками на задних сидениях, среднего достатка бюики и даджи, мещанская гордость — шевроле-

ты и форды. Проходили: старые и молодые; щеголи и неряхи; цветущие молодцы и безнадежные калеки, ловкие, увертливые бегуны и ротозеи с синяками, царапинами и помятыми боками. Проходили неутомимые путешественники, оклеенные яркими ярлыками всевозможных парков, курортов и отелей и многосемейные, пузатые фургончики, набитые шумливой детворой и визгливыми щенятами. Алеша стоял у колонки, пропускал по очереди мимо себя машины, заправляя их с той скупой затратой движений, которая экономит время и обеспечивает быстроту и продуктивность работы. Да иначе и нельзя: лишне-потраченные секунды могут создать затор, беспорядок и бестолковую суетню машин.

Каждый день все одно и то-же. Мимо Першина проходят машины. Они чавкуют, сопят, утоляют свой машинный голод и несутся дальше. Сам Алеша маленький жестяной автомат, ворочает головой вправо, влево, двигает руками, нагибается, потом застыв на минуту у кассы, отсчитывает сдачу. И опять... и опять ... Его предшественник-жестяной человечек разбился на мотоциклетке. Теперь он, Алеша, штампованный дубликат прежнего, будет повторять одно и то же месяца, годы, покуда не сотрутся зубчатые колесики . . .

А Буров доезжал до огромного, серого бетонного корпуса и входил в длинный корридор. Торопливо совал свою карточку в узкий прорез под часами и пробивал ее. Потом одевал синюю рабочую блузу и шел в цех. Уже издали, через стены доносятся оттуда тяжелые удары прессов и слитный гул машин. Они стоят одна за другой длинными рядами. Возле первой машины лежат столбики нарезанных листов. Она жадно вбирает их в себя, штампует и выбрасывает вон. Блестящий металл взвивается на элеваторе вверх, стремительно проносится на конвеере под потолком и падает вниз к следующей машине. Опять взвивается и снова падает, покуда не проваливается сквозь пол, в нижний этаж, где женщины упаковывают его в картонные коробки.

Натужным воем гудят вентиляторы, втягивая в себя удушливые испарения каких то лаков, кислот и дыма, и все же сизый туман колеблется в воздухе, наполняя цех горьковатым запахом.

У одной из машин стоит Буров. Целый день он кладет в особый желоб столбики металических кружков. Кружки, быстро скользя по желобу, уходят во внутренность машины. А покуда они не исчезли все до одного, Дмитрий берет новую пачку, срывает с нее бумажную обертку и кладет в желоб. Он знает, что, если случайно, почему то желоб опустеет, вдоль линии тревожно заревет сирена, замигают красные лампочки, и вся линия из

десятка больших и малых машин оцепенеет и смолкнет.

Так проходят дни. Вчера, сегодня, завтра — все одно и то же, одно и то-же: каждый день десятки тысяч блестящих металических кружков в пачках обернутых желтой бумагой. Предшественник Бурова — жестяной человечек спился и ушел с работы. Зубчики стерлись, и сломанный человечек-автомат где то ржавеет в куче мусора. Теперь он, Буров, штампованный дубликат прежнего, будет повторять одно и то-же недели, месяца, года, покуда не сотрутся зубчатые колесики.

Вечером сразу после работы приятели встречались в ресторанчике и, пообедав там, шли домой. Жили они в старом, большом доме, где сдавались дешевые комнаты. По узкой, темной лестнице поднимались на третий этаж, потом шли по корридору, где, от изношенной грязной ковровой дорожки на полу, воздух был пропитан противной, душной затхлостью. Вместительная комната была обставлена ветхой, Бог весть откуда, собранной мебелью: две железных кровати, фисташкового цвета комод, с потускневшим зеркалом и украшенный свеже наклеенными переводными картинками, столик на тощих ножках и два стула. На стене дешевая олеография в пышной золотой раме, изображавшая полуголую танцовщицу с поднятым над головой бубном. На всем этом старом хламе лежал отпечаток ни ветхости и даже ни бедности, а скорей какой то пошлой мещанской безвкусицы, от которой в первое время Бурова коробило.

По вечерам, сидя в этой комнате, утомленные трудовыми буднями и еще больше скукой, приятели мечтали о воскресном дне, когда можно будет поехать к Ветровым. Перед концом недели Дмитрий все чаще и чаще думал о тихом, гостеприимном доме и о самом Ветрове, школьном друге его покойного отца. Какой это на редкость твердый осколок старой русской культуры: широко образованный, корректный умудренный долгим жизненным опытом. К этому благородному, приветливому старику Буров теперь питает крепкую, почти сыновнью, привязанность И Вера опять сядет к роялю, а он, не отрывая глаз, будет любоваться ею. В ней до боли все дорого и близко Дмитрию: и матовое бледное лицо с едва заметным прозрачным румянцем, и большие, задумчивые, васильковые глаза, и золотистые пряди локон и даже то равнодушное спокойствие, с которым она всегда обращается к нему. И от этих мыслей о Вере углубляется и усиливается в нем неодолимое очарование этой девушкой . . .

Мечтает о поездке к Ветровым и Алеша. О том, как после завтрака пойдут на прогулку. Там на вершине горы свободней вздохнет Алеша. Распахнется на просторе

русская душа и далеко, в безпредельную глубину голубого неба, унесется Алешина песня. Этой чужой, незнакомой песне будут внимать холмы и леса, а Першину она теперь еще дороже, еще ближе, потому что поет он ее на чужбине. Вместе с ней вырвутся упрятанные глубоко в душе чувства: и тоска по родине, в которой Алеша никому никогда не признается, и буйный, молодой прилив бодрости, и вера в лучшую жизнь, которой пока еще нет, но которая когда нибудь да наступит. Непременно придет она ... Выбьется в люди Алексей Першин. Надо только терпеть, как когда-то терпел он в ржавом котле.

Очнувшись от своей мечты Алеша говорит Бурову:

— Я думаю, кар бы купить надо. Без него, как без рук. Вот к Ветровым, скажем, поехать. Николая Ивановича в городе сейчас нет, а у Щетининых одолжаться неохота. Да и, вообще, по другим местам поездить. Калифорнию посмотреть.

— Что ж, это не плохо. Только если б не дорогой, соглашается Дмитрий.

У Алеши слова не расходятся с делом, и свои решения он не любит откладывать в долгий ящик. На следующий день перед домом стоял серенький двухдверный автомобильчик. Это был старый ветеран хай-веев, обшарканный, с протертой местами до дыр обивкой на сиденьях. Его счетчик давно уже дошел до предельной комбинации цифр и теперь повторял свой счет сначала, как делал это лет десять назад, когда резво и весело носился в буйном упоении своей молодости и силы. Но это, видимо, не смущало Алешу. Он гладил своего стального коня по облезлой крыше и уверял Бурова, что в автомобиле самое главное — мотор, а мотор он заменил, хотя и подержанным, но добросовестно отремонтированным.

Всякий раз перед тем, как собраться к Ветровым, приятелей мучила назойливая, беспокойная мысль: уж больно мы зачастили туда. Правда, их всегда радушно принимают и, прощаясь, неизменно приглашают опять. Ну, а все таки, так часто ездить неудобно. И тогда гениальный комбинатор-Алеша начал выискивать всякие предлоги к частым посещениям ветровского дома. Прежде всего осмотрел грузовичек, на котором Николай Алексеевич развозил свои заказы. Нашел в нем много мелких неисправностей: надо сменить изношенные тормозные прокладки, прочистить свечи, отрегулировать зажигание и много еще другого, что надо подтянуть, прочистить, отрегулировать и смазать. Ветров сначала отказался, но Алешины доводы были так убедительны и просьба так настойчива, что Николаю Алексеевичу пришлось согласиться.

— Ну, что-ж, Алеша, делайте, скажите только, сколько это будет стоить.

— Что вы, что вы, Николай Алексеевич! Да как же с вас я деньги буду брать? Нет, уж разрешите отблагодарить за гостеприимство. Уж будьте добры! По знакомству!

Стали приезжать чаще. Алеша добросовестно возился с грузовичком и, закончив свой урок, проводил остаток дня уже на положении гостя. Буров тоже не сидел, сложа руки: Стриг машинкой газон, окапывал клумбы, спиливал сухие ветви деревьев. Однажды, вместе с Ветровым, он поехал куда то миль за десять на ферму. А потом, вернувшись в город, по вечерам рассчитывал и чертил детали какой то деревянной конструкции, которую должен был изготовить Ветров.

Приятели приезжали к Ветровым, нагруженные разными кульками и свертками. Предстояло самое трудное: внести всю эту снедь на кухню. Это надо было сделать тонко, с увертками и объяснениями — не просто, мол, купили и привезли. Ветров, глядя на привезенные покупки, переставал улыбаться и неодобрительно качал головой. Но особенно придирчивой была Вера. Приятели покупали все это вскладчину, а выдумывать и оправдываться всегда приходилось Алеше. Буров обычно стоял в стороне или старался перевести неприятный разговор на другую тему.

— Алеша, вы же только на прошлой неделе обещали ничего больше не привозить — возмущалась Вера.

— Точно. Не отказываюсь. Но, как получилось: приятель собственноручно поймал, по знакомству ему закоптили, вот он мне и отделил часть ...

Стоявший в стороне Дмитрий, нетвердым голосом вставлял: Да, говорят, сезон неслыханный на кету. Один выудил рыбину в 70 паундов самой обыкновенной удочкой. В газете фотография даже была ...

— Несите назад в кар, — не унималась Вера.

— В такую жару целый день — в каре? — горестно восклицал Алеша, — испортится, растает ...

— Положите в рефрижиратор, только не забудьте захватить, когда будете уезжать.

— Ну, хоть немножечко бы отрезать на завтрак, остальное увезем, обязательно увезем.

Вера, недовольно пожимая плечами, уходила. Алеша виновато плелся с покупками в кухню. Только одна Надя относилась сочувственно. Поблагодарив Алешу, разворачивала сверток с балыком и к нему в придачу селедку, соленые грузди, халву, бруснику и бублики, —все то, чего нельзя достать в обыкновенных американских лавках ...

**
*

С Павлом Надя Ветрова познакомилась несколько лет назад на вечерних курсах живописи, и с тех пор брат и сестра Щетинины стали постоянными гостями в доме Ветровых.

В Америку Щетинины приехали за два года до депрессии, в начале тридцатых годов. Павел поменял свою фамилию на более благозвучную --Шервуд и стал учиться живописи. Занятия эти тянулись много лет, с долгими и частыми перерывами по многим обстоятельствам, главным из которых было отсутствие таланта и призвания. Все же, Щетинин-Шервуд извел не мало краски и полотна в надежде достичь известности в том особом роде живописи, где нельзя разобраться — талантлив или бездарен художник, владеет ли он вкусом и техникой, или это невежество и шарлатанство.

Вымазав яркими, пестрыми мазками кипы картонных листов, Павел отправился в Холливуд за славой и деньгами. Там, после долгих мытарств, ему, наконец, удалось устроиться в студию, где он несколько месяцев покрывал фон стереотипных кадров для картонажей Диснея. Потом разразилась депрессия. Щетинина уволили с работы по сокращению. Пришлось вернуться назад в Сан-Франциско. Павел Павлович тогда же решил, что искусством в теперешние времена не прокормишься и, поменяв кисти и краски, стал красить не картонажи Диснея, а стены и потолки квартир.

Когда увлечение живописью у Павла Павловича окончательно прошло, он занялся поэзией. О своих поэтических дарованиях Щетинин был очень высокого мнения, считал себя поэтом недюжинного таланта - искателем новых путей. И, как подобает людям очень одаренным, избалованным вниманием, среди знакомых держал он себя независимо и, пожалуй, даже немного свысока, говорил с апломбом, полупрезрительно, полурассеянно, цедил сквозь зубы слова.

Когда Павел появлялся в доме Ветровых, Надя чуть-чуть нарядней одевалась, душилась из маленького флакончика с дорогими духами, делалась оживленней и говорила с едва уловимыми нотками девичьей радости.

Вместе с братом пытала свое счастье в Холливуде и Анна. Там она познакомилась с молодым испанцем-звездой третьей величины. Испанец иногда подвизался на амплуа южно-американских плантаторов, экзотических кавалеров и гаучо. Быстро расцвел и завял между ними роман, знойный, как аргентинский полдень и кратковременный, как вспышка магния. Анна, разочаровавшись в Холливуде и мужской верности, вернулась в Сан-Фран-

циско, выучила стенографию, переходила из конторы в контору, и, наконец, уже кажется прочно, устроилась в небольшой, недавно учрежденной фирме по продаже подержанных автомобилей Уайт энд Сон Мотор Ко.».

**
*

Летом, когда над Сан Франциско висят холодные, сырые туманы, сквозь которые редко пробивается солнце, Щетинины, почти каждую неделю, наведываются к Ветровым. Павел большую часть времени проводит с Надей, а Анна, едва успев поздороваться с Ветровым и дочерьми, уже ищет глазами Бурова, улыбаясь подходит к нему с таким видом, будто главная цель поездки для нее, именно, и заключается в том, чтоб встретить Бурова и потом целый день не отходит от него. Когда идут к столу, Анна садится рядом с Дмитрием, выйдя из за стола, опять усаживается около него на диване. Буров чувствует прикосновение ее плеча, запах крепких духов, даже теплоту ее тела, и, ему кажется, будто что то липкое и мутное обволакивает все его существо и присасывается к нему жаркими губами.

Все окружающие уже давно заметили, что Буров нравится Анне, и она не хочет и не умеет скрывать этого: разговаривает с ним то нежно, то резко, подолгу пристально глядит на него своими зелеными с поволокой глазами, словно давая понять ему свои чувства, а потом, не встретив ответного взгляда, на короткое время меняется, и смотрит на него уже мельком: холодно и заносчиво. И от всего этого у Бурова шевелится какое-то досадное, недоброе чувство.

— Зачем она приехала и теперь сидит с ним рядом, так близко, почти прижавшись к нему, курит из длинного мундштука, часто поправляет свои рыжие волосы, обнажая до плечей полные, круглые руки, и рассказывает о своем неудачном холливудском романе?

Буров слушает Анну невнимательно, иногда оглядывает ее неподвижным, холодным, но вежливым взглядом и потом переводит его на Веру. И тогда взгляд меняется, становится печальным и вопрошающим.

— Зачем она приехала? Без нее он сел бы возле Веры, шутил, разговаривал, рассказывал бы о Москве. Зачем она отрывает его от Веры, так грубо и бессмысленно? А Вера будто не замечает, что он тяготится всем этим, упирается, тянется к своему неизведанному светлому счастью. Она не хочет помочь ему избавиться от этого медно-рыжего, упорного, надоедливого существа, которое отравляет ему те радостные часы, о которых он так мечтал, когда собирался к Ветровым.

Долго грустным и ласковым взглядом смотрит на Веру Буров. Анна ловит этот прикованный к Вере взгляд,

и чутьем настороженной самки с тоской и гневом угадывает то, чего не замечает Вера, и следит за Дмитрием с беспокойным, ревнивым и негодующим чувством.

***

После завтрака Ветров собрался в город на русскую картину. Предложил остальным присоединиться к нему, но молодежь отказалась от поездки, предпочитая пойти на прогулку в горы. Опять взбирались по той же самой дорожке, когда ходили на прогулку в первый день знакомства. Надя, как обычно, шла с Павлом. Анна, по-видимому, желая вызвать ревнивое чувство у Бурова, шла с Алешей, временами обнимая рукой его плечи, о чем то говорила и неестественно громко смеялась.

День был знойный. Никому не хотелось в такую жару идти по солнцепеку и взбираться на раскаленную каменистую гряду. Дойдя до знакомой развесистой сосны, расположились на отдых под ее густой прохладной тенью. Алеша захватил с собой на прогулку аккордион. Сыграл на нем «Березку», «Темную ночь», «Яблочко». Играл он вяло, без обычного подъема. Жара действовала на него и на слушателей. Отложив аккордион, откинулся к стволу и обменивался вялыми, короткими фразами с остальными. Потом Павел продекламировал стихи, тоже монотонным, сонливым голосом, так что даже Надя на них реагировала очень сдержанно, а остальные даже и не вникали в их смысл.

Солнце уже спускалось к океану, когда они подошли к скалистой вершине. Взобравшись на нее, долго любовались закатом. Все кругом было залито яркими красно-желтыми лучами, в которых зыбился и мерцал океанский простор. Казалось самый воздух вокруг был напоен какой-то золотистой, прозрачной пылью. Внизу, на склонах гор, пылали багровым пламенем вершины деревьев, точно охваченными лесным пожаром.

Павел с Надей стали спускаться со скалы вниз, за ними последовали Анна с Алешей. И только Вера, очарованная эффектным зрелищем, все еще продолжала стоять у края обрыва. Ее волосы, пронизанные заходящими лучами, как корона отливали червонным золотом. Тоненькая прядь упрямо отделилась от прически и вилась над головой золотой паутинкой. В этот момент на Дмитрия нахлынуло такое огромное чувство очарования, что он уже не мог ни скрывать, ни прятать его. Вот оно его счастье! Больше ничего не надо. Ради него можно все забыть, со всем мириться, все отдать: душу, жизнь, все . . . В каком то полусне, не отдавая себе отчета, помимо воли охваченной сладкой нестерпимой болью сказал:

— Чудная вы девушка, Вера! ...

Взял бережно ее руку, поднес к губам. Вера быстро отдернула руку, отшатнулась от него испуганно и недовольно. Потом, тотчас же овладела собой, улыбнулась с каким-то вежливым, удивленным холодком и, торопливо стала спускаться по крутой дорожке вниз, стараясь догнать Анну и Алешу. Следом за ней медленно спустился Дмитрий и весь обратный путь шел чуть-чуть позади всех. Шел молча, не принимая участия в общем разговоре.

Вернувшись домой, сидели в гостиной. Опять Анна была возле Бурова, курила из длинного мундштука, рассматривала на запястьи массивный серебрянный браслет с бирюзой, заглядывая в лицо Бурову, говорила:

— О чем вы задумались? Расскажите что-нибудь нам. Ну, хотя бы вот о любви. Вы кого нибудь любили?

Вопрос был настолько неожиданным и нелепым, что Буров изумленно уставился на Анну и продолжал молчать.

С удивлением посмотрел на сестру Павел, щуря свои маленькие глазки. Даже он, привыкший к ее эксцентричным выходкам, был немного озадачен таким вопросом.

— Если даже и да, то почему же он должен об этом всем рассказывать?

— Да уже просто по одному тому, что эта интересная и жизненная тема, — не унималась Анна.

Павел немного помолчал, а потом предложил:

— Хотите, я вам расскажу историю на эту тему. Сюжет замечательный и глубокомысленный. Жаль только, что нельзя его изложить в стихах, а то получился бы новый «Фауст».

— Да, да, пожалуйста, Павел, — оживилась Надя. К ней присоединились и остальные.

ТЕОРИЯ ЛЮБВИ ЩЕТИНИНА.

Ну, так вот, — начал Павел, — жил на свете один чудак — молодой, здоровый, богатый, который влюбился в девушку и так боготворил ее что дни и ночи проводил в мечтах о ней. Вобщем, подменил он настоящую, подлинную жизнь, каким то одним напряженным, сосредоточенным чувством, а, она, которой было суждено стать столь любимой и перевернуть вверх дном целую человеческую жизнь, отнеслась к этому довольно холодно. Когда этот чудак, наконец, убедился, что ждать взаимности бесполезно, ему, как он решил, оставалось одно: пустить себе в лоб пулю. Как видите начало довольно, банальное — старый, избитый мотив о неразделенной любви. Слушайте дальше! — Написал он предсмертное письмо, в последний раз посмотрел на портрет девушки, висевший на стене, приложил к виску дуло и . . . и слы-

шит, что за его спиной, кто-то по собачьи, тихонько проскулил. Обернулся назад, видит — чорт! Чорт юлит, виляет хвостом, семенит ножками и хихикает.

— Тебе что здесь нужно? — спросил чорта самоубийца, — зачем ты тревожишь мой скорбный рок?

Чорт лягнул копытцом и грустно вздохнул.

— До чего же ты, братец, глуп! Ай-ай-ай .. как глуп! С такой святой глупостью тебя даже в ад не пустят!

— Пошел отсюда вон! Слышишь? — прикрикнул на чорта неудачник.

Ну-ну! Ты тоже не особенно! — строго и гордо огрызнулся чорт. — Не забывай с кем разговариваешь! Захочу, так через минуту твоя девушка будет вот здесь, перед тобой на коленях стоять и каяться.

Самоубийца опустил револьвер и положил его на стол.

— Ты не шутишь?

— Какие там шутки! Сначала давай-ка с тобой поговорим серьезно. Ты вот из за неразделенной любви стреляться решил, а знаешь ли ты, что такое любовь?

— Тебя еще не спросил!

— Нет, ты вот лучше скажи, — допытывался чорт, — откуда у тебя все эти представления о любви? Своего собственного опыта ведь у тебя нет?

— Нет! — сокрушенно признался самоубийца.

— Тогда откуда же все это?

— Ну, как откуда? Из книг ... оперы, драмы ...

— Поди, ты Шекспира и Гете читал?

— Читал.

— Ну, так и есть, так и есть! — махнул копытцом чорт. — Странные вы люди. В чем другом разбираетесь очень тонко, а вот, как дело коснется любви, вся логика на смарку! Ты вот в жизни, что предпочитаешь —страдание или радость? Ну, хотел бы ты, скажем, заболеть апендицитом, потерять сто тысяч, попасть в тюрьму?..

— Праэдный вопрос.

— Совсем не праздный. Почему же вы в любви занимаетесь таким самоистязанием? В жизни у вас любовь-драма. В литературе любовь — тоже трагедия. У вас даже и оперы пишутся по какому то мрачному трафарету: певцы прекрасные, музыка дивная, а на сцене — одно безобразие: друг друга режут, стреляют. Это вместо того, чтобы радоваться, веселиться, наслаждаться. Эх! ... ничего то вы не понимаете в любви! А понять то ее не трудно, — продолжал чорт, — нужно только помнить, что любовь — физика, а не метафизика! Понимаешь? Чистая физика! Белизна кожи, губки бантиком, стройная фигурка, маленькие ножки. И, конечно, как главный физический закон — движение ... Необходима новизна,

смена, разнообразие впечатлений, этакая устремленность вперед, своего рода "perpetum mobile". Человек увлечен не объектом своей любви, а самим процессом достижения поставленной цели. Если цель уже достигнута, наступает скука, апатия, пустота, которые можно устранить опять-таки только новой целью, временным объектом. Любовь, это вроде как езда на велосипеде: остановишься — непременно упадешь. Ты вот мечтаешь о своей возлюбленной, потому что видишь ее всегда кокетливой, веселой, доброй, изящно со вкусом одетой. Так это все не настоящее, искусственное. Ее тоже, как и тебя влечет временная страсть, если не к тебе, так к кому-то. А через полгода улягутся ее страсти, пройдет ее любовный пыл, и она станет, какой есть на самом деле: мелочной, сварливой, неряхой ...

— Ну, а душа? — как то неуверенно спросил у чорта собеседник.

— Душа? — ухмыльнулся чорт. — А почему же ты, братец, выбираешь душу непременно с привлекательной наружностью, а? Почему, например, не выберешь невзрачную, горбатую, кривоногую, но действительно добрую? Или скажем, вдруг бы твоя возлюбленная заболела оспой? А ну-ка, полюбуйся! ...

Чорт махнул копытцем в сторону, где висел портрет. Из него теперь смотрело обезображенное страшными следами оспы лицо девушки, и глаза ее уже не сверкали прежним блеском, а глядели страдальческим взглядом.

— Ну, так вот, — проговорил чорт, собираясь очевидно, уходить. — Теперь, как хочешь, дело твое. Про велосипед ты, все таки, не забудь!

— Подожди, подожди, — остановил чорта молодой человек. — Скажи-хоть, почему ты так меня отговариваешь? Ведь самоубийство, говорят, грех!

— Кто это тебе сказал?

— Как кто? В церкви!

— Слушай больше. Церковь, вот, осуждает любовь без брака и благословляет брак без любви. Так это по твоему тоже правильно? Нет, брат, если самоубийца ради любви жертвует жизнью, он — не грешник, а святой! Иначе то он больше нагрешит. Ну, пока! И, попращавшись, чорт исчез в каминной трубе ...

Павел кончил свой рассказ. Минуту все молчали. Надя посмотрела на Щетинина серьезным, долгим взглядом, в котором вспыхнул холодный, злой огонек, потом спросила:

— А вы, Павел, разделяете взгляды чорта?

— Отчасти, да!

— Значит, по вашему, любовь это только мимолетное чувство, которое начинает притупляться, именно, в тот момент, когда встречает взаимность? Как в стихах Над-

сона, — «Только утро любви хорошо» ... помните?

— Да, помню и думаю, что это именно —так! — упрямо настаивал Павел.

Надя сжала губы и потом спросила уже упавшим глухим голосом:

— В вашей истории, собственно, взяты два литературных типа: один — купринский Желтков из «Гранатового браслета», а другой . . . другой Санин. Кого же из двух выбрали-бы вы?

— Ну, уж, конечно, не Желткова, — запальчиво ответил Щетинин.

— А я бы предпочел Желткова, — тихо сказал Буров. Все удивленно взглянули на Дмитрия, котоый весь вечер сидел молча, рассеянно слушал рассказ про чорта и вдруг, как то неожиданно, вмешался в разговор Нади с Павлом.

— Наконец то, лейтенант, проснулись! — засмеялась Анна. Почему же, именно Желткова? Объясните.

— Конечно, я не совсем оправдываю поступки Желткова, — начал Буров, тем же тихим голосом. Но, ведь в данном случае, вопрос ставится именно так: или-или. Желтков или Санин, трагедия или пошлость. Да, собственно, за что уже так нападать на него, на Желтковато? Может быть повесть сама по себе не реалистична, и в жизни этого никогда не могло бы случиться, а если-б и случилось так, что какой-то незаметный, бесцветный человек стал преследовать женщину из высшего аристократического круга, к тому же совершенно не зная ее, его бы сочли за маниака. Но сама по себе фабула в данном случае и не важна. Представьте себе, что Желтков был бы знаком с той же самой девушкой, которая впоследствии стала княгиней Шеиной. Что же тогда сказать? Неравенство в общественномъ положении? Нарушение морали или еще что нибудь? Может быть в жизни все это и очень важно, но мы сейчас говорим о любви, о ее, так сказать, высшем ,напряженном проявлении.

Внешность, женская красота, конечно, имеют огромное значение — они первоначально вызывают симпатию. Но рост физического влечения перерастает себя, принимает одухотворенные формы. И такая любовь уже не расчитывает как-бы удобнее и легче продлить плотское наслаждение. Настоящую любовь ничем не притупишь, не застращаешь и не опошлишь. В честь нее пишут трагедии и оперы. А для всего остального — оперетки и фарсы. Земное существование людей было бы поистине невыносимо, если б жизнь не одарила их драгоценным даром — любовью. Но люди не всегда ценят этот дар. Не понимают они ее могучей силы, величия и красоты. Любовь осмеивают, бесчестят. Делают ее предметом

сделки, расчета, средством обогащения. Опошливают ее дешевой и лицемерной моралью. И оскорбленная любовь мстит людям. Она уходит, отнимая у человека светлую радость и счастье. Любовь, только что пробужденная, гибнет, трагично сближая начало с концом. И когда находятся редкие избранники любви, на них накладывает она непосильное, тяжкое бремя. Они гибнут, но и в гибели горды сознанием величия своей жертвы. Неразделенная любовь, о которой вы упомянули, не умаляется от того, что заключена в оболочку только одного сердца. И этот Желтков, которого все высмеивают, глубоко трагичен своей жертвой, своим одиночеством. Этот печальный избранник любви ушел из жизни без ропота, без стона и жалоб. Он ушел с горьким сознанием, что любовь это — великое страдание и великая тайна.

Все слушали Бурова с напряженным вниманием: никогда не говорил он так продолжительно и с такой убедительностью. Начав тихо и спокойно, он постепенно повышал голос, твердо, отчетливо с паузами чеканя слова и повидимому был очень возбужден.

Когда Буров кончил говорить, раскрасневшаяся Анна долго трясла его руку и видимо, слова Дмитрия произвели на нее сильное впечатление. Зарделась румянцем Надя и долго хлопала в ладоши. И только одна Вера слушала, слегка опустив голову, а потом мельком взглянув на Бурова, обратилась не к нему, а к Павлу:

— Дмитрий Александрович говорил очень красиво и ярко, но не убедительно, по крайней мере не убедительно лично для меня. Ни одна благоразумная женщина не стала бы ценить и уважать ни Санина, ни Желткова, потому что первый из них — пошляк, а второй — неврастеник. А эгоисты они — оба. Да еще вопрос, кто из них более эгоистичен? Желтков ведь покончил, не потому что Шеина отклонила его нелепое приставание. Ни один мужчина не покончит с собой только из за того, что женщина не ответила ему взаимностью, или не сблизилась с ним интимно. Он застрелился от того, что было уязвлено его самолюбие. Шеина оскорбила его самовлюбленность. Во всей этой нелепой любви он только думал, прежде всего, о себе. На что, вообще, мог расчитывать Желтков? На какую то чудовищную жертву, когда женщина, не только не любя, но даже совершенно не зная, должна была благосклонно принять его подарок и всю жизнь думать о том, что любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее? Это какая-же, особенная любовь, о которой все мы должны мечтать? Как могла практически осуществиться такая любовь между княгиней и мелким чиновником? Развестись с мужем, переехать на чердак и штопать нищему чиновнику ды-

рявые носки? А самоубийство? Как оно было обставлено? Желтков не покончил с собой тихо, без саморекламы. Своим письмом он хотел только одного—мстить после смерти своей невинной жертве, терзать ее вечно мучительным сознанием, что она, пусть даже косвенно, но все-же является виновницей его смерти. Нет! И Желтковы и всякие там велосипедисты, да и вообще все мужчины — страшные эгоисты. Думаете ли вы о женщине, что ждет ее после брака? Велосипедисты даже и не допускают брака, на нем они не задержатся, проедут дальше. Но, если вы не думаете о женщине, то она должна думать сама. Женщина слабее, и это инстинктивно заставляет ее заботиться прежде всего о себе. В мужчине она ищет не велосипедистов и не неврастеников, а опору — сильную, надежную. Ей нужен материально обеспеченный брак и спокойный, уравновешенный муж. Это самое главное. А любовь, о которой говорил Дмитрий Александрович, — теперь не соблазнит даже и 15-ти летнюю девочку, напичканную сантиментальными романами.

— Значит, ты признаешь только любовь с расчетом? спросила Анна.

— Не совсем так. Ну, говоря очень грубо, да!..

— Ты не шутишь?

— Нисколько, я говорю это совершенно серьезно!

— Знаешь, у меня есть на примете один американец. Молодой, интересный. У отца полумиллионное дело, да и сам он зарабатывает тысячи полторы в месяц. Хочешь, познакомлю?

— Что-же, знакомь. Посмотрим, что из этого выйдет. Сказав это, Вера засмеялась холодным металлическим смешком, который отозвался в груди Бурова глубокой, ноющей болью. Точно кто то полоснул его по сердцу острым ножом.

XVI. ВЕЧЕРИНКА У ВЕТРОВЫХ.

Июль на исходе, а там уже не за горами день рождения Веры, который в доме Ветровых отпразднуют веселой вечеринкой. При жизни Наталии Ивановны установился семейный обычай праздновать помимо общих именин, еще и день рождения обоих дочерей. Именины справлялись всегда тридцатого сентября по новому стилю. Если они приходились на будни, к Ветровым вечером, после работы, собирались близкие друзья и ждали приезда отца Феодора. Он, шурша рясой, грузно вплывал в гостиную, не спеша одевал эпитрахиль и служил краткое молебствие святым мученицам Вере, Надежде, Любви и Софии. Потом, преподав благословение, входил в столовую, благословлял трапезу и минуту стоял,

сложив на животе пухлые руки, благодушно оглядывая стол, обильно заставленный закусками, пирогами и жареной индейкой . . .

День рождения Веры или Нади праздновался по иному. В ближайшую субботу устраивалась вечеринка, на которую приглашалась молодежь. Вместо обеда для гостей сервировали hors d'oevre с миниатюрными бутербродами, всевозможное домашнее печение, сладости и легкие вина. Наталия Ивановна торжественно вносила большой, заказанный в кондитерской торт, украшенный разноцветными маленькими свечами, к которым каждый год прибавлялось по одной новой. Виновница торжества дула на свечи и тушила все до одной под пение, смех и аплодисменты.

Как быстро летит время! Теперь сам Ветров вносит в столовую этот традиционный торт, на котором заметно прибавилось свечей. А гости — школьные друзья, когда то девочки и мальчики, те кто учились вместе с сестрами в «хай-скул» выросли, многие переженились, и сами у себя дома вносят в положенные дни тортики, на которых радостными огоньками горят две или три маленьких свечки.

По вечерам, вернувшись с работы Вера и Надя советывались о покупках, которые нужно сделать в городе и составляли список гостей. Давнишние, хорошие знакомые имена! Новые только Буров с Першиным, да брат и сестра Уайт, о которых все время так настойчиво твердит Анна.

В этом году день рождения Веры приходился на четверг и вечеринку, как обычно отложили на субботу. Бурова и Першина пригласили задолго до намеченного дня, давая тем самым понять, что до этого их в гости не ждут. Да и сестрам Ветровым было не до гостей. Тем более, что из гостиной вынесли и увезли старый диван и два кресла. Дней десять спустя они вернулись на свои обжитые места неузнаваемыми, будто это вовсе и не они — старые ветераны, почти ровесники самой гостиной, а какие то незнакомые, модные франты, сияющие свежестью новой обивки. В углу, между диваном и креслом, появились новички: треугольный блестящий столик красного дерева и на нем красивая, обтянутая темно - зеленой кожей, лампа с изящной золотой опояской и большим, тоже обтянутым зеленой кожей абажуром. Часто в тот вечер Надя с Верой забегали на минутку в гостиную взглянуть на мебель. Поправляли кружевные салфеточки, обменивались замечаниями о сочетании новых цветов и торопливо шли назад в кухню. Там они перелистывали большую в потертой клеенчатой обложке

тетрадь, внимательно перечитывали кулинарные рецепты, записанные когда то рукой матери, а потом отмеряли, сыпали всякую всячину. Все это они перемешивали, взбивали, а потом в формах ставили в духовку. Это было самое главное и сложное, остальное можно приготовить за два часа до приезда гостей.

А Буров с Першиным, сидя по вечерам в своей комнате, обсуждали очень важный вопрос о подарке. Алеша, как человек практичного ума, стоял за что нибудь полезное то, что он пока еще никак не мог придумать.

— Надо такой подарок, — говорил он Бурову, чтоб она его каждый день могла пользовать.

— Да это она и без тебя сама купит! — возражал Дмитрий.

— Ну, и ладно. Деньги тогда съэкономит.

— Нет, это не то, не то. Подарки дарятся на память. Верно? Вот иногда возьмет его в руки и невольно нас вспомнит. Вера любит музыку. Можно подарить ей долгоиграющие пластинки. Одну от тебя, другую от меня.

— Чего-же пластинки-то покупать? Послушает раз, два и надоест. Будут на полке в пыли валяться без пользы.

— Ну, ты как знаешь, а я обязательно куплю пластинку. Вот, хотя бы второй концерт Сен-Санса.

— А в концерте-то в этом больше как, пение или музыка? — поинтересовался Алеша, хотя в уме уже категорически отвергнул идею такого подарка.

— Да нет, Алексей, это такая музыкальная вещь, — стал объяснять Буров, — играет рояль, а ему аккомпанирует симфонический оркестр. Замечательно красивый концерт. Особенно начало мне очень нравится в нем. Ты знаешь, Алеша, когда слушаешь такую музыку, кажется что, как бы человеку не было тяжело, все смирится, уляжется в душе. Грустно, может, и будет, а горе забудется. Да брат! Да не только это. Музыкой всякое чувство передать можно. Словами этого не выскажешь. Иногда и слов не подберешь, а если и подберешь, то самому себе они фальшью звучать будут. А музыка! И почему люди не объясняются иногда, в самые важные моменты жизни, именно ею? Ну, вот сидят два человека, молча, и скажет один другому — сыграй для меня вот это! И, если будут слушать они внимательно, многое поймут в ней без слов и почувствуют тогда, что души их звучат одним и тем же.

— Так как же на счет подарка-то? — вздохнул Алеша, прервав буровские мечтания.

— Не знаю, Алексей, думай сам. Ну, купи ручку с ка-

рандашем в футляре: по моему, чего уже полезней. В руках будет все время держать ...

— Придумал! — радостно хлопнул себя по лбу Алеша. Куплю ей сумочку из красной кожи, на плечевом ремешке, какие теперь модницы носят, с золотой задвижечкой, а в ней, разумеется, всякие там кармашки, портмонет для мелочи и пудреница с зеркальцем. Красиво, и к тому же полезный подарок для каждого дня.

Так они и сделали . . .

Денисов, прихватив с собою Бурова и Алешу, приехал к Ветровым раньше назначенного времени с расчетом помочь чем нибудь по хозяйству. Но, когда они вошли в дом, все уже было готово к приему гостей.

Большой стол, с приставленным к нему еще каким-то другим, был накрыт, заставлен закусками, бутылками и цветами. Около стола деловито похаживал сам хозяин, проверяя все ли на месте. Надя, примостившись на уголке, надписывала имена гостей на маленьких карточках с виньетками.

— А где же новорожденная? — спросил, поздоровавшись, Денисов.

— Я сейчас! — раздался Верин голос из соседней комнаты.

Она вышла в новом голубом платье, в каком то воздушном и пышном, по особенному завитая, сияющая, с блестящими глазами.

Ее стали поочереди поздравлять.

— Спасибо, спасибо! Только зачем-же это, — сконфузилась девушка, глядя на протянутые подарки. — Ну, хотя бы уж тогда один.

— Один никак не смогли! Во вкусах не сошлись! — пояснил Алеша, передавая свой довольно объемистый пакет. — Но зато — от чистого сердца! Вкусы разные, а чувство — одно! ..

Сказав это, он поправил на шее галстук необыкновенной пестроты. Выглядел он хорошо: пышущий здоровьем и весельем, в сером летнем костюме и коричневых ботинках, сверкавших тем особым глянцем, по которому всегда можно отличить новую, одетую в первый раз обувь.

— А гармошку захватили? — забеспокоилась Надя.

— А то, как-же? В такой день и без музыкального оформления? Никак нельзя!...

— Вы ее, Алеша, принесите теперь же в гостиную, чтоб потом за ней не ходить.

Алеша пошел за аккордионом. Вера понесла подарки в свою комнату.

— Если бы вы знали, какое это трудное занятие рассаживать всех за стол. — Все равно, что в шахматы иг-

рать, пожаловалась Бурову Надя. То две барышни рядом, то наоборот. Ну, вот, кажется, всех рассадила. Здесь Павел, я, загадочный незнакомец с Верой. Сестру незнакомца я посажу с Алешей, а вас — между дядей Колей и Анной. Как вы находите? Вам будет очень удобно — с обоих сторон русские. И Аня очень любит сидеть с вами рядом. Так ... Теперь ...

Надя начала перечислять какие то незнакомые, иностранные имена.

— Пока что двадцать два. Остается четыре запасных прибора. Может еще кто нибудь приедет. Всем хватит места.

Пришла первая пара: маленькая круглолицая девушка в роговых очках с болезненно тощим блондином, на котором костюм висел, как на вешалке. Представились, скороговоркой сказали: «хау-ду-ю-ду» и сели в гостиной. Гости бегло бросили какую то фразу и, выслушав медленный, ломанный ответ, с режущим ухо акцентом, сконфузились и замолчали. Хорошо, что подоспевшая Надя выручила обоих приятелей и заняла гостей оживленным разговором.

За этой первой парой гости стали прибывать шумливыми ватагами с букетами цветов, с коробками обернутыми в красивую цветную бумагу и украшенными лентами. В передней раздавался топот ног, смех, оживленные возгласы, весь тот шум, который производят люди, собравшись для веселья. Очень милые и приветливые они входили в гостиную, называли свои имена, жали руки:

хау-ду-ю-ду
хау-ду-ю-ду

Другие издали кивали головой и говорили опять это неизменное «хау-ду-ю-ду»...

Почти все гости уже были в сборе. Не было только Павла с Анной и брата с сестрой Уайт, которых должны были привезти с собой Щетинины.

Надя, то и дело, подбегала к окну и смотрела на улицу.

— Вот еще кто-то к нам ... — сказала она, увидев подъезжающий к дому блестящий малиновый кадиллак с откинутым парусиновым верхом.

— Так и есть они ...

Вместе с Щетининым в гостиную вошла незнакомая пара, на которую все с любопытством посмотрели, и о которых многие уже знали, что это брат и сестра Уайт, Боб и Аллен.

Боб — высокий, бледный, темноволосый, лет тридцати пяти с глянцевым лоском на лице от тщательного, недавнего бритья и зеркально причесанной головой. Его сестра на пол головы ниже, тонкая, стройная шатенка с бледным, как и у брата, лицом. Ее карие глаза большие

и умные невольно обращали на себя внимание и делали девушку очень привлекательной. Анна представила новую пару Ветровым, познакомила со всеми гостями, и, когда кончилась эта длинная и нудная процедура с рукопожатиями и «хау-ду-ю-ду», снова подвела Боба к Вере.

— Тебе, как хозяйке, поручаю Боба! Позаботься, чтобы он не скучал...

Шумной, пестрой гурьбой гости из гостиной перекочевали к столу, разыскали свои места, расселись и притихли, ожидая хозяина. А когда Николай Алексеевич появился в дверях с большим тортом, на котором, как на церковном подсвечнике, горели яркими огоньками свечки, все сидевшие за столом громко и весело разнобоем пропели:

"Happy Birthday to you!"

Вера встала, наклонилась над тортом и задула свечи под аплодисменты, взрывы смеха и веселые шутки гостей ...

В тот вечер Вера была очень оживленной. Она безумолку смеялась в таком приливе веселья и радости, что казалось, будто, все вокруг нее — и ее черноволосый сосед, и подвыпившая шумная молодежь ,и добрый отец и даже молчаливый Буров, сидящий напротив с опущенной головой между дядей Колей и Аней, — все они присутствуют здесь, сейчас только для полноты ее счастья.

Буров обменивался с Анной или Денисовым короткими, отрывочными фразами и изредка мельком поглядывал на Веру. Вот сейчас она показывает своему соседу браслет на руке — подарок отца. Золотистая головка и черный зеркальный пробор склонились, сблизились и долго, невыносимо долго, рассматривали его. Потом начали милую, пустую болтовню, легкую и веселую, как пузырки в высоких бокалах, стоявших перед ними. Они подняли бокалы, чокнулись, пристально поглядели друг другу в глаза и опять повели легкий, как ветерок, разговор о кино, о предстоящем оперном сезоне, о смешной истории, расказанной по радио. Слушая эту историю, Вера звонко смеялась, хотя впрочем, она слышала ее уже много раз и прежде, а потом со своим обычным переходом к милой серьезности спросила соседа:

— А вы любите оперу, Боб? ... Вот и прекрасно. Мы купим сезонные билеты так, чтобы можно было бы сидеть вместе.

По другую сторону Веры сидит Алеша. Он что-то оживленно говорит своей соседке Аллен . . .по русски. Буров выразил свое удивление Анне.

— Ну, конечно, Дмитрий. Разве я вам не говорила?

Аллен изучала несколько лет русский язык в университете и говорит хоть и с акцентом, но на прекрасном литературном языке. Замечательная девушка, — добавила Анна, большая умница!

В гостиной фонограф заиграл танго. И сразу после этого стол опустел. Милая болтовня тоже кончилась. Вера с Бобом встали и пошли танцевать. Следом за ними ушли в гостиную Алеша и Аллен. Анна, заметно охмелевшая, склонилась к Бурову так близко, что касалась лбом его лица.

— Будьте бодрым и веселым, лейтенант! Идемте танцевать.

Дмитрий отказался. Анна, молча, обиженно встала и ушла искать себе партнера. Из гостиной доносились грустные и томные звуки танго, наполненные какой-то сладостно - бесстыдной печалью, от которой танцующие ближе и нежнее прижимались друг к другу. В квадрате арки, ведущей в полутемную гостиную, видны только фигуры ближних пар. Они медленно скользят, как на экране, вырванные из темноты ярким светом люстры над столом, и потом исчезают в сумрачной глубине комнаты. Вот и Вера в пышном, голубом платье, прижавшись щека к щеке к своему кавалеру, проплыла, как призрак, и скрылась. Снова она, теперь, откинув назад золотистую головку, прищурив густые ресницы со счастливой улыбкой пристально смотрит на Боба.

Танго кончилось. Заиграла новая пластинка, оглушая танцующие пары резким диссонансом, бьющей по нервам музыки, требовавшей от танцующих конвульсивно-быстрых и судорожно-веселых движений. Пары корчились болезненно и смешно, как от смертельной щекотки. Опять звучали какие-то модные мотивы, под которые теперь танцевала вся Америка. Танцующие дергали плечами, крутили бедрами и, как дрессированные лошади, вздыбленные на арене цирка звонким хлопанием бича, переступали в такт ногами.

Бурову надоело смотреть. Он отвернулся от арки, взглянул на Ветрова и при этом подумал, что так мало разговаривал с ним в этот вечер. Да и сам Николай Алексеевич был тоже необычно молчалив. Вид у него усталый или даже нездоровый..

Фонограф умолк. В гостиной ярко вспыхнула люстра. Спины гостей плотной стеной загородили арку, и из столовой уже не видно, что происходит там. Внезапно оттуда вырвались певучие звуки аккордиона.

— Никак Алеша уже начал, — сказал Денисов. —Пошли, послушаем. Он поднялся со стула вместе с Ветровым и Буровым.

Алеша, сняв с себя пиджак, сидел на диване, растяги-

вал аккордион и звучным, задушевным тенорком выводил:

— На за-каа-те х о о д и т п а а а рень
Возле дома м о-е-г о о . . .

Радостно заволновалась душа гармониста. Вспомнился ему простор далеких полей, колхозные вечеринки, смутные, уже порядком забытые образы девушек ... Да и тут-то, чем плохо? Разве не весело? Эх! как хорошо на свете жить! Пречудесно! ...

Крепнет тенорок, все увереннее и смелее звучит аккордион. Притихли гости, слушают, что-то новое, незнакомое, необычное ... Не сводит Аллен своих темных, умных глаз с бойкого русского паренька. Вот он опять окинул всех взглядом своих смеющихся, задорных глаз и, пожимая плечами, продолжает припев:

И кто его знает,
Чего он вздыхает . . .

Кончилась песня. Теперь другая звучит медлительным, заунывным мотивом. Поет Алеша песню про суровые боевые дни, про бессонную ночь. Поет он о зловещем полете пуль, о заунывном гуденьи в степи проводов, о мечте солдата, вспоминающего любимую верную подругу свою ...

Но не две ли души у гармошки? Так удивительно внезапно обрывает она тоску и звучит теперь уже совсем другим. Еще не сошла тень грусти с Алешиного лица, а уж звонко раскатилась удаль и распахнулся во всю ширь лихой, безпечный разгул. И Алеша оглядывает всех веселой, хитрой усмешкой — слушайте! Все теперь я могу: и слезой прошибу, и в пляс заставлю пойти. Это вам не танго! Тут и хромой задрыгает ногами, когда в душу ему закрадется веселый чертенок и пощекочет то самое место, где у каждого человека таится пляс. И впрямь так! Слушают гости коварный перебор «подгорной» с вариациями и звуковыми завитушками, а ноги у них сами собой начинают отбивать веселый и быстрый такт.

Алеша поет, лукаво поглядывая на того, кому сочинил экспромтом свои меткие, остроумные частушки ...

Дороги мои подружки
Дайте кофточку надеть,
Дайте кофточку надеть
На меня пришли смотреть . . .

Вера чуть-чуть улыбаясь, слушает, а Надя, заливаясь смешком, кричит сестре по-русски:

— Это, Вера, ведь про тебя! ..

Метнул на Алешу взглядом Дмитрий, поймал на лету его горящие лукавством и весельем глаза, улыбнулся короткой, отрывистой улыбкой и опять застыл взгляд у

Бурова в какой то грусти, от которой ему не по себе слушать это Алешино веселье.

Если, миленький, ты любишь,
Мне стихи рассказывай,
На моем сердечке узел
Поскорей развязывай ...
Эх ... Эх ... У у у у у ух!

Зарделась Надя и со стыдливым, притихшим смешком исподлобья покосилась на Павла.

Кончил свои частушки Алеша. Замер последний аккорд «подгорной». Смолк на момент аккордион. И вновь он залился еще шибче, еще забористей. Быстро перебирает пальцами лады Першин. Выдвинул в сторону плечо и поводит им в такт. А нога, притоптывающая с носка на каблук, так и ходит, так и ходит!

— Эх, сплясать-бы сейчас!

И словно угадав эту мысль, шепнул Денисов Першину:

— Ну-ка, Алеша, спляши, — и сам уселся за рояль. Зазвучал мотив «Барыни». Першин, отложив гармошку в сторону, вскочил с дивана, подбежал к Анне, а потом медленно шаркающим шагом, отбивая ногами четкую дробь, вывел свою партнершу на середину комнаты, оставил ее там, а сам, подбоченясь, пошел кружить вокруг ее. Сделав три-четыре круга, подскочил к Анне, подхватил ее за талию и вразвалку пошел вместе с ней. И Анна в такт, волнообразно, то опуская, то поднимая руку с платочком, плавно понеслась рядом с Алешей, полыхая копной своих медно-рыжих волос. Темп танца постепенно ускорялся. Теперь танцующая пара, отступя в сторону, обернувшись друг к другу лицом, скрестив свои руки плетенечкой быстро кружились волчком. Алеша оторвался от Анны, лихо пристукивая каблуками, неся по широкому кругу, а Анна, следуя за движением своего партнера, поворачивалась на одном месте и махала над головой платочком, словно звала его к себе. Но Алеша, вдруг почуяв свою молодецкую волю, подбоченился левой рукой, ворочает по сторонам головой и не желает вернуться к своей подруге. Описав круг, внезапно с бега пошел он чесать присядку вокруг Анны. Потом, легко подпрыгнув, встал на ноги, отстукивая замысловатую дробь, сгибал колени и хлопал ладонями по воображаемым голенищам ... Все чаще и звонче дробь. В неистовый Алешин танец ворвался присвист и гиканье, точно вдруг проснулся в этом веселом пареньке его отдаленный предок-скиф... Гул одобрения пронесся в гостиной. На несколько мгновений аплодисменты заглушили рояль, но потом его бешенное престо все же переборолo громкий восторг зрителей. Вихрем понеслись, обгоняя

друг друга ошалевшие аккорды. Едва прозвучит один, а его уже заглушает другой, рассыпаясь каскадами все новых и неожиданных вариаций, на которые Денисов — большой мастер.

Темп танца еще быстрее. Кто дольше выдержит это соревнование быстроты: танцор или пианист? Но Николай Иванович, опьяненный быстротой своей виртоузной игры, все же думает и об Алеше. Он знает, что такой неистовый пляс нельзя затягивать на долго. Престо слабеет. Звуки замедляют свой стремительный бег. Темп постепенно переходит в adajio и обрывается финальными аккордами.

Словно ошалевшие от удивления и восторга гости разразились бурными аплодисментами. Часто дыша, Алеша подошел к Анне, взял ее за руку, и оба они поклонились, на все четыре стороны, гостям.

Денисов, встав из за рояля, долго тряс Алешину руку:

— Ну, Алеша, уже затрудняюсь сказать, кто в вас лучше — гармонист, певец или танцор!

Ветров подошел к Першину, улыбаясь, пожимал его руку и благодарил. Надя с Верой и Аллен, обступив Алешу с Анной, наперебой благодарили и хвалили. А за ними, возбужденная невиданным зрелищем, толпа гостей теснилась вокруг, тянула со всех сторон руки, чтобы поблагодарить и выразить свой восторг.

После экспромтного Алешиного выступления Вера принесла из спальни груды подарков и, следуя обычаю, начала поочередно распаковывать их, показывая каждую вещицу. Гости с любопытством разглядывали подарки и восхищались ими. И этот преувеличенный восторг, с которым гости встречали каждый новый подарок, показался Бурову искусственным и деланным. Когда Вера развернула подарок Дмитрия, все время молчавший Денисов взял из ее рук пластинку, посмотрел на красный кружок с надписью и с видимым удовольствием одобрительно кивнул головой.

— Можно потом поставить ее, Вера?

— Ну, конечно, конечно, дядя Коля.

Снова сидели за столом и пили кофе. Снова Вера оживленно болтала с Уайтом и, когда раздались первые аккорды концерта, как-то вскользь бросила ему:

— Это Сен-Санс. Красивая вещь, но, к сожалению, для меня она трудна.

А Буров вспоминал, когда он слышал этот концерт в последний раз. Давно, очень давно, студентом на последнем курсе, перед войной. Вот сейчас начнется это, его самое любимое место.

И как раз, именно в этот момент, Вера продолжая оживленно болтать с Бобом и, видимо, не слушая музыку, спросила его:

— Вы играете, Боб?

— Нет, я предпочитаю сидеть рядом с тем, кто играет и слушать. Получать два удовольствия одновременно.

Девушка громко засмеялась. Буров взглянул на Веру. И в этом взгляде не было ни упрека, ни обиды, ни ревности, а только сквозила спокойная, тихая грусть...

Николай Алексеевич знаком подозвал Надю, что то тихо ей сказал, потом наклонившись к сидевшему рядом с ним Денисову, тоже шепнул несколько слов. Он встал из за стола, кивнул головой в сторону Бурова и ушел. Дмитрий удивленно посмотрел на Денисова, как будто спрашивая его, что с Николаем Алексеевичем. Денисов так и понял этот молчаливый взгляд. Качнул неодобрительно головой:

— Раскис что-то; и, вздохнув, добавил: Стареем мы! А ну-ка плесните-ка себе и мне виски с этим самым лимонадом.

Оба они вдруг остро почувствовали себя одинокими среди шума, веселья и бестолковой суетни, вели тихую беседу и пили.

Подошли к ним на минутку Аллен и Алеша, оживленные и раскрасневшиеся от танцев. Аллен присела около Бурова и заговорила с ним по-русски.

— Так это — вы Буров! Мне Алекс много говорил о вас. Вы знаете, мне всегда хотелось встретить русских оттуда ... Побеседовать с ними о современной России о теперешней жизни там, такой особенной и для нас совершенно незнакомой. Мы с вами должны встретиться как нибудь, запросто, чтоб нам не мешали поговорить. Хорошо? Ну, извините меня, что я прервала ваш разговор. И вставая со стула, чуть-чуть кокетливо улыбнувшись, добавила: Я вам завидую, у вас такой талантливый друг!...

Опять Буров налил Денисову и себе и пил, все плотнее стискивая челюсти, пристально уставившись невидящим мутным взглядом прямо перед собой. Буров чувствовал, как от выпитой виски у него кружилась голова. Какое странное чувство: кругом все говорят, смеются, но эти голоса и смех, как-то странно, не по настоящему звучат и словно доходят откуда-то издалека. И сами люди кажутся какими то плоскими, как на экране.. Они не стоят и не ходят, а виснут в воздухе, плавают в нем, расплывчатые и неясные, как галлюцинация. И Буров тоже не чувствует своей весомости. Его что-то стремительно поднимает кверху, потом опускает вниз, точно он качается на качелях или стоит на палубе во время шторма. Потом это ощущение прошло. Его перестало качать Голоса вокруг звучат ясно, и он понимает обрывки их речи. Только сам ничего не может сказать. Как то странно из головы исчезли все мысли, и скован одеревеневший

язык, точно железный замок повис у него на губах. Да еще на душе какое то очень тяжелое, гнетущее чувство.

Буров был пьян. Очень пьян. Он не помнил, как вернулся домой, как разделся и лег в постель. Заснул очень быстро, точно провалился на дно черного глубокого колодца. Проснулся позднее обычного, часов около девяти.

Алеша долго не смог заснуть и ворочался с бока на бок, радостно перебирая в памяти воспоминания о вечеринке у Ветровых. И заснул, унося с собою в сон яркие картины проведенного вечера.

Проснулся Буров с тяжелой головой и еще каким то ноющим чувством. Казалось-бы, что все должно быть обычным: наступило утро, когда не надо торопиться на работу, и можно долго полежать в постели, одеть хороший костюм и после завтрака поехать куда нибудь на воздух на обшарканном Алешином каре. И тем не менее чувствовал Буров, что что-то для него изменилось в мире, и прежнего вчерашнего мира нет и уже, наверное, не будет.

— Что же это — ревность? Да какое же основание, какое право я имею ревновать? И чей то голос внутри спрашивал его: Право ты сказал? Право на ревность? Да есть ли оно, такое право? Нет, не в праве тут дело, а в чем то другом, большом и непреодолимом, что сейчас так гнетет ....

У Алеши весь день прошел в воспоминаниях о вечеринке. Он без умолку разговаривал с Буровым, по мелочам перебирая весь вчерашний вечер. Как танцевали, что говорила ему Аллен.

Ты знаешь, у ихнего отца большое автомобильное дело. Обещала поговорить обо мне. Вот это было бы чудесно. На душе у Алеши было весело и беспокойно. Комната казалась ему пустой и неуютной, не хотелось в ней сидеть. Он рвался к шуму, на люди. Долго гуляли в парке, а после обеда пошли в кино.

**
*

Мистера Джона Уайта, владельца недавно открытого, но уже прочно налаженного дела по продаже подержанных автомобилей, родители, выходцы из Ирландии, привезли трех летним мальчиком в Нью Йорк. Свое детство вместе с братьями, такими же чумазыми оборвышами, как и он сам, Джонни провел где то на окраине Бруклина, населенной бедным рабочим людом. Лет через пять, после того, как отец, работавший грузчиком на нью-йоркских пристанях, оступившись упал в трюм парохода и разбился на смерть Джонни, вместе с братьями разными путями добывал заработок, чтобы обеспечить семье полуголодное существование: чистил сапоги, про-

давал газеты, а иногда находил временную работу в соседней лавочке. Десятью годами позже, после смерти матери, братья разбрелись по разным штатам в поисках работы и удачи.

Джонни перебрался в Детройт и устроился на автомобильный завод. В Детройте встретил девушку итальянку и женился на ней. Через год у них родился первенец — Боб, а спустя семь лет — дочь Аллен.

Проработав много лет на заводе, Джон скопил кое-какия сбережения и семья перекочевала в Калифорнию с заветной мечтой приобрести ферму и пожить ближе к природе. С покупкой фермы дело почему то расстроилось. Уайт открыл свой собственный маленький гараж и занялся починкой автомобилей. Вероятно он, так бы, и закончил свою жизнь незаметным тружеником, если-б не пришло к нему на старости лет счастье. Неожиданно разбогател Уайт. Этому счастливому жребию способствовала война. Все остальное было делом его личной предприимчивости, упорного труда и практического опыта. Вся огромная индустрия страны переключилась на военные нужды и вместо изящных лимузинов и седанов выпускала танки, грузовики и джипы. Дальновидный Уайт правильно учел, что спрос на старые автомобили и запасные части неизбежно должен возрасти. Он приобрел на окраине города, на бойком месте пустопорожний участок земли и стал скупать старый хлам, разбитые в авариях иногда новые машины, снимая с них все, что представляло какую либо ценность и могло-бы быть использовано для замены. Эти части он чистил, ремонтировал и выгодно сбывал. Дело пошло хорошо и давало большие барыши. К концу войны на прежнем, заваленном автомобильным старьем участке, выросли ремонтные постройки, гаражи и небольшой оффис. Предприятие Джона Уайта уже оценивалось в несколько сот тысяч долларов.

К этому времени Роберт Уайт кончил курсы счетоводства и организации коммерческих предприятий и помогал отцу вести финансовую часть дела.

Аллен окончила филологический факультет по отделу славянских языков. Способная, усидчивая девушка в совершенстве выучила русский язык, перечитала всех классиков, познакомилась с русской историей и устроилась в каком то учреждении, где требовалось знание русского языка.

**
*

Аллен сдержала свое слово. Дня через три, после вечеринки у Ветровых, вечером по телефону кто-то вызвал Першина. Алеша долго стоял в корридоре у аппара-

та, а потом, вернувшись в комнату, сообщил Бурову, что звонила Аллен и передала, что оа должен завтра к девяти поехать и переговорить с ее отцом о работе.

На следующее утро Дмитрий поехал на работу один. Когда он уходил из дома, Алеша тщательно, не торопясь, брился. На его постели лежал приготовленный костюм, парадный галстух и новая сорочка в блестящем прозрачном конвертике. Долго Першин ехал по незнакомым улицам, почти в самый конец города. Когда слез с автобуса, посмотрел на часы и минут пять прогуливался по кварталу, чтобы явиться точно в назначенное время. Без двух минут девять он прошел по двору, заставленному рядами старых и новых автомобилей, у которых суетилось человек десять механиков и рабочих. Алеша вошел в маленький флигелек в глубине двора и без одной минуты девять постучал в дверь с именной дощечкой самого владельца.

— Ком-ин, — раздался голос за дверью.

Алеша вошел в комнату. За столом, заваленным бумагами, сидел рослый крепкий, с жилистой шеей, седой человек в рубашке с распущенным галстуком. Возбужденный от деловитости, он с кем то говорил по телефону, громко и коротко смеялся в трубку, мельком посматривая на стоящего перед ним Алешу. Першин оглядел комнату. В противоположном углу сидела Анна Щетинина, печатала что то на машинке и, улыбаясь, смотрела на него. Алеша поклонился сдержанно оффициально, точно видел ее первый раз в жизни.

Уайт кончил говорить, положил трубку и протянул через стол свою огромную волосатую руку, в то же время жестом приглашая Алешу сесть. Мистер Уайт коротко, но обстоятельно распросил Алешу о его прежнем стаже и видимо остался доволен ответами.

— Сейчас мы завалены работой. Придется работать сверхурочно, по вечерам. Вы где живете?

Алеша назвал улицу.

— Далеко. Ну, ничего. Со временем присмотритесь, снимете себе что-нибудь поближе ... Так. Завтра - к восьми. Пока ...

Окрыленный радостью Алеша вернулся домой. Сходил не надолго к себе в газолинку, чтобы заявить о рассчете. Потом нетерпеливо ждал возвращения Бурова, чтоб с ним поделиться своей новостью.

Теперь вечера Буров проводил один и большей частью читал. Алеша возвращался домой в половине десятого. Как то вечером, вернувшись с работы, Першин сказал Бурову, что решил переехать поближе к службе. Утром в субботу приятели запаковали Алешины пожит-

ки, погрузили их на першинский автомобильчик и тронулись в путь.

Алеша снял себе в очень чистом особнячке отдельную квартирку в одну комнату с маленькой кухней и ванной. Из прикрытой дверью ниши скускалась на пол особая складная кровать, которая по утрам убиралась на место, и комната снова обращалась в гостиную или столовую по желанию ее владельца.

Бурову очень понравилась эта новая квартира, и он от души порадовался за своего приятеля.

— Ну, Алеша, это уже прогресс. Только, как насчет обстановки, ведь комната то пустая.

— Чего там пустая. Куплю обстановку. Диван, кресло удобное и радио тумбочкой, чтоб пластинки можно было играть на нем.

— Да ты что? — улыбаясь удивился Буров.

— Вот увидишь. Еще новоселье справлю. Подожди-ка одну минутку. Алеша открыл дверь в нишу, отвалил от стены кровать и приятели уселись на мягком матрасе.

— Давай-ка хоть так посидим, пока дивана нет, — рассмеялся Першин, а потом лицо у него стало серьезным. — Я, вот, думаю, Митя, скучно нам будет жить врозь, а? Ведь шесть лет жили вместе бок-о-бок.

— Есть о чем горевать! Не век же нам холостяками в одной комнате жить. Ну, вот, женишься, скажем ты, тогда нам все равно пришлось бы разъехаться, — пошутил Буров.

— Так то, оно так! — вздохнул Алеша. — Слушай, пойдем хоть куда нибудь, выпьем по случаю новоселья.

Они провели весь день вместе.

XVII. «ПУТЕВКА» В ЖИЗНЬ.

Первое время, после отъезда Алеши, скучнее тянулись вечера в бедной, неуютной комнате. Но в этом одиночестве Буров еще глубже и сильнее преживал свою любовь к Вере. С каждым днем все неотступней теснились в голове мысли о ней и в памяти вставал какой-то преображенный, светлый, утративший свою плотскую оболочку, образ.

У Дмитрия сгладилось и забылось то тяжелое чувство, которым ранило его на вечере в день рождения Веры. Ведь должна же была Вера, настойчиво убеждал себя Буров, как хозяйка дома, проявить внимание к гостю, пришедшему первый раз в их дом. Он — живой, интересный собеседник, прекрасный танцор. Вот и все. Что же в сущности тут особенного? И, уже чувствуя себя совершенно успокоенным, Буров стыдился своего ревнивого чувства. Тревога сменялась в сердце нежностью. Теперь ему казалось, что для него достаточно самого

скромного существования вблизи нее, чтоб жить одной только скрытой от всех любовью ничего не ждущей, ничего не требующей. И засыпая, мечтал о том, что хорошо бы в воскресенье поехать с Алешей к Ветровым.

— Не до поездок ему теперь. Наверное устраивает свою новую квартиру. Ну, чтож поеду один. Сяду на загородный автобус и поеду.

Впрочем, планы Бурова были расстроены непредвиденным обстоятельством. Его назначили работать сверхурочно в субботу и даже пол-дня в воскресенье на срочном ремонте каких то машин. А вечером позвонил по телефону Алеша и передал приглашение Аллен приехать к ним в субботу в гости. Бурову пришлось отказаться.

Неделю спустя Дмитрий, сговорившись заранее с Алешей, поехал к нему на новоселье. По дороге купил торт, маленькую посеребренную солоночку и с «хлебсолью» явился к приятелю. Алешина квартирка была уже обставлена новенькой мебелью, повидимому не дорогой, но с претензией на шик: диван с креслом какого-то отчаянного модернистского стиля; на низеньком столике стояла лампа, которую нес на своей спине свирепый, пестро раскрашенный эмалью, гипсовый тигр. Обстановку дополняли радио-фонограф и повешенное на стене большое зеркало с намалеванным на нем розовым фламинго и голубыми лотосами вдоль нижнего края. У того, кто смотрелся в него, получалось впечатление, точно он носом уткнулся в распустившийся экзотический цветок и его нюхает.

— Ну как, одобряешь? — с гордостью спросил приятеля Першин.

— Очень хорошо, — похвалил Буров.

За кофе Алеша рассказал о своем визите к Уайтам.

— Богато живут. Старики из дому куда то смотались, наверное, чтоб нас не смущать. Приняли нас попросту, да и народу постороннего не было: только сестры Ветровы, Щетинины и я. Жаль, что ты вот не смог! Ну, может, еще пригласят.

Налив по второй чашке, Алеша, немного конфузясь, сказал приятелю:

— Знаешь, Митя, думаю книгу начать писать.

— Книгу? — опешил Буров и опустил на блюдечко, поднесенную к губам чашку.

— Да вот, Аллен пристала: почему, мол, вам не написать? Это она после моих рассказов, понимаешь? Я, конечно, стал отказываться. Тоже нашла писателя. А она все свое твердит — напишите, ну хоть, на самом простом языке, а обработаю и переведу сама.

—Нн-да! — немного помолчав, протянул как то нео-

пределенно Буров. — Что-же это будет за книга? Военные записки, дневник танкиста, а?

— Ну, нет, конечно, не о войне. Опишу, как люди живут, работают на заводах, в колхозах.

— Быт, значит, советский. Ты, Алеша, смотри Зощенко не подражай, это теперь не в моде! —пошутил Дмитрий.

— Не один только быт. Напишу, что думают и говорят люди меж собой о советском строе, о коммунистической власти.

— Так, так, Алеша. Ты бы вот с этого и начинал. Я ведь сразу догадался. Только трудное ты на себя дело берешь. Ну, если все сплеча рубить, да ругать, это — еще легко, а разобраться поглубже, так ведь это — прямо таки непосильная задача. Это же вздор — рассмотреть всю Россию с куска колхозной земли или заводского цеха. Надо оглядеть ее всю, все, что было сто лет до нас и что будет через сто лет после нас. Историю ты ведь не знаешь?

— Нет! А зачем она для моей книги? Тут просто впечатления очевидца на злободневный момент, — отпаривал Алеша Бурову.

— Ты так думаешь? А послушай-ка, что я тебе скажу, может для тебя это и пригодится. Ведь все то, что стряслось с Россией, что пережило наше поколение не случайно. Все это подготовлялось историческими грехами, уродством прежней жизни, ошибками наших дедов и прадедов. Вот заграницей толкуют о рабском, принудительном труде. А почему такой нечеловеческий труд история взвалила на плечи нашего поколения? Да только потому что полтораста лет до нас те люди, кто должны были строить Россию и сидели, сложа руки. Возьми, хотя бы в пример, прославленного литературой Евгения Онегина. Ведь всю свою жизнь прожил он трутнем, и никому никакой пользы от него не было. Не жил, а точно играл всю свою жизнь какие то дурацкие роли. Вот и выходит, что пятилетки теперешние правнуки за Онегина отрабатывают. И так во всем. Пусть в теперешней жизни много темного, но есть же в ней и светлые стороны. Беда только в том, что все судят о России по неприглядной поверхности, по внешним формам жизни, и не касаются самой сути, не замечают того волевого порыва, который творится народом непрерывно и невидимо. В незаметной, повседневной жизни совершается подвиг. Описать правдиво и беспристрастно новую русскую жизнь можно только тогда, когда ты поймешь эту жизнь во всей мощи и широте ее исторического размаха. Все вот твердят о разрушениях революции, и никто не замечает титанического созидательного ее труда. Все клеймят народ в бездушии, а разве идея социальной справедливости,

идея освобождения людей от эксплоатации человека— человеком бездушна? Или, наконец, все тыкают пальцем на отсутствие национального чувства в народе, и никто не замечал, как героически народ оборонял свою родину от внешнего врага.

Першин слушал Бурова рассеянно, часто поглядывая на розовое фламинго с вывернутой в суставе ногой в обратную сторону. — Ну, понес опять свою философию, думал Алеша, стараясь выразить на своем лице внимание и интерес к разговору. Единственная практическая польза от него, что он — Алеша кое что запомнит из буровских мыслей, а потом перескажет Аллен. Она, видать, вроде Бурова, любит пускаться в эти умственные дебри. Боб то — человек другой: практик, в отца пошел.

Впрочем, когда Буров упомянул слово «эксплоатация» — Алеша оживился.

— А сейчас разве людей не эксплоатируют в Советском Союзе? — с усмешкой спросил он Дмитрия. Эксплоатируют еще почище, чем в старые времена!

— Это не то, Алексей. Не в эксплоатации тут дело. Вопрос тут более сложный и глубокий. Революция в России, это — не только политика и экономика, а новая вера. В восемнадцатом году помимо революции произошла еще смена вер. Когда-то наши древние предки волокли конями в Днепр свергнутого Перуна. А поколение нашихъ отцов разрушало древние соборы, разбивало иконы, все то, что чтили и чему поклонялись тысячу лет. И как во всякой вере появились новые пророки и последователи - фанатики. Я вот затрудняюсь сказать, что такое фанатизм — добро или зло? Ведь с именем Бога фанатики жгли, рубили головы вешали. Это, конечно, — зло. Но с другой стороны сами то они люди воли, мысли, непреклонные в своей вере и своей борьбе. Ни одно большое историческое дело не обходилось без фанатиков. Они — вожди своего поколения, устроители нового общества бросали толпе беспощадные мысли, пробивали бреши в толще обычаев, омывали потоками крови свой новый закон и переступали через бесчисленные трупы, ради осуществления их замысла. И чем громаднее замысел, — тем дальше идти до его осуществления, — тут уж, брат, не пятилетка, а прямо-таки, столетний план. Исполнится ли это желание или нет — гадать не нам. Да и сами то вожди, пророки и диктаторы этого не знают, а только верят, слепо верят, не щадя жизни и отрицая интересы своих современников. Страшно подумать о том, что вдруг диктатор и вождь ошибется. Значит, тогда все эти жертвы, страдания, кровь, все это — напрасно. Русская революция задумала немалое. Да иначе не могло и быть. Большой революции — боль-

шое и плавание. Ее вожди поверили, что своей идеей они преобразуют человечество и достигнут неведомого, всемирного, необъятного счастья. Избавят всех людей от голода и нищеты, оросят пустыни, покроют тундры цветущими апельсиновыми рощами, словом, создадут на всей земле рай. А до того, пусть льется кровь, и умирают люди от нечеловеческого труда. Вот почему в припадке фанатического исступленного порыва пролито столько крови, принесено столько человеческих жертв. Много лет над Россией виснет грозный смерч. Он взвихривает, коверкает, стирает все с лица земли. Придет когда нибудь время, когда фанатизм заменит здравый, способный правильно оценивать рассудок, и тогда к нашим детям вернется спокойная жизнь. Но сколько погубленных жизней в наше время? Сколько бурелому нагромоздила наша страшная эпоха. Ты, я, Ветров, Денисов, — все мы — бурелом, который шквалом вырвало с корнем и расшвыряло из русских лесов по всему миру. Понимаешь: исковерканные русские дубы, кедры и березы лежат и догнивают на всех материках.

— Ну, что-ж, уберут его и распилят на дрова,—отозвался Алеша.

— Да, ты, Алексей, — прав. Чтож поделаешь .. . вздохнул Буров. — Ну, мы брат, кажется с тобой в философию углубились. — Давай ка лучше поговорим, когда к Ветровым поедем.

— Что ж можно съездить. Прихватим Денисова и поедем.

**
*

В тот день чувство Бурова к Вере испытало роковой перелом. В нем померкла радость и надежда и началось то гнетущее состояние, которое потом обратилось в терзающую душу муку которое уже не прекращалось до самой последней минуты его жизни.

У Ветровых никого не было. Вера, одетая нарядней обычного, завитая, часто посматривала на часики и както рассеянно разговаривала с гостями.

Как было, очевидно, условлено заранее, Боб приехал один без Аллен, в темном вечернем костюме, с лоснящимся глянцем на бритых щеках и зеркальной прической. Поздоровавшись с ним, Вера извинилась и пошла к себе в комнату, а Боб, пройдя в гостиную, стал разговаривать с Денисовым... Денисов, зная, что Боб по образованию экономист, в разговоре затронул тему о капитале. Боб терпеть не мог отвлеченных тем. Он с большим удовольствием поговорил бы сейчас о сезонной игре в бейзбол, о новых автомобилях или о последней холливудской постановке, но, не желая показаться в глазах вериного дяди узким, ограниченным человеком,

Боб поддерживал и даже развивал тему, которую при других обстоятельствах прервал бы на полуфразе. И теперь он говорил умно и хорошо о великой мощи денежных накоплений, о их роли в развитии человеческого прогресса.

— О, да! — говорил Боб, — капитал это — главный двигатель прогресса и культуры. Большие дела в истории нельзя предпринять без крупных накоплений денег. Чтоб совершать великое в технике, политике, науке, в общественном строе, необходимы огромные средства. Деньги нужны для всего: для организаторских целей, для финансирования больших творческих планов, для развития культуры и искусства. А в жизни отдельных людей! Деньги развязывают человеку руки, освобождают его от нужды, от тяжелого повседневного труда. Выподумайте, сколько мук, смертей и преступлений происходит от отсутствия денег в нужную минуту. Деньги не только открывают путь к свободному творчеству, но подчас создают и развивают талант.

— Вы так думаете? — с легкой иронией спросил Уайта Денисов. А почему же среди бедняков или нищих стоят имена Шекспира, Шиллера, Лессинга, Сервантеса, Моцарта, Шуберта, Мусоргского? ... Их всех и не перечислишь!

— Да! Но, если-б они были богаты, их талант, т. е. применение таланта, возросло бы пропорционально их богатству.

— Трудно сказать, что из них получилось бы тогда,— ответил Николай Иванович.

— Но вы, конечно, не будете отрицать развитие интеллекта у человека, который с детства окружен благоприятной домашней обстановкой и с ранних детских лет получает надлежащую подготовку ...

— Для этого не нужно богатства. Дети скромных родителей носят мировые имена, вспомните-ка: супруги Кюри, Энштейн.

— Ну, а улучшение особой человеческой породы, тот естественный подбор и возможность выбора, который доступен богатым людям?

— Это да, несомненно так! — съязвил Денисов.

Боб, однако, не понял его иронии и продолжал:

— И еще, самое главное, что особенно важно упомянуть. В мире живых существ, как вы знаете, идет постоянная борьба, из которой Дарвин выводит свою теорию — "Survival of the fittest". Выживает более сильный вид. Современное цивилизованное общество Запада с его идеями и моральными представлениями ,конечно, не могло бы примириться с способами такой животной борьбы. Оно выбрало мягкие и гуманные формы общественного соревнования, в которых не убивают и не уни-

чтожают. Одна группа сильного меньшинства— элита приобретает законным, правовым путем наиболее лучшие условия жизни, помогая другим, слабым существовать. В этом яркое выражение гумманизма и христианства, их неразрывное сродство с капитализмом.

Разговор был прерван, вошедшей в гостиную Верой.

В длинном вечернем платье с перекинутым через руку меховым палантином и маленькой перламутровой сумочкой, она выглядела старше своих лет и показалась Бурову совсем другой - чужой.

— Ты куда это так расфрантилась? — спросил племянницу Денисов.

— Сначала мы поедем в итальянский ресторан, где по словам Боба замечательно приготовляют форель и крабы под каким то особым соусом. После обеда — в оперетку. А там видно будет — может быть в ночной клуб ..

— Ну, веселись! — усмехнулся Денисов.

Боб встал распрощался. Кокетливо махнула рукой, обтянутой в перчатку, Вера, и они ушли.

Буров вернулся домой в подавленном состоянии духа. Долго лежал он, не раздеваясь на кровати, и думал о вере. Интересный, состоятельный американец. Если он захочет, а это несомненно так, добиться взаимности девушки, он сделает это без особого труда. Нет! Нужно прекратить эти бесцельные, мучительные поездки к Ветровым. Хотя бы на время, чтобы все это улеглось, забылось. Как будет скучать он по этой задушевной русской семье! Но ведь лучше одиночество и скука, лучше издалека думать о ней, чем глядеть в эти глаза, незамечающие тебя и ищущие кого-то другого.

Буров перестал бывать у Ветровых. Иногда заходил к Алеше и, когда заставал его сидящим за столом среди вороха исписанных, помаранных поправками листов, неизменно говорил одну и ту же фразу:

— Ты, работай, Алеша, я ведь ненадолго к тебе. Мне еще кой-куда заехать надо. И Буров придумывал что то, хотя на самом деле, посидев у приятеля пол-часа, возвращался назад к своему одиночеству в бедной, неуютной комнате.

— Ну, как продвигается работа ?

— Не особенно. Пишу редко, в конце недели. Да разве дома усидишь? Вот опять у Ветровых был. Николай Алексеевич все о тебе спрашивает. Анна собиралась тебе звонить.

Алеша продолжал говорить о Ветровых, и Буров, слушая его, думал, что вот здесь, сидящий рядом с ним человек, еще совсем недавно видел Веру, разговаривал с ней, шутил, и в эти минуты Першин был для него каким-то пришельцем из далекого, дорогого и навеки покинутого им, Буровым мира. И, слушая его, все ждал с при-

таившимся, замирающим чувством, что он обмолвится словом о ней, но Першин закончив разговор, переходил на другую тему, так ничего и не сказав о Вере.

Забыл или просто не хочет сказать, — думал Буров, прощаясь с Алешей.

Снова тянулись длинные вечера, беспощадно каравшие тоской и одиночеством. За ними наступали однообразные серые дни, наполнявшие время тяжким грохотом заводских прессов, под которыми мелкой дрожью сотрясается бетонный пол. Опять все тот же знакомый лязг стали и натужный вой вентиляторов. А Буров стоял все у той же самой машины, разворачивал пачки стальных кружков и совал их в прожорливую пасть машины, одну за другой, одну за другой. Тысячи, десятки тысяч, миллионы маленьких блестящих кружков ...

Вечером ехал домой, по дороге заходил в тот же самый, дешевый ресторан, у которого пред входом, на улице, пахнет перегорелым сальным чадом. Пообедав, шел домой к себе на третий этаж в убогую комнату, обставленную хламом с претензией на пошлый мещанский шик. Долго, пред сном читал, а когда уставали глаза, откладывал в сторону книгу и напряженно, тоскливо думал все о ней же, о Вере.

Жестоко подсмеялась судьба над Буровым: заглушила на время тоску, чтоб потом обратить ее в нестерпимую душевную муку.

На заводе Дмитрий понравился мастеру за исполнительность, и тот, в виде продвижения по работе, отправил его вместе с бригадой механиков на сборку машин на новом заводе в соседнем штате.

Буров вздохнул легче, уезжая из Сан-Франциско. И, действительно, тоска, как будто, отлегла от сердца. Нервная ,быстрая работа отвлекала от тяжелых мыслей. Месяца через полтора Буров вернулся назад и, конечно, первым делом, пошел навестить Алешу .

Першин встретил приятеля в возбужденном настроении. Сияющий и радостный крепко жал Дмитрию руку.

— Вернулся значит! Долго же ты пропадал. Без тебя новостей то-вагон. Можешь поздравить — женюсь!

— Как? — опешил Буров, — на ком? ...

— Так вот, ходил я к Уайтам со своими записками.. Часто беседовали, обсуждали. Она у меня пару раз побывала в гостях. Как-то само собой и получилось..

— Ай-да Алеша! — улыбнулся Буров. Ну поздравляю! Счастлив поди?

— А то как-же! Очень. Выходит, что сразу две помолвки: мы с Аллен и Вера с Бобом ...

Какое то мгновенное чувство испытал Буров при этих словах, точно молнией пронизало всего насквозь. Невидимым жаром опалило лицо. Оборвалась и повисла

душа. Буров пристально смотрел на приятеля, глубоко передохнул и глухо спросил, понимая всю ненужность своих слов:

— Да? они тоже?

— У них-то, поди ,еще раньше нашего роман начался. Каждую неделю в дансинги ездили. Вот и вытанцевали.

Буров посидел у Алеши, послушал его оживленную, радостную болтовню, а потом поднялся с дивана.

— Ты извини, дело есть ... Поговорим об этом еще как нибудь.

Вернувшись домой, долго лежал на кровати с застывшим взглядом, уставившись на старый, пожелтевший от времени абажур на потолке. Лежал без движения, точно погруженный в беспредельную пустоту, заполненную одним огромным тоскливым чувством. Крепко сжимались челюсти до боли, до зубовноро скрипа. Набухали веки. Тусклый свет лампочки расплывался желтоватыми блестящими лучиками и узенькие теплые струйки стекали к углам рта. Временами шевелились губы из груди невольным стоном вырывалось любимое имя. И, когда замирал этот шепот, опять глухая бесстрастная тишина смыкалась над Буровым. Снова в угрюмом бессердечном молчании, давили потолок и стены, и только чувство безнадежной тоски хищно впивалось острыми цепкими когтями в грудь.

Вера! ... Вздрагивал от собственного голоса Буров. В припадке безутешной тоски опять повторял он любимое имя, точно верил, что случится какое то чудо, и она вдруг явится, встанет у изголовья кровати, склонится над ним и нежной рукой погладит темные пряди разметавшихся волос.

Через неделю пришло письмо в большом жестком негнущимся конверте, в котором посылают карточки из блестящего тонкого картона. На отпечатанном приглашении пустые прогалы среди строк были заполнены мелким Надиным почерком день и час приема гостей. В тот день, вновь перечитывая приглашение, Дмитрий долго мучился вопросом: идти или нет? Не пойти — значит обидеть доброго старика, обидеть Алешу. Они ничего ведь этого не знают, что творится у него на душе.

— Неужели я такая тряпка, что не выдержу двух, трех, пусть даже очень тяжелых часов? Можно, посидеть немного, сослаться, на нездоровье и уйти. Как странно устроен человек! Как странно! Был же я на войне, попадал с танком в самое пекло. И не боялся! А теперь? Встретил девушку полу-американку, которая прилично играет на рояле, которая всегда холодно относилась ко мне, и теперь пойдти на ее помолвку страшнее, чем ехать в пылающем танке. Нет, надо! Обязательно надо пойдти ... И он пошел.

Такого множества гостей, такой пестроты и оживленного веселья Буров не ожидал встретить у Ветровых. Гости, сидели, стояли маленькими группами в гостиной, в столовой, даже в передней. Из столовой были вынесены все стулья и на столе стояли тяжелые, зеленые бутылки с золотым горлышком, сверкал хрусталь широких бокальчиков среди огромных букетов цветов. Денисов с салфеткой в руке торжественно раскупоривал шампанское и разливал в бокалы. Какие то барышни в длинных бальных платьях с приколотыми к груди орхидеями протискивались с подносами среди толпы гостей. Гости брали бокалы и ждали, поглядывая на хозяина. Сам он в темносинем двухбортном костюме с маленькой георгиевской ленточкой в петлице стоял во главе стола, обратившись лицом к гостям. Рядом с ним Вера с Бобом, Аллен и Алеша. Как по разному выглядят они сейчас. У Веры вид взволнованный, смущенный и радостный. Лицо заливает яркий румянец, сверкают глаза, и она, то и дело смотрит на Боба, чуть-чуть подняв голову кверху, улыбаясь, что то тихо говорит и ласкает его нежным взглядом. Аллен стоит задумчивая, спокойная, упрятав свою радость в глубину больших, темных глаз. Около нее Алеша. Каким он был прежде чумазым пареньком в засаленном комбинезоне танкиста. А теперь и не узнать! Солидный, хорошо одетый господин. Только улыбка осталась прежняя, да в глазах лукавые, задорные огоньки .

Буров смотрел на Веру. Искал ее глаз, чтоб молчаливым взглядом поздравить ее. Пожать ее руку и сказать ей что нибудь он не решился бы, а вот только бы с лаской грустью взглянуть ей в глаза. Но Вера была слишком занята своими чувствами, своим счастьем. Только раз, на краткое мгновение ее взгляд скользнул по Бурову и, не задержавшись на нем, тотчас же ушел дальше. Может быть Вера в этот момент и подумала, что он, Дмитрий Александрович, тоже здесь, и его присутствие должно быть приятно отцу и Алеше. Но ее глаза ничего не сказали, кроме какого-то ровного, радостного безразличия и остановились где то в стороне на ком то, среди стоявших в полукруге близких подруг и друзей.

Ветров тянется к бокалу, который подает ему Денисов. Стихает говор и смех гостей. Сейчас хозяин дома будет говорить то, что все уже знают. Он еще молчит, еще только собирается сказать, а слова, опережая его, летят. Огненные слова, жгущие нестерпимой болью. Они впиваются раскаленным тавром в душу Бурова. Так клеймят обезумевших от боли и страха лошадей, когда трескается кожа, шипит и дымится живая ткань. Пусть скажет он скорее, уберет мучительное раскаленное железо, оставив прожженную насквозь душу с зияющими,

страшными впадинами от раскаленных слов, которые уже все знают. Пусть скажет скорее, чтоб потом можно было незаметно скрыться от этих веселых людей, уйти к себе в одиночество, в пустоту. Там он снова будет самим собой, пусть пронизанный смертельной тоской, но все же не надо каменеть, скрывать себя, свои чувства в какой то твердой непроницаемой оболочке. И Бурову это одиночество казалось каким то желанным и необходимым ....

Николай Алексеевич объявил о помолвке своей дочери, упомянув также Аллен и Алешу. Сказав, поднял бокал, и десятка три других бокалов плавно поднялись в руках державших. Минутная тишина нарушилась радостным, оживленным гулом, точно из бокалов вместе с вином полился бурный неудержимый поток ,наполнивший комнаты искрящимся смехом и многолюдным переливчатым говором.

Буров тоже поднял бокал и казалось делал он это, безсознательно подражая другим. Сам же он ушел в себя, стараясь нечеловеческим напряжением воли выразить радостную улыбку. Но улыбки не вышло. Лицо было сковано леденящим мертвым спокойствием. Это веселье и смех вокруг, как бичи хлестали острой, жгучей болью, перекрещивая секущие удары кровавыми полосами, от которых не осталось на душе ни одного живого, нетронутого места. И чем сильней, нестерпимей была боль, тем, казалось, спокойней был взгляд. И еслиб кто нибудь внимательней заглянул в глаза Дмитрию, тот по едва приметному выражению прочел-бы в них только одно придавленное, сдерживаемое нечеловеческими усилиям страдание.

Подошел сияющий, счастливый Алеша с Аллен, что-то говорил, пока их не оттеснила от Бурова группа девушек и молодых людей. Потом Анна стала рядом. От оживления глаза у нее горели зеленоватыми огоньками.

— Какие чудные пары: брюнет и блондинка, блондин и брюнетка! Как они подходят друг к другу. Я буду вашей шаферицей. Запомните это, Дмитрий ...

В тот день Буров, так и не подошел к Вере, не проронил ни одного слова от какого то чувства ненужности всяких слов.

Вернувшись домой Буров весь вечер пролежал одетый на постели. Острая тоска сменилась тупым гнетом и безразличием. Вспомнил, что с утра почти ничего не ел. Но есть не хотелось. Ничего не хотелось. Так бы, кажется и пролежал всю жизнь один в этой убогой комнате без мыслей, без чувств, уставившись неподвижным взглядом на желтый жестяной абажур с отколотым куском эмали. Как часто бывает после тяжелых душевных переживаний, Дмитрий внезапно заснул крепко, без сно-

видений. И также внезапно проснулся среди ночи. Поглядел на будильник — было три часа. Заснуть уже не мог. Тоскливо вспоминал подробности вчерашнего дня. Хоть бы утро скорей — пойти на работу. Впервые за все время Буров подумал о заводе и его железных объятьях, как о чем то желанном, где в повседневной деловой суете можно будет, хотя бы временно, отвлечься от гнетущих мыслей.

Странные дни начались для Бурова, и странное состояние переживал он: будто весь мир ограничивался для него теперь, большой, прожорливой машиной, поглощавшей без числа и смысла железные блестящие кружки и убогой комнатой, где проходили одинокие пустые вечера. На заводе, среди грохочущих машин и лихорадочно работавших людей, он немного рассеивался. Окружавшая его обстановка нарушала цельность мучительных чувств и мыслей, и обрывки их временами даже исчезали. Но по вечерам, когда Буров возвращался домой, стены убогой комнаты словно отгораживали его от всего внешнего мира, и тогда навязчивые мысли снова становились напряженными и мучительными. Потом этот узкий замкнутый мирок чуть-чуть расширился, и за пределами его немного рассеялся мрак. Временами он думал о старике Ветрове и предстоящей Алешиной женитьбе. И тогда Дмитрию казалось, что он преодолеет свой тяжкий душевный недуг, будет ездить к Ветрову, к Алеше и восстановит утраченную им связь с внешним миром и теми людьми, к которым он питал глубокую и искреннюю привязанность.

Однажды он собрался и поехал к Першину. Алешу Буров застал за работой. На столе лежала большая стопка исписанных и напечатанных на машинке листов. Опять по привычке сказал приятелю, что зашел на минутку и должен скоро ехать дальше.

Першин замахал обоими руками.

— Ну, что ты, оставь. Давно ведь не виделись. Посидим вечер, поговорить надо обо многом, ну, а после поужинаем вместе. Алеша сходил ненадолго в кухню и вернулся оттуда с большими рюмками на подносе. Приятели выпили.

— Так вот, Митя, присматриваем новую квартиру побольше и получше. Отец обещал Аллен и Бобу обставить за свой счет. А ты бы поселился здесь и обстановку мы бы тебе отдали. Ты как думаешь, а?

Буров наотрез отказался, сославшись на то, что ему не подходит район.

— Ну, хотя-бы обстановку взял бы тогда!

— Зачем она мне, Алеша, комната у меня ведь обставлена. Ну, а эту, если не нужна, продашь сам, побереги лучше деньги на свадьбу, пригодятся.

— Чего там. Деньги у нас будут. Даже думаем с Аллен в свадебное путешествие отправиться.

— Да? — удивился Дмитрий. — Куда-же?

— Еще сами не знаем. Аллен хочет в Европу, а я вот — в Бразилию, в Рио Жанейро. Красивый, говорят, город. И люди живут там в довольстве, не спеша, без этой американской лихорадки ... А что Европа? Голодные, покалеченные люди, разбитые дома, везде на стенах зияющие раны войны. Все это будет напоминать, что нам с тобой пришлось пережить ....

— А как книга подвигается, Алеша? —спросил Буров.

— Почти заканчиваю. Аллен половину перевела, куда то носила показывать — одобрили. В общем, брат, это даже и не книга, а путевка в жизнь. Понимаешь, путевка в новую жизнь. Алеша подошел к столу, взял объемистую стопу, исписанных листов, и потряс ею пред Буровым. — Сам, брат, не ожидал от себя такого таланта.

Першин перебрал рукопись, вынул оттуда тетрадку, скрепленную защипкой и протянул ее Бурову.

— Ты вот почитай, хоть немного, хоть несколько страниц. Сам тогда увидишь.

Буров взял тетрадку и стал читать. И, когда прочел ее, у него исчезла с лица улыбка, взгляд стал серьезным и хмурым.

— Зря это, Алексей. Если хочешь знать мое мнение, все это ни к чему.

— Как так ни к чему? ... спросил озадаченный Алеша.

— Если ты взялся за такое большое дело — писать о России, помни ,что и ответственность на тебе лежит немалая. В тебе, в твоей книге не должно быть места личным чувствам: злобе, обиде, мести. Взявшись за перо, ты исполняешь долг перед родиной, а не сводишь личные счеты. Тут, брат, подмалевывать и мазать дегтем нельзя. Ты должен быть искренним, не лгать, не подделываться. Твои показные вопли, отречение от своего народа ... кому это нужно? Кому нужны обессилевшие, разбитые, опустошенные, распластавшиеся в пыли люди? Я знаю, что сам то ты не из таких. Ведь воевал же ты четыре года за землю, которую теперь оплевываешь.

— Ну и что-же, воевал, раз принуждали.

— Не лги, Алексей. Никогда такого не бывало, чтоб боец из под палки подвиг совершал. Зачем же теперь сплетничать и клеветать на потеху праздным зубоскалам? Вот ты критикуешь, и даже не это, а бередишь тяжелые русские раны. У русского человека от этого сердце кровью обливается, душа скорбит, а иностранцу — какое до этого дело. Ну, прочтут, позлорадствуют: пло-

хо, даст Бог, еще хуже будет, так что все передохните. Не нам теперь судить. Отрезанный мы ломоть. России теперь от нас ни вреда, ни пользы. Пройдет у тебя несколько лет жизни спокойной и обеспеченной, начнешь стариться, охладеешь, издалека будешь следить по газетам о тамошней жизни, а потом и этого не станет. Изредка может и вспомнишь злым чувством свою родину за свои давние невзгоды. Ну, а иностранцу, не все ли ему равно, кто в ней правит царь ли, диктатор ли, или предводитель зулусов? Россия его не интересует, а только безпокоит и дразнит. Россию то никогда не считали всерьез за европейскую страну. Никогда на западе не было к ней уважения. В самые худшие времена европейцы, хоть и резали друг друга, но с оглядкой, потому что имели уважение друг к другу. Этим уважением умерялась жестокость враждовавших друг с другом западных народов. Ну, а Россия — дело другое: будет вымирать от голода и мора — прекрасно. Нужно будет поголовно истребить, если того потребует война, истребят, всех истребят! А с нацистом, фашистом или кем угодно посчитаются, его уберегут, пожалеют ... Нет, брат, решать русское дело будем не мы и не иностранцы. Есть кому о ней заботиться, строить, улучшать, исправлять. Много русских людей думают, ищут выхода и найдут его.

— Да, я о ней меньше всего забочусь, — вспылил Першин. — На что она мне сдалась твоя Россия или там Советский Союз. Я пишу книгу, на которую есть спрос, читатели, за которую дадут хорошие деньги. Ведь вот за нее предлагают пятнадцать тысяч, понимаешь ты русский язык — пятнадцать!

Слушая Алешу, Буров сильно изменился в лице, сжал челюсти, щурил глаза, как это делают люди в приступе внезапной, сильной боли.

— За деньги значит? Так почему же пятнадцать, а — не тридцать?

Першин удивленно посмотрел на Бурова.

— Я тебя спрашиваю, почему не тридцать — тридцать сребренников? Ведь Иудино это дело. Понимаешь? — И у д и н о.

Буров стоял минуту молча, глядя горящими гневом и презрением глазами на кудрявую голову Першина.

— Я с тобой неразлучно провел пять лет, таких лет, которые редко выпадают людям. Казалось бы, в такие годы можно хорошо узнать человека. А вот, ведь ошибся в тебе, очень ошибся . . .

Сказав это, поискал глазами шляпу и, одев ее, молча, не смотря на Першина, ушел. А Алеша, тоже молча, с усмешкой проводил взглядом Дмитрия.

XVIII. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С ВЕТРОВЫМ.

У Бурова на столе лежали два письма в больших конвертах: один — надписанный рукой Нади, другой чьим-то незнакомым почерком. Правда, хоть Дмитрий и ждал изо-дня в день этих писем, но все-же заныло в груди, когда он разрывал у конвертов жесткие и крепкие края. Так и есть! На глянцевитых карточках было отпечатано приглашение на свадьбу Веры Ветровой и Аллен Уайт. Свадебное торжество устраивали в один и тот же час в арендованном для этой цели банкетном зале какого-то частного клуба.

Дмитрий давно уже решил уехать из города, чтобы не присутствовать на свадьбе и отвлечь от себя новые страдания. Единственно, что только нужно сделать — послать поздравления и купить подарки. Так он и сделал. Купил два электрических кофейника, которые по особенному кипятили кофе, поддерживали его на известной температуре и подавали, Бог весть, какие сигналы хозяйкам маленькой, красной лампочкой, вделанной в блестящую никеллированную стенку. Выбрал поздравительные карточки на красивом муаровом картоне с отпечатанными на них соответствующими стихами. Когда подписывал конверт для Мистера и Миссис Уайт, на слове миссис дрогнула рука, буквы качнулись и соскользнули с прямой строчки вниз.. Чтобы заглушить в себе тоскливое чувство, Буров, расстелил на столе большую карту западных штатов и стал отмечать на ней маршрут своей поездки. Сначала карандаш проворно побежал от Сан-Франциско на юго-запад, пересек Долину Смерти, и его красное заостренное рыльце уперлось в «Хувер-Дам», место первой остановки. Отдохнув там секунды две, карандаш ринулся дальше к Гранд-Каньону, потом из него в город Соленого Озера и уж затем повернул назад, домой, на запад. Такая поездка с остановками могла занять около десяти дней — все что требовалось для Бурова.

За три дня до свадьбы большой серый автобус, с нарисованной на бортах гончей собакой, выехал из города и стремительно понесся по хай-вею. Проехали уже миль шестьдесят, а в окнах все еще мелькали сплошные шпалеры построек. Это были непрерывные звенья отдельных городков, слившихся в один огромный пригород. Как далеко отогнал от себя природу человек! И только, когда свернули в сторону с главного шоссе, ведущего к Лос-Анжелос, развернулся типичный калифорнийский ландшафт: похожие на большие курганы куполо-образные холмы покрытые желтой выженной солнцем травой, с редкими зелеными островками росших в ложбинах дубовых рощиц.

**
*

Автобус привез Бурова в Боулдер-Сити, небольшой городок, выросший среди пустыни во время строительства величайшей в мире плотины. Наспех позавтракав в первой попавшейся аптеке, Дмитрий отправился дальше, чтобы собственными глазами увидеть техническое чудо, о котором когда-то еще студентом - первокурсником, читал в журналах.

Между отвесными скалами, на глубине семисот футов, медленно змеилась голубовато-зеленая лента реки Колорадо. Спокойная, усталая, истощившая свои силы в быстрых оборотах огромных турбин, вода втекала в русло из под бетонной полукруглой стены, преграждавшей течение горной реки.

Осмотр гидро-электрических установок внутри плотины занял часа два. Сначала Буров спустился на лифте в самый нижний ярус, а потом постепенно поднимался вверх, с большим интересом осматривал каждый этаж, вспоминая все то, что осталось в памяти из давнишних лекций. Ведь вот не случись война, а потом этот прыжок в неизвестность и пустоту, может быть, и он, теперь строил-бы такие же плотины, укрощая и обуздывая природу. В каждом зале было безлюдно и царила торжественная тишина, как в опустевшем храме. Так и хотелось обнажить голову, молчаливо стоять и благоговейно думать о величии человеческого гения, как те две бронзовые девушки, что сидят по бокам у входа на черных мраморных пьедесталах, молитвенно устремив руки — крылья в небесную высь.

Кончив осмотр плотины, Дмитрий долго стоял у каменного парапета, глядя на дно отвесного ущелья, где покорно вилась укрощенная река и думал не о колоссальной затрате труда, материалов и денег, не об огромных турбо-генераторах, не о сотнях тысяч вольт и киловатт, которые день и ночь упорно, без устали создает природа, а о мощи и величии человеческого разума. Да, именно, здесь, сейчас можно повторить фразу, сказанную Горьким: слово «Человек» звучит гордо. Вот это он, Человек с большой буквы, вывел обезьяновидного своего собрата из пещер и лесных дебрей, расширил те, казалось-бы, непреодолимые границы естества слабого, обделенного скупой природой HOME SAPIENS. Он усилил остроту зрения в миллионы раз, его голос стал звучать на расстоянии десятков тысяч миль, его пальцы ощущают миллионные доли дюйма, его мозг решает в течении минуты такие сложнейшие математические задачи, на которые нужно было бы затратить всю человеческую жизнь. Его мускулы поднимают сотни тонн и гнут метровые стальные балки с такой легкостью, как будто это тонкий прутик вербы. Человек научился летать по

воздуху, мчаться по земле, плавать под водой и даже может движением рычага или нажатием кнопки в минуту разрушить огромные города и истребить десятки тысяч населяющих их людей. Пусть все еще дремлет в человеческой натуре хищный и жадный зверь, но наступит время, когда Великий Разум преобразит, просветит косные массы и утвердит на земле свою великодержавную волю. И тогда покажется всем людям их прошлая жизнь чудовищным, нелепым кошмаром, когда они истребляли друг друга, разрушали плоды своих трудов, крали у своих собратьев землю, жилища, леса, воду и воздух, когда изуверы, ханжи и паразиты натравливали людей друг на друга и обращали цветущие города, сады и нивы в опустошенные, мертвые пустыни. Будет все это когда нибудь. Утвердится на земле мир, справедливость и счастье. Восторжествует Великий Разум. Только не скоро случится это. И вряд ли доживет Дмитрий до этой счастливой эры царства Человеческого Разума.

**
*

Опять стремительно несся серый автобус, распластавшись, как гончая собака на петлистой дороге. Вот уже и Гранд-Каньон. Автобус медленно въезжал в центральную часть национального парка, где приютился миниатюрный, благоустроенный городок с железнодорожным вокзалом, отелями, лавками и газолиновыми станциями. Здесь Бурову предстояло провести три дня. Распрощавшись с добродушным, разговорчивым шофером, Буров добрался до ближайшего отеля, снял комнату, закусил, передохнул и отправился смотреть на новое чудо, созданное уже не руками человека, а природой, чудо, которому нет равного на всей земле.

У края каньона широко разверзлась земля, открыв свои глубокие недра. Отвесные скалы были нагромождены в таком хаотическом безпорядке, словно Создатель, случайно позабыв этот уголок земли, оставил все так, как было в первый день мироздания. При виде этого необычайного зрелища, все нормальные представления о природе путались и исчезали. Скалы не поднимались к верху, а уходили вниз, в бездонные провалы. Большая птица парила внизу. Она казалась рыбой плавающей в глубинах прозрачного озера. Очень далеко на другой стороне каньона, его верхние края были срезаны ровным плоским плато, уходившим к самому горизонту. Солнце уже садилось, обливая края пропасти яркими оранжевыми бликами. Золотистый отлив, спускаясь вниз, переходил в багряные тона, которые гасли в сероватопепельных, фиолетовых глубинах пропасти. Все вокруг было не реально, фантастично. Все заставляло забыть время, место, свои мысли, чувства и только смо-

треть на эти древние пласты, которые когда-то, биллионы лет назад, клокотали расплавленной поверхностью, излучая в пространство маленький лучик раскаленной планеты Земли. Потом планета остыла. Пласты за пластами наслаивались на ее остывшей поверхности. И теперь, по этим пластам геологи читают, как в древней книге историю земли от самого первого дня мироздания.

Дмитрий посмотрел на часы. Половина пятого. Вспомнил, что сегодня — день свадьбы. Судя по времени, церковный обряд уже прошел. — Вот тоже, — подумал Буров. — Вера в угоду отцу поехала с женихом в церковь. Жених поехал туда в угоду невесте. Алеша, не бывавший в церкви ни разу за всю свою жизнь, тоже, в угоду всем, согласился на церковный обряд венчания. Православный священник в угоду родителям жениха и невесты отслужил первую половину службы по славянски, вторую — по английски. Какая путаница чувств, желаний, целей, поступков. Сейчас, наверное, пьют шампанское, поздравляют, произносят тосты и думают тоже все по разному. Ветров счастлив счастьем своей дочери. Вера счастлива тем, что сделала хорошую партию. Боб счастлив волнующей его мыслью, что через несколько часов он будет обладать красивой девушкой, которую он почти что не знает, Алеша счастлив, что выбился в люди. Аллен . . . вот, может, она, действительно чувствует и думает иначе, чем другие. — Так думал Буров, стоя на краю бездны. И, быть может, эта ирония, с которой он думал о свадьбе, невольно возникла лишь для одного того, чтоб заглушить в нем чувство боли и ревности.

***

Сразу же, после свадебного торжества, молодая чета Уайт уехала из Сан-Франциско проводить свой медовый месяц в живописном уголке Калифорнии у озера Тахо. Под напутственные крики и шутки нарядной толпы в смокингах и бальных платьях, огромный малиновый кадиллак, разукрашенный лентами и пучками серпантина, тронулся, волоча за собой привязанные веревочками пустые консервные банки и старую обувь, как того требовал американский обычай. Кадиллак с ревом набирал ход, оставляя позади себя, на дороге длинные полосы разноцветных лент серпантина и все то барахло, что было так старательно привязано к нему веселой молодежью. Остался только большой квадрат картона с красными буквами: НОВОБРАЧНЫЕ.

Снова потекла тихая, размеренная жизнь, теперь уже без Веры, в доме Ветровых, покуда не нагрянуло на него нежданное несчастье. Недели три спустя после свадьбы, вечером, отобедав Надя убиралась в кухне, а Нико-

лай Алексеевич по обыкновению ушел к себе в кабинет читать. Надя уже заканчивала уборку, когда из комнаты отца послышался мягкий и грузный удар, который она ощутила скорее вздрогнувшим телом, чем слухом. Странным показался Наде этот стук. Торопливо войдя в кабинет, она увидела отца, лежащим на полу посредине комнаты. На посеревшем лице глаза закатились под верхние веки и неподвижно уставились белизной белков в потолок.

Доктор, тот же самый, старенький господин, в старомодном пасторском сюртуке, который когда то лечил мать, явился немедленно. Встал подле Ветрова на колени, вынул из потертого чемоданчика черные резиновые трубки, слушал сердце, проверял пульс и, поглядывая на Надю, неодобрительно покачивал головой. Десять минут спустя, к дому, подвывая сиреной, подъехал амбуланс. Явились в белых халатах санитары с носилками, как то по особенному ловко и быстро уложили Николая Алексеевича на носилки и вынесли его в настежь открытую парадную дверь.

Дня через три Ветров вернулся из госпиталя домой. Доктор предписал ему полнейший покой. Целыми днями в одиночестве бродил по квартире Николай Алексеевич. По привычке садился в любимое кресло у окна и смотрел на залив, который казался теперь серой, бесцветной пустыней. Над заливом заволакивал небо прозрачный душный туман, обращавший полдень в серые сумерки.

— Скорей бы Надя возвращалась, — тоскливо думал Ветров, все время нетерпеливо поглядывая на часы.

Вечером приезжала с работы Надя. Еще не снимая пальто, подходила к отцу, гладила его волосы и участливо, нежно заглядывая в глаза, справлялась о здоровьи. Потом переодевшись в домашнее платье, шла на кухню и наскоро готовила незатейливый обед. После обеда, убрав со стола, сидела около отца, стараясь чем нибудь его развлечь, а у самой душа ныла в тоске. Иногда ей становилось так невыносимо тяжело, что под каким нибудь предлогом шла на кухню и втихомолку утирала там слезы.

Как-то раз вечером Ветров сказал дочери: — Плох я, очень плох ... Что-ж время значит. Слава Богу, сестра твоя устроена теперь. А ты вот как, Наденька?— помолчал минуту, лаская дочь грустной, любящей улыбкой, а потом продолжал:

— Митю-бы тебе, Надя, а? Хороший он человек. Ты уж поверь мне, опыт житейский у меня есть. Зря бы не сказал, если-б сомневался.

— Нет, папа, — законфузилась Надя, чуть-чуть порозовев. — Конечно, он замечательный человек, но мне

больше нравится Павел, да потом Дмитрий Александрович, ведь ... — Надя чуть не проговорилась отцу о том, что давно подметила своим женским чутьем.

— Что потом? Ты о чем? — допытывался Ветров.

— Нет, ничего. Это я так. Мы с Павлом уже говорили. Подождать нам надо еще немного.

— Ну, смотри сама, Наденька. А ты бы все-же позвала к нам Митю. Поболтаю с ним немного, развлекусь. Мысли то теперь все в голову лезут невеселые.. Позови ..

**
*

Вернувшись назад в Сан-Франциско, Буров так ничего и не знал о болезни Ветрова до того, как ему ни позвонила Надя, приглашая его приехать, как можно скорее. В субботу позавтракав, Буров поехал к Ветровым. С утра погода хмурилась, и накрапывал мелкий дождь. В автобусе было душно и сумрачно. Сквозь запотевшие окна слабо пробивались полуденные сумерки. Медленно и скучно тянулась дорога. Две металлических палочки с резинками в смотровом стекле перед шоффером, чертили прозрачные веера, с краев которых ползли струйки дождевой воды.

Дверь открыла Надя. Взглянув на нее, Дмитрий сразу же заметил, как похудело и осунулось ее лицо с большими темными обводами вокруг глаз. Надя протянула ему тонкую руку, радостно, с каким то облегчением в голосе, тихо сказала:

— Как хорошо, что вы приехали. Папа часто о вас вспоминает.. Потом полушопотом добавила: он очень плох, — и у нее задрожали губы.

Ветров лежал на разложенном кожанном диване с большой книгой в руках. На переплете славянская вязь и золотой тесненый крест. Увидев входившего Бурова, Николай Алексеевич слегка приподнялся и радостно улыбнулся:

— Наконец то, Митя! Долго, долго не виделись! Присаживайтесь поближе. Я, вот, как видите, совсем расклеился. Работать доктор запретил. Лежу больше, да вот Библию читаю. Великая книга, — продолжал Ветров, — если вдуматься, сколько поучительного можно из нее почерпнуть для нашего времени. Ну, об этом после.

Ветров начал подробно расспрашивать Бурова о его делах. Дмитрий сказал, что все обстоит «прекрасно», и его даже посылали куда то в командировку по работе, отчего ему не пришлось быть на свадьбе. Ветров немного помолчал. Очевидно мысли у него были сосредоточены на чем-то важном. Так по крайней мере понял Буров, когда Ветров снова заговорил с ним о Библии.

— Представьте себе, никогда не читал ее. Новый Завет знаю очень хорошо, местами даже наизусть. А вот

Библию почему то никогда не читал, да, кажется, поздно спохватился. Не знаю закончу ли ее. Вы, Митя, в Бога верите? — спросил Ветров. Буров ответил не сразу.

— Нравственную сущность учения Христа я признаю, ну, а догматы Церкви, христианскую мистику ... это мне мало известно и, говоря по правде, даже непонятно.

— Что сделаешь, возраст такой, — задумчиво проговорил Николай Алексеевич. -- Я вот тоже ,будучи молодым офицером, помню, увлекался Гегелем, Ницше. А, как попал на войну, снова вернулась ко мне вера, еще глубже, чем в детстве была. Научные книги я тоже почитывал, но не убедительны они для меня. Как то все неопределенно. Самая точная наука породила теорию относительности. В ней нет ни времени, ни пространства, ни материи. Выходит, что всем этим мы пользуемся для простоты. Может быть, именно, простота эта и есть окончательный синтез всех относительных представлений человека, и все должно быть тем, чем оно является. А вот в Библии никакой относительности нет, все ясно, да мало того, что ясно, все имеет какую то надвременную суть. В самом начале, в книге Бытия говорится о вавилонском столпотворении. Вы о нем, наверное, знаете?

— Смутно представляю, — отозвался Буров.

— Ну, если смутно, то этого недостаточно, — улыбнулся Ветров, — вдуматься в это надо. Да. И при том очень серьезно. — Так вот, — начал Ветров, — за пять тысяч лет до нас в долине Ефрата и Тигра расцвела самая ранняя Сумерийская культура. Там люди изобрели колесо, плуг и письменность. Умели добывать и обрабатывать медь и золото, научились многим ремеслам. Там впервые был составлен Хаммураби свод гражданских и уголовных законов. В Вавилоне возникла первая биржа, которая устанавливала цены на товары и труд, траспортные компании, содержавшие караваны верблюдов, и ссудные учреждения, дававшие под проценты деньги и зерно. Вся современная система финасовых операций, векселя и договоры первоначально были выработаны в Вавилоне. Вавилон по тому времени являлся величайшей мировой митрополией, центром промышленности и торговли, куда переселялись соседние инородцы: хуриты, фригийцы, арамейцы. Новые пришельцы, смешиваясь с коренным населением, создали этническую амальгаму, связанную общей лингвистикой и цивилизацией...

В комнату вошла Надя. Она только что кончила хлопотать по дому и теперь ей хотелось посидеть с отцом и Буровым и принять участие в интересном разговоре, отрывки которого она слышала из соседней комнаты.

— Вот это прекрасно, — обрадовался Ветров, — побеседуем все вместе. Надя примостилась на диване у ног отца и стала внимательно слушать.

— Казалось бы, — продолжал Ветров, — такая цивилизация, обединившая разноплеменную массу людей, должна была создать лучшие, совершенные формы жизни и способствовать развитию духовных сил в человеке. А на деле все это привело к совершенно обратным результатам: к нравственному и духовному опустошению людей ... Эти ранние космополиты были целиком поглощены техникой и промышленностью, материальными интересами, наряду с духовной бессодержательностью и нравственным одичанием. Такое смешение племен и языков было проникнуто непомерным самодовольством и гордыней, которые воплотились в безбожном и бессмысленном замысле построить вавилонскую башню. По тому времени она должна была стать чудом техники с антирелигиозным, кощунственным назначением. Библия свидетельствует о том, что Бог воспрепятствовал этому замыслу, рассеял пестрый конгламерат племен и установил на вечные времена закон национальной своеобразности культур и языков.

— Насколько я понимаю, папа, ты говоришь о чрезмерном развитии материальных интересов, — заметила Надя, — но при чем тут смешение языков? То что случилось в Вавилоне, могло случиться и с каким нибудь единоплеменным народом. В данном случае, роль иноземных пришельцев сводилась к пассивному заимствованию всего того, что возникло и развивалось в Вавилоне среди тогдашнего коренного населения.

— Вот, как раз, я хочу сказать, — ответил Ветров, — в чем существенная разница между национальной культурой и космополитической цивилизацией. Национальная культура непрерывно и преемственно развивается в течении всей исторической жизни народа. Она представляет собой целостность бытия и неустанного гармонического развития. Несомненно, человек раньше осознал свою тождественность с родом и племенем, чем свое личное своеобразие между другими людьми, потому каждая личность искала в другом не личную его особенность, а общий племенной признак. Совместная жизнь людей, их сотрудничество и формирование этнического целого возможны только в силу однородности их культурного содержания, поэтому признак племени с древних времен научил людей ценить свое родовое сходство и утверждать его в каждой, отдельной личности. Племенной, национальный инстинкт производил отбор из всего творческого накопления отдельных личностей, сохраняя все то, что чище и ярче выражало общие племенные воззрения, интересы и вкусы. Из этого отбора новые, последующие поколения заимствовали элементы общей культуры, трудились над ними, расцвечивали их яркими красками индивидуально-

го таланта и возвращали их назад в общую сокровищницу народной культуры. Отдельные личности, подобно пчелам, сгущали мед в сотах. Созданное таким образом содержание сходных личных переживаний постепенно принимало прочные формы национальной самобытной культуры, в которой равномерно развивались все ее элементы, отвечавшие запросам духовным, общественным, эстетическим и материальным. Из всего того, что я сказал, нетрудно понять, что в процессе культурного развития народа происходило органическое врастание личного начала в социальное. Но это еще не все. В двойном процессе личного творчества и социального отбора, национальные идеи отстаивались и принимали историческую суть. Личное становилось безличным, временное —надвременным; все это обращалось в такую идеальную норму, которой определялся исторический путь развития всего народа. Правда, в жизни народа могут происходить отклонения отдельных людей или общественных групп в крайности, но это не может изменить или исказить национальную идею, так как такие отклонения всегда будут уравновешиваться традицией, бытом и тем общим мировоззрением, которые уже получили историческую санкцию всего народа.

— Ну, а если все же произойдет такой огромный исторический сдвиг, — спросил Ветрова Буров, — в котором будут разрушены основания национальной культуры, что тогда произойдет с народом?

— Тогда должно произойти одно из двух или национальная культура преодолеет тяжелый кризис и восстановит норамальное историческое развитие народа, или культура погибнет, и народ, т. е. этническая группа, преобразится в нечто новое и, утратив свои нацонально - исторические признаки, уступит место иной, новой культуре.

— Все таки, для меня непонятно, — снова спросил Буров, — почему люди вне зависимости от цвета кожи и языка не могут развивать общую синтезирующую культуру сообща, приемлемую для всего человечества?

— Видите ли, духовные запросы у всех людей различны. Индивидуальные колебания в этой области настолько велики, что космополитической цивилизации, волей-неволей, приходится отбирать только некоторые, неоспариваемые никем, элементы: ну, скажем: науку, технологию, материальные интересы — все это для всех людей более или менее равноценно. В такой цивилизации будет всегда опреобладать рационалистическая наука, техника, материализм, экономические интересы, а религия, этика, и эстетика пойдут на ущерб, т. е. в конце концов, эта цивилизация приведет к духовно-нравственному одичанию. И наоборот, культура национально-

органическая заключает все элементы. В ней проявляются духовные потребности, эстетические вкусы, нравственные стремления, проникнутая своеобразной национальной психологией органически близка ее носителям. Воплощение в культуре духовного облика и духовного опыта предков облегчает потомкам задачу личного самопознания. В национальной культуре происходит естественное развитие и накопление ценностей, а в космополитической цивилизации при столкновении различных культур происходит распад их на составные части, в котором наиболее ценное исчезает. Вот теперь особенно модно говорить о едином мире, о гражданине вселенной. Предположим эта бредовая идея осуществилась бы, то есть, во всем мире были бы упразднены все национальные особенности и были бы повсюду введены единообразные формы быта и общественно-государственные учреждения. Такая космополитическая, тоталитарная цивилизация создала бы формы, исключительно основанные на материально-утилитарных и рационалистических принципах и произвела бы страшное опустошение в душах людей и народов.

Слушая Ветрова, Буров все более и более не соглашался с мнением Николая Алексеевича. Он вспомнил свою недавнюю поездку в Хувер-Дам и те мысли о могуществе человеческого разума, которые волновали его возле грандиозного сооружения плотины. Он стал возражать Ветрову, встретив поддержку со стороны Нади.

— Я думаю, — сказал Буров, — что именно нивеллирующее влияние общечеловеческой цивилизации только сблизит народы друг с другом и преодолеет национальную исключительность и неприязнь.

Ветров посмотрел на своих оппонентов и добродушно улыбнулся.

— Так значит, вы верите в братство народов, купленное ценой духовного обезличения? Утопия это! Никакое братство не осуществимо, если оно связывает только материальными и эгоистическими интересами. Все это внесет в жизнь международную конкуренцию и милитаризм. Самая идея интернациональной цивилизации порождает империализм и мировое господство. Замещение духовных ценностей материальными ведет к развитию личных эгоизмов в людях и не только не упраздняет, но наоборот, увеличивает трудность мирного общения между людьми, углубляет вражду между отдельными социальными группами, даже в пределах одного и того же народа. Я считаю, что попытка человека разрушить органическую ценность живых культур механическим единством безличной, бездушной цивилизации, убогой в своей абстрактной отвлеченности, дело явно антиисторическое и антисоциальное. Если бы вы бы-

ли религиозными, я бы еще добавил, что это дело безбожное и кощунственное.

— Ну, а какова-же тогда роль Христианства в истории? —спросила Надя — главной его целью как раз и является создание объединяющей духовной культуры, которая бы спаяла все человечество.

— Нет, — ответил Ветров. — Религия это откровение Бога, культура — дело рук человеческих. Христианство выше рас и культур, поэтому оно и не упраздняет их многообразия. Христианство это — закваска, которая преобразовывает, возвышает отдельные национальные культуры. По форме оно может выражаться очень многообразно, в зависимости от культурно-исторической почвы. Воплощение христианской идеи в национальной культуре не упраздняет последнюю, а только просветляет ее, повышает ее духовную качественность. Своеобразные культурные признаки должны непременно оставаться, если только они принципиально не противоречат христианской идеологии. Уже много раз делались попытки создать единую христианскую государственность, упразднив национальное своеобразие культур, и всегда эта идея кончалась крахом. Все сводилось к насильственному, искусственному насаждению христианства и, в большинстве случаев, под видом христианства европейцы старались повторить, осужденное Богом, вавилонское столпотворение. Сами европейцы давно уже подменили чистую идею христианства экономическими и политическими замыслами. Христианское миссионерство много раз в истории обращалось в орудие гнета и эксплоатации: сначала язычников обращали в христианство рубашками, разноцветными бусами и спиртом, а потом укрепляли и поддерживали его штыками и пушками ...

Надя посмотрела на часы. Время уже было накрывать на стол.

— Тебе, папа, здесь накрыть? — спросила она отца.

— Нет, нет, пообедаю вместе с вами. Сейчас чувствую себя, слава Богу, лучше.

Пока сидели в столовой и обедали, погода совсем испортилась. Тихо говорили под монотонный, угрюмый шум дождя. Временами этот шум прерывался сильным ливнем, злобно хлеставшим крупными, частыми каплями по стеклам. Тогда все трое минуту молчали и смотрели, как за окнами неистовыми порывами ветра трепало из стороны в сторону широкие игольчатые лапы столетней сосны. Дальше, за низенькой оградой полисадника все застилало сплошной водяной пеленой. Из-за погоды раньше обычного наползли осенние сумерки. Надя зажгла свет.

— А дождь то не на шутку разошелся, оставайтесь-ка,

Митя, у нас ночевать, — предложил Ветров. — Завтра воскресенье, пробудете весь день с нами, ну, а к вечеру домой.

Буров сначала отказывался, но никак не мог придумать уважительной причины к тому, чтоб ехать в такое ненастье домой. Надя тоже настойчиво уговаривала.

— Ведь верно-же, останьтесь, Дмитрий Алексеевич. Если вам уж так непременно нужно в город, поедете после завтрака, и многозначительно добавила, точно хотела предупредить его: к обеду приедет Вера с мужем.

Посидев немного после обеда за столом, Николай Алексеевич, видимо утомившись, пошел к себе отдохнуть. Буров помог Наде убрать со стола, а потом сидели в гостиной и беседовали. Говорила больше Надя. Дмитрий, слушая, — пристально глядел ей в лицо и, найдя в нем какое-то отдаленное сходство с Верой, смотрел на нее с чувством душевной теплоты, невольно сравнивая ее с сестрой. Какая разница между ними в характере, в манере держать себя. Надя проще и искреннее. И говорить с ней можно, как то легче и свободней, без той связанности и напряжения, которое он всегда испытытывал в присутствии Веры. Славная и очень тактичная девушка. Деликатность тоже своя особенная — задушевная, без того холодка и непроницаемого спокойствия, которым отличалась Вера. Вот они уже час беседуют, и Надя ни разу не упомянула ни Веры, ни Першина.

Долго сидели они в полутемной гостиной, покуда ни позвал из своей комнаты Дмитрия Ветров.

— Скучно, поди, вам у нас, Митя?

Буров поспешил успокоить Николая Алексеевича, подвинул стул ближе к дивану и стал разговаривать. А за стенами злобно завывал ветер. Ливень яростно сек стекла, и вода с однообразным, противным до одурения шумом, лилась из водостоков на цементные плиты тротуаров. Под гнетущий шум непогоды Ветров, вздохнув, сказал:

— Да, Митя, без мала пол-жизни прожил я в эмиграции, в том замкнутом мирке, который скудеет, чахнет и вымирает. Лет через пятьдесят от нас не останется и следа, если не найдется какой нибудь бытописатель, который расскажет печальную повесть о том, как сошло на нет, вымерло четыре миллиона русских людей. Сколько пережито горя, трагедий, загубленных зря жизней. Как тяжело, тяжело и бессмысленно сложилась жизнь. Лично я находил единственное утешение вот в них, — Ветров указал на ряды книг на полках. — Они были величайшей радостью в моей жизни. Читая их, родных мне по быту, по духу, я искусственно силой воображения

уходил в далекое прошлое. Помните, как сказал Тургенев о родном языке? Так вот и я тоже ... Но они, эти книги, дали несравненно более ценное и важное. В них я черпал и поддерживал свою веру в Россию. Без этой веры моя любовь к России была бы лишена какого то глубочайшего оправдания. В пору невзгод, общего упадка и сомнений вера ни на минуту не покидала меня. Порукой тому являлась тысячелетняя история России, молодость, сила и выносливость ее народа; порукой тому была нравственная высота наших подвижников, гениальные предвидения наших мыслителей, примеры стойкости и героизма наших воинов ...

Долго еще говорил Ветров о России. Говорил постарчески, когда старость должна оправдать и осмыслить всю прожитую жизнь. Быть может, он понимал, что все это не реальный, искусственно созданный им самим мир иллюзий, в котором ему приходилось доживать свои последние годы изгоем на чужой земле.

Буров слушал тихую, медленную речь Ветрова, временами оглядывая хорошо знакомую комнату с длинными рядами антикварных книг в тисненых кожаных переплетах. Это они, молчаливые книги, соединили таинственными нитями мозг Ветрова с десятками других мозгов. Давно уже нет этих великих людей, а все еще живы и ярки их чувства, мысли, их высохшие слезы. Какими чудесными нерасторжимыми узами связали они с собой, живущих век спустя, потомков. Вот сейчас Ветров повторяет то, что было выношено в их душе, что говорили их уста, и какая то частица их собственного неумирающего я, преодолев время и смерть, продолжает жить и по сей день. Сейчас они смотрят со стен в одинаково подобранных рамах. Смотрят, точно хотят своим присутствием успокоить, ободрить, разделить одиночество и печаль. Особенно Чехов. Его грустные, добрые глаза, сквозь пенснэ неотступно следуют за тобой, как бы ты ни менял место в комнате. Буров, однажды, чтобы проверить свое впечатление, становился под разными углами к портрету, и всюду, прямо в глаза, ласково смотрел на него Антон Павлович ...

Беседу закончили перед полуночью. Надя приготовила Бурову постель на диване в гостиной.

Буров, раздевшись, долго лежал с открытыми глазами. Сквозь щель между полотнищами портьеры в гостиную пробивалась полоска света, освещая черные лаковые бока рояля. За ним когда-то сидела Вера и играла Шопена. И почему же он так полюбил ее и привязался, что одна уже мысль о ней отдается в душе ноющей болью? Даже теперь, когда давно-бы пора забыть. А ведь не забывается. Вот сейчас, глядя на сверкающие чернотой бока рояля, одолевает гнетущее чувство. Страшно

опустошена душа, будто в ней нет чего-то, самого главного.

Свыкнуться надо, забыть ... Легко сказать, а вот попробуй — забудь ...

Квартира молчала. Полоска между портьерами потухла. Надя и Николай Алексеевич заснули, а Буров все еще тоскливо вспоминал о Вере.

**
*

С каждым днем здоровье Ветрова ухудшалось. Две недели спустя, в ночь перед смертью, Николай Алексеевич видел сон: будто шел он по дороге вместе с Буровым. Митя рассказывал что-то веселое и смеялся. Кругом широко растилался русский пейзаж: бледно-синее небо с застывшими на нем купавами белых облаков, поля с золотистым разливом ржи, за полями зелень березовой рощицы, мирно дремлющей над узенькой речкой. Вдали в истоме жаркого дня раскинулась какая то деревенька .. А Буров все что то радостно рассказывал. Рассказывал и не замечал, что на горизонте небо потемнело, стало черно-красным, как будто полыхало на нем зарево далекого пожара.

— Смотри, Митя, смотри! ...

Издалека, прямо на них, упираясь в небесную мглу, надвигался огромный столб. Все ближе и ближе этот вихревой смерч, повитый красноватым пламенем, за кручиваясь огненной спиралью, рассыпаясь мириадами искр, шел на них, прямо на них. Поле опаленное и смрадное уже задымилось под ногами. Смерч надвинулся вплотную, обдал пламенем и вовлек в свой круговорот Митю. Исчез Митя. Самого Ветрова лизнуло чем то нестерпимо жарким, так что захватило дыхание ...

Да это — не смерч, не сон. Жар прилил к голове и трудно дышать, душит грудь страшной, невыносимой болью. Ветров из последних сил хрипом звал дочь.

— Надя ... Н а д я . . .

**
*

Хоронили Ветрова в ясный и холодный осенний полдень. На кладбище собралось очень много народу. Все стояли грустно - приветливые, как-то по особенному кланялись друг другу, словно этими молчаливыми поклонами выражали печаль и участие. Около могилы стояли самые близкие: дочери, Денисов, Щетинины, Алеша с женой, старики Уайт. Буров затерялся позади, в толпе каких то незнакомых людей. Через плечи, впереди стоявших, он видел Веру. У нее тряслись плечи от беззвучного сдавленного рыдания. От тупой боли в Бурове все крепко подтянулось внутри, и он стоял, стиснув зубы, потупившись, ни на кого не глядя.

Похоронили Николая Алексеевича рядом с Натальей Ивановной.

С кладбища Бурова подвез незнакомый человек в поношенном пальто. Маленький автомобильчик, дребезжа расхлябанным ходом, медленно полз по шоссе в город, а незнакомец вспоминал годы гражданской войны, ветровскую дивизию и ее боевого командира.

XIX. ОДИНОЧЕСТВО.

Ни отзыва, ни слова, ни привета,
Пустынею меж нами мир лежит,
И мысль моя с вопросом без ответа
Испуганно над сердцем тяготит!
Ужель среди часов тоски и гнева
Прошедшее исчезнет без следа,
Как легкий звук забытого напева,
Как в мрак ночной упавшая звезда.

А. Н. Апухтин.

После смерти Николая Алексеевича еще глубже и сильнее переживал свое одиночество Буров. С Першиным он порвал окончательно, и после ссоры не искал и не хотел примирения с ним. Очевидно Алеша это понял, потому что и он со своей стороны не делал никаких шагов к примирению. Да и видел Буров Алешу за все время один только раз — в день похорон Ветрова на кладбище. Дмитрий, проходя мимо Першиных, как то быстро, неопределенным движением головы поклонился им и, не остановившись, пошел дальше, провожаемый неудомевающим взглядом Аллен.

— Что случилось? — испытующе посмотрев на Алешу, спросила Аллен.

— Так себе, ссора, — стараясь говорить равнодушно, ответил жене Першин.

Теперь у Бурова из близких знакомых остался один Денисов. Раз или два в неделю Дмитрий заходил к нему, прихватив по дороге бутылку водки и какой нибудь закуски. Николай Иванович жил неподалеку от Бурова в маленьком деревянном флигельке на задворках большого дома. Квартира состояла из двух клетушек с крохотной кухней и ванной комнатой. В гостиной едва умещались протертый плюшевый диван, пара таких же кресел и прислоненный к углу, давно не употреблявшийся, покрытый простыней мольберт. Никому ненужный, изношенный жизнью человек заполнил нищую пустоту этой комнаты убогим хламом.

Сам Николай Иванович выглядел очень плохо. Он обрюзг, опустился и сильно пил. Доктора нашли у него сахарную болезнь, предписали строжайший режим, но потом махнули на него рукой — болезнь была безнадежной, а сам пациент прибегал к лекарствам только в приступах сильной боли, а когда чувствовал себя луч-

ше, запускал лечение и снова начинал свой запой. Он давно уже бросил живопись. Чтоб не умереть с голоду, находил временную работу и за гроши расписывал стены кабаков полуголыми девицами, ковбоями и индейцами.

— Пить вот доктора запрещают, — жаловался Денисов Бурову. А для чего тянуть-то? Для чего?

На желтом, одутловатом лице нервно сдвигались и поднимались брови, и рука тряслась так сильно, что через край рюмки расплескивалась водка и расползалась на скатерти влажными пятнами.

— Ну, хоть ради искусства, — старался говорить, как можно убедительней, сильно захмелевший Буров. Ведь одаренный же вы человек, Николай Иванович.

— Искусство, говоришь? — горько усмехнулся Денисов. — Да разве это искусство копировать природу или малевать каких то экзотических чучел? Нет, без вдохновения художественное творчество невозможно. А откуда взяться этому вдохновению? Денисов начал нервно дергать бровями. Опять трясущейся рукой наполнил рюмку, расплескивая водку через края. Опрокинув ее, сидел минуту молча, уставившись куда-то в пространство, потом продолжал:

— Вот Куприн — талантливый писатель был, а за границей ничего не мог создать значительного. Он и сам в этом признавался близким, тем, кто его понимал. А понимали его очень немногие. Под конец, по настоящему взгрустнулось сердцу. Потянуло душу в родные места, к истокам жизни, и тогда горькая, отвергнутая им родина, показалась ему обетованной землей. Да-ас!

Выпив еще рюмку, ничем не закусывая, закурил сигарету и о чем то упорно думал, уставившись невидящими глазами в тарелку с остатками ветчины.

— Покойник-то, Николай Алексеевич тоже тосковал. А скажи-ка, кто не тоскует? Может тот, у кого душа обросла щетиной. **Только Ветрова вера спасала.** Глубоко верующим человеком был, унынию и соблазнам никогда не поддавался. В Россию то он тоже крепко верил. Хотелось бы так верить, как он, да только, знаешь, чем ближе к старости, тем больше сомнений. Я вот часто задумывался над судьбой России и пришел к окончательному выводу, что ее то уж больше нет, как Андрей Белый пророчествовал — исчезла в пространстве. Нет, нет, Митя, ты не перебивай, дай до конца мысль досказать. Франция пережила в свое время революцию, а все же осталась Францией. Германская империя обернулась третьим рейхом и то-же осталась Германией. А с Россией— не то! Ее судьба схожа с распадом античной империи Александра Великого или Золотой орды. Были и сплыли. Полное исчезновение национального целого и культуры, исторический срыв, замещение каким нибудь но-

вым этносом без всяких следов славянской, византийской и европейской культуры. Бывшая Россия теперь только закваска, дрожжи для какого-нибудь там панмонголизма, для новой, еще неведомой миру цивилизации. Тут даже вопрос и не в революции, а в более глубокой онтологической сути. По крови мы — полумонголы. Отличало нас от чистых азиатов только культурное влияние Византии и Запада. Мы, быть может, еще двести лет продолжали быть восточными европейцами, несмотря на революцию и смену народного мировоззрения, знаешь, как Блок сказал:

Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас:
—Монголов и Европы!

Главное - то в том, что культура, которая отличала нас от монголов, переживает период своего декаданса, агонизирует. Причина нашего национально-культурного распада кроется в общем увядании европейской культуры. У нас это проявилось сильнее и раньше, потому что в России европейская культура была менее устойчива: разрушительная сила пошла по линии наименьшого сопротивления. На замысел Петра прорубить окно в Европу, через двести лет история ответила огромной брешью в стене за Уралом, отделяющим Европу от Азии, и в этот пролом хлынула лава панмонголизма, истребившая Россию в культурно-историческом значении этого слова. Еще задолго до революции западно-европейские мыслители предсказыывали грядущий закат Запада. Ведь не зря-же Шпенглер говорил: «Мы люди умирающего Запада. Правда, мы еще живем, но тем не менее, мы уже стремительными шагами приближаемся к своему неизбежному концу. Мы исчерпали до дна все источники культурного творчества. У нас нет веры. Утрачено вдохновение. Гаснет дух жизни. Европейская культура медленно, но неуклонно умирает» ...

— Конечно, — продолжал Денисов, — трудно окончательно предрекать судьбу великой цивилизации, но нельзя сомневаться в явлении ее упадочного состояния. Западная культура не только застыла, замерла в известной стадии своего развития, но даже отброшена вспять.

— А я с вами, Николай Иванович, принципиально не согласен относительно Европы и России.

— Так насчет Европы я тут не при чем, я только процитировал известные фразы Шпенглера, — поправился Денисов.

— Да, да, я понимаю. Конечно, то о чем вы говорите — широкая, смелая, оригинальная схема, но, все-же, только схема. Говорить о закате Европы преждевременно и неосновательно. А вспомните-ка, как диалектика истории решала все европейские «кризисы», «сумерки» и

«закаты». На автократию папы она ответила Лютером, на европейский феодализм — французской революцией, на бедственное положение английских рабочих — новыми идеями о человеческом труде. Все это являлось частными кризисами в истории прогресса, но в этом нельзя усмотреть умирания и заката европейской культуры. В данном случае философия делает широкие, обобщающие и ошибочные выводы из частных фактов. За свою историю Запад накопил у себя много заблуждений, ошибок и невежества и хранит все это, как Плюшкин в одной куче. Временами эту кучу перебирали, выбрасывали из нее все негодное, а потом подбирали многое из этой ветоши и снова складывали назад ... А на счет окончательного и безусловного национального распада России — ведь это тоже отвлеченная схема. Революцию эмигранты восприняли не как исторический факт, а как Апокалипсис, как конец русской истории. Я не спорю, трудно русскому эмигранту в его положении быть объективным, трудно вглядываться в новую, чуждую, враждебную им действительность. Личные болезненные переживания, предвзятость, пристрастность, ущемленные интересы, — все это дает простор таким человеческим эмоциям, контроль над которыми навсегда безнадежно утерян. У иного русского беженца в революцию украли «дюжину серебрянных ложек», и эти пропавшие ложки на всю жизнь остаются мерилом в оценке всех сдвигов и изменений советской действительности. Это, конечно, крайность и грустный анекдот. Большинство потеряло все, пережило трагичную катастрофу, гибель любимых людей. Революция опустошила и выжгла их души, погубила все ценное и святое, что только может вместить в себе человек. При таком самочувствии неизбежно голое отрицание всякого положительного явления в советской действительности. Никакой просвет, улучшение, оздоровление уже априори недопустимы.

Вы вот, Николай Иванович, говорите о полнейшем национальном распаде России. А скажите по совести, был-ли популярен эпитет — «национальный» в старой России среди интеллигенции, власти и народа? Для старой интеллигенци, в своем большинстве «западнической» и прогрессивной, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавием. Слово «патриот» для интеллигенции звучало оскорблением. Национальная идеология являлась монополией только крайне-правых, реакционных групп. Русская национальная идея, вдохновлявшая когда то ранних славянофилов и Достоевского, с течением времени была опошлена, и те, кто заушал ее, совершенно забыли о ее положительном, творческом содержании. Власть тоже понимала национальную идею по своему, умертвив в ней

нравственный смысл. У них национализм выражался главным образом в травле малых народностей, в умерщвлении их законных прав российских граждан. И, наконец, народ — народ, который столько веков по крохам собирал и создавал свое государство, на третий год мировой войны отказался защищать его. Он утратил свой национальный инстинкт. Ему ничего не было жаль, если это не касалось его волости или уезда.

А теперь совсем иначе. Пусть сейчас в России много безотрадного, тяжелого, даже невыносимого, но национальное сознание и воля крепки в народе. Война была тяжким экзаменом всему народу, который он блестяще выдержал. Гитлер, как попугай, твердил, потерявший свой былой смысл афоризм Бисмарка, о великане на глиняных ногах. Он верил, что повторится семнадцатый год, — развала фронта, тыла, братание. Но к его ужасу и недоумению война приняла другой оборот, и мир был подписан не в Бресте, а в Берлине.

И культура, национальная русская культура не зачахла и не захирела. Она, как тысячелетний могучий дуб, высится над страной. Ни безразличие иных современников, ни бури эпохи не могли сломить или истощить его могучей силы. Под его надежной, широкой сенью растут и крепнут молодые побеги. С его вершины видны широкие горизонты национальной жизни . . .

Долго и горячо говорил Буров. В его словах звучала крепкая вера в Россию. И слушая Дмитрия, Денисов не мог понять одного, — как человек, вынесший столько личного горя, человек без родины, изгой, мог сохранить в себе столько веры и любви к своей родине.

**
*

Сколько в последние годы Буров испытал тяжелого. На какие, поистине, страшные картины разрушения и смерти он только не насмотрелся своими собственными глазами. И смерть не раз проходила мимо, едва не коснувшись своей разящей дланью, но такого душевного гнета, который Буров испытывал теперь, он прежде даже не мог бы себе и представить. Стараясь, как нибудь, уйти от него и забыться, Дмитрий не раз принимался по вечерам за чтение. При последней встрече Ветров одолжил ему томик Бердяева. Быстро осилил половину книги. Потом умер Ветров. Не до чтения тогда было Мите. И уже после этого много раз открывал книгу, рассеянно перечитывал все одну и ту же страницу. Дальше читать не мог. Отложив книгу, сидел минуту задумавшись, затем одевал пальто и брел к Денисову или в бар.

Все чаще и чаще проводил он вечера, сидя на высоком николлированном табурете у длинной стойки. Вокруг него в полумраке сидели люди с серьезными, унылыми лицами, как будто давным давно им наскучило пить в

темном зале под заунывное, трескучее нытье фонографа-автомата. Иногда в бар врывалась гурьба матросов, молодых, подвыпивших и ребячески шумливых. Приходили влюбленные парочки, забивались в укромный уголок, сидели там шепчась, а потом впивались друг в друга губами и так застывали на виду у всех в поцелуе. Порой к Бурову присаживалась девушка с высокой грудью и учтивым равнодушием в красивых глазах. Девушка доставала из сумочки сигареты и просила у Дмитрия спички. Дмитрий знал, что после этого девушка попросит купить ей коктейл. Знал, что за каждый выпрошенный у посетителя бокал, девушка получает от владельца бара гривенник. В таких случаях Буров доставал пяти-долларовую бумажку и протягивал ее девушке.

— Возьмите себе. За эти деньги вам пришлось бы выпить пятьдесят бокалов горькой, обжигающей смеси джина и вермута. — Девушка, молча брала деньги и, уходила довольная и немного сконфуженная. Минуту спустя, она подсаживалась к кому-то на противоположном конце стойки.

На все, что творилось вокруг, бесстрастно смотрел человек за прилавком, — крепкий, коренастый старик-серб. Временами, когда в баре бывало мало посетителей, он подходил к Бурову, называл его братушкой и вспоминал, как воевал он на Саве с австрийцами, и молодой король Александр, собственноручно наградив его медалью, подал ему руку ... Чем то далеким и странным звучали для Бурова эти тихие слова серба. Почему король, Сава и австрийцы, когда в углу, не переставая трещит шеффль-борд, вспыхивая разноцветными кружками. Там девушки и молодые люди, разделившись попарно играли на коктейли. Закончив игру, повеселевшие и возбужденные они подходили к стойке, выпивали заказанные дринки и снова шли играть новую партию ...

Пил Буров молча, сосредоточенно и, хмелея, все плотнее стискивал челюсти, пристально уставившись в какую-то точку прямо перед собой. Вино не давало успокоения. Хмель от головы медленно разливался по всему телу. Туманилось сознание, путались окрывочные мысли, гасли все образы, все воспоминания. Казалось сама жизнь отлетала, а на душе оставалась одна огромная, тупая боль, такое гнетущее чувство, для которого нет ни сравнения, ни слова. Кончив пить, шатаясь, выходил из бара и потом долго, бесцельно бродил по опустевшим улицам.

Моросило. На ресницах оседала водяная пыль. Словно погруженные на дно морское застыли скованные густым туманом улицы. Изредка, шурша по мокрому асфальту, проплывет автомобиль, ослепив на мгновение блестящими огнями фар. Проплывет и исчезнет в мут-

но-серой дали. И опять одиноко бредет Буров по этому фантастическому дну, над которым высятся, как подводные скалы хмурые, давящие своим мертвым спокойствием здания. Долго бесцельно бродит Буров по безлюдным улицам. Они кружат, петлят, пересекаются и можно целую вечность проплутать в безнадежном отчаянии по этому незнакомому лабиринту чужого города, не находя выхода из окружающей мглы и одиночества. В голове плутали отрывочные мысли, неожиданные, бессвязные. Придет на мгновение одна и сразу же исчезнет, не давая возможности хорошенько вдуматься в нее.

Почему то вспомнил о Бакунине. Ведь вот он, был когда-то в этом городе, правда, ненадолго, проездом. Промелькнула метеором мятежная его душа, не знавшая ни покоя, ни отдыха, обуреваемая стихийным, хаотическим порывом к чему то ... Так вот, всю жизнь и метался по всему свету этот неистовый человек, а все же под конец жизни не выдержал, вернулся на свою землю, обрекая себя на суровый суд и тяжкую кару. Образ Бакунина рассеялся и исчез. После артиллерийского поручика, почему то вспомнилась старая хохлушка, которая часто гуляет в городском сквере со своими внучатами. А когда их нет, старуха уныло ковыляет по аллее одна, подсаживается к Бурову и жалуется ему, что «ее чильдренята засиковалы» ...

— Эх, бабка, бабка! — думает Буров. — Какая общая трагичная судьба связала тебя с Бакуниным, Курбским, Каташихиным, Герценом, Глинкой ... Ведь трагедия наших современников со всеми ее муками и нелепостями уже повторялась бесчисленные разы в прошлом. Ведь вот и ты, поди, не спишь по ночам, тоскливо вспоминая свою полтавщину, когда была ты молода, хороша собой и обряженная лентами, в миткалевой вышитой сорочке, в полусапожках со стальными подковами хаживала со своими подругами и пела старинные казацкие песни. Няньчить бы тебе теперь своих казачат и не ломать мелодичную украинскую речь нелепым перевиранием чужеземных слов.

Извечно на Руси недовольство жизнью, дух протеста воплощались или в подвижничестве, или в скитальчестве. Поднижники уходили в дремучие леса, сжигали себя в далеких скитах. Скитальцы бежали в степи, в Сибирь, Польшу, Литву, Англию, Америку. Оттуда писали гневные грамоты, там печатали книги, издавали журналы, организовывали фалангстеры, гибли на чужих баррикадах. А под конец жизни чадили и гасли их пламенные идеалы, тлели на медленном огне их души и оставалась одна пустота, да тоскливое чувство своего сиротства на чужой земле. Ведь это еще вопрос, что человеку легче, мгновенно-ли испепелить себя в пламени или медленно тлеть, обращаясь в пепел и прах?..

Что значит сам по себе, человек без земли, языка культуры, народа? Любовь к родной земле — святыня. Но эта святыня теперь осмеяна, обесценена. Небрежность ли это или глупость? Пожалуй ни то, ни другое. Скорее боязнь и ненависть, как у великого инквизитора к Христу. Страх осознать свое сиротство, ничтожество, бессилие. А раз эта величайшая ценность не приносит пользы людям, для них недосягаема, она отвергается, осмеивается. Люди тратят силы на пустой, бесцельный труд, забываются в кабацком разгуле. Они сходят с ума, надломленные невыносимой тоской и одиночеством, стареют в своем бессмысленном бродяжничестве по миру. Любовь к родине, этот великий дар человеку скрыт в темноте, плеснеет в сырости, подтачивается голодом и холодом, извращается обидами, торгует собой, предательствует. Мы боимся теперь этого чувства, не бережем его, проматываем, заглушаем всякое его проявление и с подобострастной, холопской улыбкой повторяем пошлый афоризм: "UBI BENE, IBI PATRIA" . . .

Хмуро молчала туманная мгла. Изредка шуршали по мокрому асфальту автомобили. Всюду царило безлюдие и пустота. В оцепеневшем покое улиц одиноко бродил Буров. А набродившись до устали, сильно шатаясь, медленно поднимался к себе в комнату. Мешком валился на кровать, укрывшись с головой пиджаком. Какая усталость и тяжесть во всем теле. Вставал с постели, закуривал и снова мучительно думал: — Вот я, четыре года провел на войне. Это тяжелое и страшное время кажется теперь легким и отрадным. Тогда был порыв, большая и важная цель в жизни, я чувствовал себя активным деятелем истории, защитником родного мне народа. И на что же я все это разменял? На приниженное, погрязшее в тине мелких забот прозябание. Меня обвалакивает быт густой и клейкий, безъидейный, ограниченный и жестокий. Какая все же вопиющая ненужность! Как страшно сознавать, что все чужое вокруг тебя и ты — чужой всему окружающему. Зачем я ушел со своей земли, из своего племени? Я потерял цель в жизни, повседневный, полезный и хотя бы докучливый труд. Мог бы строить мосты, дороги, водопроводы, вкладывая свой труд в общее дело. А теперь? Кто я теперь? Абстратная единица для статистики? Живой робот? Одна человеко-сила, приставленная к тысячи киловатт и машинных сил? Чувствую-ли я свою укорененность в быту? Могу ли я выразить и передать другим, окружающим меня людям, тончайшие оттенки мыслей и чувства? Могу ли я сам понять этих людей, оказавших мне приют?

И думая обо всем этом, чувствовал Буров, что для него все кончено, что счастья нигде не сыскать, что впереди — пустота, тоска и безнадежность. Опять курил. Пе-

пельница до краев была наполнена окурками, и в комнате повисла сизая пелена дыма, дыма одиночества и тоски. Буров открыл окно, проветрил комнату. В него ворвался холодный воздух, пропитанный дождем и газолиновым перегаром. Уже два часа. А в шесть надо вставать на работу.

**
*

В часы тоски и одиночества сердце просило любви. Все еще жарко пламенело в душе безответное, неразделенное чувство. Буров не мог думать о Вере связно и последовательно. Но не думать о ней — он не мог. В воспоминаниях о ней для Дмитрия заключалась теперь какая то горестная, но единственная отрада. Временами он не мог припомнить ее лица: Вера представлялась ему смутным, лишенным реальных черт призраком, и ему даже казалось, что Веры живой, настоящей Веры, никогда даже и не существовало, а только жила в нем какая то дорогая, близкая ему мечта, чем то неразрывно и навсегда с ним связанная. Но иногда, почему то, словно открывалась потайная калиточка в памяти, через которую входил четкий, до боли реальный живой ее образ. Стены убогой комнаты раздвигались и исчезали, рассеивался табачный дым, тянуло свежестью океанского простора. К горизонту спускался красноватый диск солнца. Вера стояла в легком летнем платье на краю каменной гряды, и тонкая прядь волос золотой паутинкой вилась на лбу . . . Снова сдвигались стены, сизой пеленой стелился табачный дым. Веры уж не было. И как ни старался Буров снова представить себе ее образ, он уже больше не появлялся.

От Денисова Дмитрий узнал, что Вера бросила службу в конторе и с мужем поселилась в барской квартире, где то в центре города. Буров часто представлял, как Вера, почему то, именно, всегда одна, поднимается по каменным ступеням подъезда и скрывается за широкими стеклянными дверями входа. Потом идет по пушистым коврам в гостиную, садится за рояль и играет Шопена. И, воображая себе роскошь и комфорт барской квартиры, Буров веселел. На душе у него становилось легко и радостно, радостно за Веру.

**
*

Опять пришел к Денисову Буров. В сумерках сидели на протертом плюшевом диване и беседовали. Дмитрий делился с Николаем Навновичем всем тем, что накопилось у него на душе, что тяготило и волновало, о чем он напряженно и мучительно раздумывал, одиноко блуждая по безлюдным улицам в ночные часы.

— Может у русского, француза и китайца есть какая то общая рассудочность и логика. Но помимо этого, безусловно есть и совокупность врожденных чувств,

идей, привычек, коренных симпатий и антипатий. Все это не силлогизм, не рассудочная бухгалтерия, а психология людей, связанная с органической природной сутью, которую трудно выразить и определить словами. В душе каждого человека глубоко упрятаны врожденные восприятия, которые властно притягивают его к известному разряду и качеству идей, интересов, привычек и отталкивают от всего другого независимо от логики и чистого разума.

— Все это верно, Митя, — соглашался Денисов.

— И еще вот,— продолжал Буров, — мечта о бессмертии. Может она и есть самая главная необходимость для человека. Человек хочет жить и трудиться для вечности, воплотить себя, свою мечту, свое дело в детях и внуках. Ну, а теперь это чувство вечного, еще при жизни, оказалось заколоченным в гроб и погребенным. Мы не получили никакого наследства, нет и тех, кому следовало бы его завещать. В тридцать пять лет человек оказался лишним, выброшенным за борт, сданным в архив. От себя он ничего уже не ждет. Собственная жизнь ему кажется ненужным балластом или даже отрицательной величиной.

Денисов внимательно слушал, участливо покачивая головой.

— Тяжело, конечно, очень все это. Но чего-же уже так томиться и унывать? Это еще нам старикам — дело другое. А ты человек молодой, жизнь вся впереди. Может встретишь кого нибудь, будет у тебя тогда, если не цель, то хоть какой то смысл жить. Ну, вот, Алеша Першин женился, свил себе гнездо и повидимому очень счастлив.

— Алеша, может быть, и будет счастлив, а я то— нет! А что в такой жизни облагораживающего, возвышающего? Разлетятся все мечты, останется скучная действительность с заботами о собственной сытости и благополучии. Быстро завянет от такой жизни человек. Сначала потоскует, растерянно будет думать куда бы ему приткнуться. А потом без большой цели в жизни все низкое, плутовское, все жестокое в человеке выплывет наружу. Без такой цели человек станет злым, скучным, самодовольным. Он даже может и возомнит, что такой ничтожный, ползущий по земле червяк и есть идеал человека.

— Унывать-то так тоже в твои годы не следует, Митя, — убедительно ответил Денисов. — Ведь пойми ты, что мы люди покалечены страшным переломом, лишние мы люди, изгои. Жить приходится не так, как бы хотелось, а как сложилась судьба.

— Слабое утешение. Вы вот, Николай Иванович, тоже не стоик. И вас жизнь надломила.

— Да, покалечила изрядно, — согласился Денисов. Но

ведь в моей неудавшейся жизни не одна только революция повинна. Было в ней много личного. Такая драма у человека может случиться в самое тишайшее и спокойное время, в каком нибудь, скажем, Миргороде, среди старосветских помещиков. Если-б не это одиночество в старости, может и я был бы другим человеком. Ты, Митя, ответь мне откровенно на один вопрос. Предположим, полюбил бы ты кого нибудь и встретил взаимность, смирился-ли бы ты с теперешним своим положением?

— Может быть, да! — тихо ответил, потупившись, Буров.

— Я тоже так думаю. Жаль, что вот с племянницами так получилось. Ну, Вера по натуре особый человек. А вот Надя совсем другая — душевная девушка. Жаль мне ее. И надо было ей встретить этого увальня. Отец ведь был против. Я, разумеется, тоже. Ничего не могли с ней поделать. Может и не любовь здесь вовсе, а чувство жалости к нему.

Да, — грустно вздохнул Денисов после долгой паузы. — Разорилось ветровское гнездо. Дом - то племянницы решили продать. Надя переехала в город, сняла комнату. Скоро наверное и замуж выйдет ...

Вернувшись домой Буров долго думал о разговоре с Денисовым и вспоминал Алешу Першина.

— Ну, и что же с того, что свил гнездо, — говорил сам себе Дмитрий без неприязни, а скорей с какой то ноткой сожаления. — Так ты думаешь, что человек может прожить без родины? Врешь, Алексей! Врешь самому себе. И что тебе за охота убеждать себя, что ты счастлив, доволен, удовлетворен, когда сам знаешь, что внутри то все же страдаешь. Страдаешь уже тем, что истину, которую носишь глубоко запрятанную внутри себя, не можешь еще вполне осознать. Жизнь ради самого себя, ради бесцельного существования — не жизнь. За нее я бы не дал и ломаного гроша! ...

Буров все же не смог удержаться, что-б не поехать посмотреть в последний раз на ветровский дом. Посмотреть новыми глазами на старое, пережитое и невозвратное. Он долго стоял у ограды, к которой была прибита большая пестрая вывеска с надписью о продаже дома. Пристально всматривался в черные глазницы пустых окон. Перед домом желтел неровный проросший газон, среди которого пробивались пучки сорняка. Дорожки, усыпанные гравием, тоже заросли сорняком, точно хотели скрыть следы минувшей счастливой и тихой жизни. Эта пустота и заброшенность казалась осязательней воскрешала воспоминания и далекие образы. Здесь жил старик Ветров. Здесь часто сидели Вера с Надей, Алеша, Шетинины ... Часто в этом саду работал он сам, помогал Вере перекапывать клумбы с цветами. Од-

на только вековая сосна осталась, как прежде, и ее огромные, раскидистые лапы слегка кивали Бурову сочувственным и грустным приветом.

Долго стоял у ограды Буров. Стоял и томился чувством какой то глубокой, печальной неправды, томился сознанием горькой ошибки и своего потерянного счастья.

XX. МИТИНА ГИБЕЛЬ.

И душу Твою пронзит меч.
Лука Гл. II. Ст. 35.

Эта мысль подкралась неожиданно и незаметно. И когда Буров отогнал ее, она, как испуганная птица, быстро вспорхнув, улетела куда то. Улетела и долго не появлялась, так что Буров даже забыл о ней. Через несколько дней она явилась снова, и хоть Буров отогнал ее опять от себя, на этот раз она отлетела неторопливо, лениво взмахивая крыльями, издали напоминая о себе назойливым криком. Потом это стало повторяться чаще. Дмитрий заметил, что эта мысль словно кружит над ним, все уже и уже замыкая свой круг. Теперь он не отгонял ее от себя, а как-то робко стал думать о ней все больше и больше, покуда она не впитала в себя все мрачные чувства, всю тоску и гнет, что тяготели над одиноким Буровым.

Попрежнему над городом висели осенние туманы. Попрежнему по вечерам в комнате плавали сизые волны табачного дыма, и пепельница до краев была наполнена сигаретными окурками, но сам Буров уже почувствовал какое то облегчение. Все стало теперь легче и проще. Его уже не пугали изнуряющие будни и тоска. Митя бросил пить, перестал посещать Денисова и даже реже вспоминал о Вере. По вечерам он сосредотачивался над своей мыслью деловито и как-то чересчур уж спокойно. Он не знал, когда это случится, через неделю, месяц или даже год, но уже был уверен, что это должно случиться, что оно неотвратимо.

Развязка произошла раньше, чем того ожидал Буров. Однажды он видел во сне что-то очень смутное, неясное и зловещее, чего нельзя пересказать на словах или представить себе четко на яву. Буров проснулся среди ночи от какого то необъяснимого тяжелого чувства, которое пронизало словно током все его существо. Впечатление смутного сна было настолько ярким и сильным, что Бурову показалось, будто в нем помимо участия сознания и воли произошла решительная борьба между жизнью и смертью, в которой победительницей оказалась смерть, и теперь она властно подчинила себе все чувства, мозг и волю. Сердце сильно и часто билось, мозг лихорадочно работал и

мысль о самоубийстве, прежде вялая и безвольная, вылилась в форму окончательного бесповоротного решения, которое не нужно и нельзя больше откладывать. И действительно, утром, когда зазвонил будильник и надо было вставать, Буров остановив его дребезжащую дробь, продолжал лежать в постели. Он снова заснул и, встав около девяти, очень долго и тщательно брился, одел хороший костюм и потом уселся писать. Закончив письмо, достал из чемодана бархатный потертый футлярчик, завернул его в оберточную бумагу и перевязал крест на крест тонким шпагатом. Около полудня Буров сходил в почтовую контору. В момент, когда чиновник брал из его рук заказное письмо и посылку, Дмитрий почувствовал приступ безъисходной тоски, настолько болезненно ощутимой, что на лбу выступили капли холодного пота. Он ясно понял, что совершилось непоправимое и теперь уже нельзя изменить свое страшное решение. С почты ноги несли его сами собой в кафэ, оттуда в бар, и Дмитрий чувствовал, что какая-то непроницаемая завеса теперь отделяет его от городской суеты и живых людей. В те часы его назойливо преследовала одна только мысль. Когда барышня поставила перед ним чашку кофе и тарелочку с яблочным пирожным, Дмитрий прежде всего подумал о том, что он пьет кофе последний раз в жизни. Та же неотступная мысль лезла в голову, когда он болтал о чем-то со стариком сербом, потягивая из стопки виски. Завтра, в это время здесь будут сидеть люди, пить, разговаривать и смеяться, а его уже не будет.

— Конечно, не будет, — подумал Буров с болью и злобой, раздраженный этой навязчивой мыслью. — К черту все эти сантиментальные чувства! Нужно заглушить в себе все. Не думать ни о чем до самого вечера. Так легче. И он напряг всю силу своей воли, чтоб заставить себя не думать ни о чем. Вернувшись домой, прилег на кровать, чтоб заснуть и как нибудь скоротать время. Долго продолжался этот крепкий, без сновидений сон, и когда Буров проснулся в комнате было темно. Дробно стучали по окнам дождевые капли. С улицы пробивался мутный свет фонарей. Кто-то, скрипя половицами, ходил в соседней комнате, и тихо подвывало радио.

— Теперь пора. Буров встал, зажег свет, открыл верхний ящик комода и достал из под стопки белья вороненый немецкий валтер. Дмитрий побледнел, серые глаза стали черными, когда он держал в руке трофейный пистолет, Алешин подарок. Вспомнил, как в день окончания войны Першин протянул ему аккуратно перевязанный сверток с приложенной к нему открыткой -ви-

дом Бранденбургских ворот. На обороте открытки была надпись:

Боевому товарищу Лейтенанту Д. А. Бурову
в память Победы.
А. Першин. 2-го Мая 1945. Берлин.

Мог ли он думать тогда, что этот роковой подарок окажет ему последнюю страшную услугу? Вынул из замшевого кармашка блестящую обойму, из которой выглядывала красная головка верхнего патрона. Долго не мог оторвать взгляда от этого кусочка металла.

— Еще полчаса, а потом легкий нажим пальца, и весь мир со всем человечеством, родина, тоска и одиночество, — все затеряется позади в безконечности, в темном ледяном пространстве. Да, нужно отбросить от себя весь мир, все чувства! Отбросить без колебаний, бесстрашно! Так нужно! Свинцовый толчек в сердечную сумку или в висок, и мир отпал, ничего уже нет. Ты унесешься в черноту, в неизвестность. Может быть издалека, из бесконечной глубины, где затерялась земля, замерцает маленьким светлым лучиком, как звездочка, Вера, напоминая о себе переливчатым и чистым огоньком. Но к тебе, навеки оставленная и навеки потерянная, оттуда уже нет возврата. Не будет и встречи, в которую верят люди, расставаясь навеки друг с другом. Со смертью кончается все. Все исчезает. Светлый лучик может и сверкнет на мгновение в самый последний момент предсмертной мысли, как прощальная улыбка, последняя горькая радость, которую подарила суровая судьба одинокому беглецу без родины, без будущего, без друзей и любимой ....

— Пора, надо идти. Буров в последний раз оглядел комнату, потушил свет и вышел. На улице моросил дождь. С какой то особенной легкостью от непоправимого горя, он шел по длинным и прямым кварталам. Может быть, так легко шагают все обреченные на смерть люди, стараясь, как можно скорее, донести измученные души до предельной черты.

Впереди темнел городской сквер. Еще пять минут жизни. Хорошо что нет ни жены, ни матери, ни близких. Никого нет, некому оплакивать и горевать. Вот, хоть в этом одиночество имеет свою одну единственную хорошую сторону.

Пока шел в голове роились воспоминания, точно лента в кинематографе по ошибке пущенная в обратную сторону. Вспомнил последнюю встречу с братом на Курской дуге, невестку, мать. Вспомнил студенческие годы, юность, детство и родные места. Вспомнил русскую зиму — не дождливую и сырую, как здесь. Без конца и края стелется белоснежный покров. Спит убаюканная морозом и звездным небом природа.. Спит и набирается сил народ-богатырь. А спать осталось уже не долго.

Там, где под мерзлым покровом лежат поля и леса, снова забьет мощным ключем пробужденная жизнь. Стает снег, ярко заблестят на солнце быстрые ручейки. Шумливо потекут они к оврагам, подламывая черный, ноздреватый снег и унося его обломки на вольный простор рек. И человек, на эти бодрые звуки пробужденной весны, ответит веселой песнью. И слившись в песне в этом гимне творческому труду, природа и человек рука об руку примутся за работу. Зазеленеют нарядныя полянки, украшенные пестрым цветистым ковром. Радостным шумом наполнятся поля и леса. Громким эхом разнесутся над ними гудки вновь отстроенных заводов. Засверкают стальными змейками новые пути. И побегут по ним торопливым бегом, радостно отбивая свой такт, поезда. Разрезая широкую зеркальную гладь Волги, пойдут пароходы. Зареют над ними, распластавши свои неподвижные крылья чайки. Устремится по сходням пестрый и дивный своей особой красой русский люд. А потом наступит лето. На бледно-синем знойном небе застынут клочки пушистых облаков. Золотистой стеной заколышется созревающая рожь. Зазеленеют, манящие своей прохладой, березовые рощи. И на сотни верст повторится этот монотонный, скромный русский пейзаж с его полями, перелесками, оврагами и речками, подкупая и влюбляя в себя простенькой, незатейливой красотой. Потом мягкая, грустная улыбка осени озарится нежными красками умирающей листвы. И снова наступит зима . . .

В этом непрерывном потоке времени рождаются и умирают поколения, осмыслив и искупив свое существование великими трудами, подвигами и жертвами. И оттого-то, каждый камень, каждый холм и поляна вызывают у потомков страх, восторг и поклонение. И оттого-то, так хочется перед этими омытыми слезами, седыми камнями, перед серой землей, пропитанной кровью героев и страдальцев, встать на колени, целовать их и тихо о чем то просить. И тогда проснутся в душе человека тысячи жизней, что предшествовали его рождению. И почувствует человек, что хоть и недолговечен он, но душа его обессмертилась тысячелетним бытием. И раскроется человеку сокровенный смысл родной земли в ее бесконечном, непознаваемом и вечно живом, где растворяется личная жизнь человека в надвременной исторической жизни народа...

"UBI BENE, IBI PATRIA" — вспомнил вдруг Буров и подумал — какие это пошлые слова. Фальшивы они, как поцелуй продажной женщины, пропитаны предательством, как тридцать серебренников. Какая заключена в них нелепая клевета на человека и землю, родившую его. Трудно поверить, чтоб гордый своим националь-

ным сознанием римлянин мог высказать этот афоризм. Эта мысль могла зародиться только в пораженном духовным моразмом мозгу человека-слизняка. И чем больше думал Буров о таинственной нерушимой связи человека с родной землей, тем глубже сознавал, что она не только кормит его и дает приют, но создает весь его духовный мир, характер его мышления и чувств, вырабатывает в нем самые сокровенные стремления, самые тонкие особенности его души. Она обогащает человека тем кругозором, без которого он был бы не способен воспринять внешние впечатления мировых явлений и найти свое место в истории. И еще сильнее почувствовал Буров, что то, что случилось в его жизни, было до такой степени ужасно, бессмысленно и непоправимо, что, если бы даже теперь, каким то чудом, он и остался жив, то весь остаток своей жизни он бы терзался чувством тоски, одиночества и собственной ненужности. Что от него отняли его солнце, его землю, его труд и живую творческую мысль. Что самое важное и ценное в жизни, без которого сама жизнь теряет свой смысл, свое достоинство и счастье, уже безвозвратно утеряно.

Дмитрий сошел с аллеи в сторону, чувствуя, как обдает его холодной сыростью. Ноги глубоко тонули в мокрой, опавшей листве. — Вот и мы, — подумал Буров, — как эти кучи мертвых скрученных листьев. Десятки и сотни тысяч таких же, как я, русских людей разнесло и развеяло по всему свету. А когда то эти люди были полны жизни, были неотделимой частью родного леса. Сорвало их бурей, закружило, унесло. И лежат они теперь в темных и сырых оврагах, лежат и гниют ...

Он подошел к стволу большого дерева. Остановился под его развесистыми ветвями и вынул из кармана пистолет. В темноте раздался сухой треск выстрела. Буров упал на колени, с колен рухнул ничком на землю, широко раскинув в стороны руки. Пальцы крючковато загнулись, точно хотел он загрести полными пригоршнями опавшие листья; дернулся несколько раз в судороге и стих ...

. . . . . .

Издалека, наполняя вечернюю тишину зловещим воем, несся к скверу амбуланс. Все ближе и ближе приближался этот жалобный вой. Дождливую муть прорезали яркие лучи фар, а над ними красный мигающий огонек. Въехав в сквер, амбуланс сбавил свой бешеный бег, и смолк тревожный вой его сирены. Там суетились люди.

В тот вечер Денисов почему-то вспоминал Митю, которого давно уже не видел. Много раз случалось в жизни Николая Ивановича — подумает о ком нибудь, как то случайно, беспричинно, глядишь, вскоре-же этот человек подает о себе весть или встретится. И, когда око-

ло одиннадцати позвонил телефон, Денисов был уверен, что звонит ему никто иной, как Митя. Но говорил не Буров, а какой-то человек, назвавший себя управляющим домом, где жил Дмитрий. Он быстро и коротко сообщил Денисову о самоубийстве Бурова. Сказал и повесил трубку, а Денисов долго еще стоял у телефона и сразу не мог понять, о чем говорил ему незнакомый голос. А когда понял, омертвел, с трудом добрался до постели, и, не смыкая всю ночь глаз, твердил одну и ту-же фразу:

— Митя, Митя! Господи. да как-же это так? Как-же это? ....

Выстрелил Митя себе в рот. Девятимиллиметровой пулей сильно изуродовало голову. Похоронное бюро, куда увезли Бурова, было дешевое, и там, чтобы избежать лишних расходов и не трудиться над сложной процедурой смертного грима, Митю уложили в гроб и наглухо завинтили крышку.

Проводить Митю до могилы поехали на кладбище шестеро: Денисов, Надя, Алеша с Аллен и Щетинины. Веры с мужем не было. За два дня до Митиной гибели Уайт уехал по делам в Лос Анжелес и взял с собой в поездку жену.

Отпевал заштатный, бесприходный батюшка. Такой старенький, хворенький, в чем держится душа! И когда налетал сильный порыв ветра, казалось, что подхватит он его вместе с кадильницей и унесет от земной юдоли на небо, куда уже отлетела скорбная душа Дмитрия. Но батюшка устаивал на немощных ногах. Только голос у него прерывался, и он снова, повторяя уже сказанные слова, продолжал свою молитву.

Алеша стоял рядом с Аллен за черной, отороченной серебром, треугольной спиной священника и впивался глазами в крышку гроба, нависшего на деревянных перекладинах над могильным зевом. Он чувствовал, как наливаются веки, и старался не моргать, чтоб предательские слезы не потекли по щекам. Давило грудь огромное горе. Лезли в голову тягостные мысли, над которыми он не задумывался ни вчера, ни прежде, с того дня, как друзья разошлись. И вспоминая два последних месяца, ужасался своей слепоте и безразличию. Пять лет, изо дня в день, возле него жил человек — благородный, умный, сильный. Пять лет руководил, поддерживал, оказывал внимание и заботу, а он, он - Алеша не знал и не хотел знать, как доживал Дмитрий свои последние, трагичные дни. Как жил Митя? Что терзало его? Какое темное горе сживало его со света? Ничего этого не знал он, Алеша! Ничего не хотел знать, и узнал сейчас только то, что видел перед своими глазами. И опять пристально смотрел на крышку гроба Алеша, стараясь себе представить Бурова прежним, живым.

Уже спустили гроб, ком земли глухо стукнул внизу,

когда Алеше удалось вызвать в памяти нечто до боли и слез живое: чуть заметную улыбку на серьезном лице лейтенанта. В черной кожанной тужурке и ребристом шлеме, Дмитрий, присев на корточки вместе с Алешей, переставляет на земле камешки и говорит: считай до десяти и бросай танк вправо ... сорок пять градусов...

Нет больше Мити, нет! Никогда уже не будет его ... О-ооо! Приступ страшной тоски, раздирая грудь, подкатил спазмами к горлу. Алеша, уже не обращая ни на кого внимания, громко всхлипнул, сделал шаг вперед и упал на колени. Судорожно свело выгнутую спину, задергались плечи. Его лицо исказило гримассой. Губы дрожали.

— Митя, друг мой единственной! — причитал Алеша высоким, срывающимся голосом точь в точь, как в деревне плачут бабы.

Над свеже засыпанной могилой поставили досчатый крестик, покрашенный тонким слоем краски, из под которой просвечивал желтоватый цвет древесины. Над трафаретной черной надписью Денисов прикрепил старую, еще российской работы, бумажную икону Суздальской Божией Матери.

***

Среди ночи Алеша проснулся. В тяжелом, уставшем мозгу еще не было мыслей. Но уже через мгновение сознание пришло в себя. Снова Першина пронизали боль и ужас:

Мити нет! Мити нет! ...

Лежа на кровати, он глухо рыдал, закрыв обоими ладонями лицо. Проснулась Аллен. Зажгла на ночном столике лампу, поспешно поднялась с постели и накинула на себя халат.

— Что с тобой, Алекс? Что с тобой? Успокойся, успокойся! ... Участливо и тревожно смотрела она на мужа умными глазами и гладила его растрепанные русые кудри.

— Подожди, сейчас это пройдет, — ответил прерывающимся голосом Алеша. Он встал с кровати и шатаясь, как пьяный, вышел из спальни в гостиную. Зажег свет и подошел к маленькому письменному столу. Аллен стояла в дверях, молча наблюдая, как муж дрожащими руками торопливо вытаскивал из ящика толстую кипу печатных листов. Держа ее обоими руками, роняя на ходу отдельные листы, Алеша бросил ворох бумаги в камин и поджег его. Желтые язычки пламени поползли по бумаге. Листы чернели, коробились, сворачивались в пламени, один за другим отделялись от кипы и разлетались в стороны хлопьями пепла, оголяя нижние, еще не тронутые огнем страницы.

Алешу било ознобом. Он бормотал те последние слова, которые слышал от гневного Бурова — «Иудино дело, Иудино ... «Иудино» — повторяла вслед за ним залитая огнем пасть камина. «Иудино» твердил, весело кружась в камине обугленные листы. Это слово слышалось отовсюду. С диким хохотом повторяли его стены и потолок. Коварно шептал его с злорадной усмешкой большой и мягкий персидский ковер. Как неумолкающее грохочущее эхо наполняло оно всю комнату и обволакивало собою Алешу . . .

— Не Иуда, не Иуда я, Митя, друг! Вот смотри, вот... Мог бы стать Иудой, а не стал! Видишь, видишь! ...

Он, пошатываясь, добрел до кресла, тяжело опустился в него. Долго набухшими глазами глядел в камин, где догорала и тлела рукопись, а потом, задергав плечами, залился тонким, грудным воем. Аллен увела его в спальню, уложила в постель. Остаток ночи хлопотала над ним, прикладывала к горячей голове мокрое полотенце и давала нюхать нашатырь ...

**
*

Возвратившись из Лос Анжелеса, Вера в тот же вечер узнала от Нади печальную новость о самоубийстве Бурова. Боб неопределенно покачал головой и с ледяным равнодушием заявил, что это история обычная и удивляться здесь, собственно, нечему. Люди, побывавшие на войне, страдают нервным расстройством, становятся неврастениками, а иногда даже сходят с ума.

На следующее утро почтальон принес Вере заказное письмо и маленькую посылку. Распечатав письмо, она начала его читать. И по мере того, как глаза скользили по странице вниз, у Веры чуть-чуть сдвинулись брови и задрожали руки. И это случилось не от жалости к покойному Бурову, а от какого-то неприятного, суеверного чувства, точно мертвец заговорил с ней сейчас языком живых людей. Вот что писал Буров Вере:

— Простите меня, если это письмо причинит Вам огорчение. Я пишу лишь потому, что Вы единственный человек на свете, с которым мне бы хотелось поговорить в последний день жизни. Около меня никого ведь нет. Я один, совершенно один. Как тяжело уходить из этого мира, сознавая свое одиночество. Но теперь, когда я пишу эти строки, я чувствую, что — не одинок. Память о Вас озаряет последний мой день, одолевает предсмертную скорбь. За долгие годы войны, за все гнетущие месяца пребывания на чужбине, в каменной пустоте, мне выпали те немногие дни, когда я чувствовал, что значит человеческая радость. Приезжать к Вам изредка, видеть Ваше лицо, слышать Ваш голос было для меня величайшей радостью. Быть может, судьба, сжалившись над че-

ловеком, у которого не стало родины, друзей и цели в жизни, одарила его великим даром единственной и настоящей любви. Я испытал и пережил это чувство, о котором пустословят в романах, но которое редко выпадает на долю людей. Как я несказанно благодарен своей судьбе, что такая любовь случилась в моей жизни, и, если душам людей дано пережить смерть и тлен, то моя любовь будет жить вечно, вечно светиться яркой, неугасимой звездочкой над моей одинокой и забытой всеми могилой. Я оставляю Вам единственную дорогую для меня вещь — память о моей покойной матери. Она неразлучно была со мной и прошла весь путь от Москвы до Берлина. Она хранила меня, словно вся материнская любовь и забота воплотились в этой безделушке. Я поверил (а ведь я не суеверный), в ее чудесную силу в тот день, когда на привале, забыв в танке свою сумку, в которой хранилась она, пошел к танку, чтобы через несколько минут вернуться назад к своим танкистам. Но когда я вернулся, на том месте, где расположились на отдых мои люди, зияла огромная воронка от тяжелого немецкого снаряда. Примите эту вещицу в память обо мне. Я верю, что она принесет Вам счастье. Да хранит Вас судьба. Прощайте.

Д. Буров.

Окончив читать письмо, Вера аккуратно сложила его и развернула посылку. В бархатном потертом футлярчике, на пожелтевшем белом атласе была приколота довольно крупная, изящная золотая брошь в виде стрекозы. Вся она была усеяна мелкими изумрудами, а на концах крыльев горели темно-зелеными огнями четыре прекрасно отшлифованных крупных камня, которые не только придавали всей брошке особый художественный эффект, но еще и говорили о ценности этой ювелирной вещицы — ценности недоступной людям средняго достатка.

Вера долго внимательно рассматривала брошь. И когда держала в руке изумрудную стрекозу, ей почему то вспомнился уютный отцовский дом на взгорье у залива и стоявший возле нее у края каменной гряды Буров.

— Не принесла ведь эта стрекоза ему счастья! А принесет ли она мне его? Принесет ли? ...

Вера вспомнила о недавней крупной размолвке с Бобом. Правда, не было ссоры. Ни Боб, ни она не сказали друг другу резких слов, но все же какая то червоточина уже глубоко запала ей в душу. Неприятный разговор возник из за отцовского дома, который сестры сообща решили продать. Вера, считая себя более обеспеченной, отказалась от своей доли наследства в пользу Нади. О

своем решении она не говорила Бобу до тех пор, пока он сам ни спросил ее об этом. Боб, выслушав Веру, долго пожимал плечами и старался убедить ее, что она имеет равные юридические права на наследство и что уступать все одной Наде — это легкомысленная и излишняя благотворительность .

— Конечно, если она будет нуждаться, останется без средств к жизни, ты сможешь тогда одолжить ей немного без процентов, ну, а отдавать все, все без всяких причин, это — просто нелепо! — Много в тот вечер Боб корректными словами высказал черствых и скаредных мыслей ... Но этим разговором дело не кончилось. С того времени Уайт каждую неделю, в пятницу вечером с педантичностью бухгалтера стал выдавать Вере чеки на домашние расходы.

**
*

А жизнь шла своим чередом. О Митиной гибели скоро забыли почти все. Только Денисов часто вспоминал Бурова в часы одинокого и горького своего запоя. Николай Иванович пил, чтоб чем-то заполнить и скоротать то время, когда жизнь уже прошла, а смерть еще не приспела. И он, как путник, заброшенный на глухой полустанок, томительно ждет, когда, выростая из мглистого будущего, наплывет на него смерть и, братски обняв, унесет его, куда давно уже ушли сестра, зять —Николай Алексеевич и Митя Буров ...

Надя, вопреки советам дяди и уговорам сестры, все-же вышла замуж за Павла. Она была счастлива, как ей казалось, уж тем, что теперь могла жить для Павла, проявлять свою заботу о нем, скрашивать его одиночество и оказывать поддержку еще непонятому и непризнанному, но несомненно, большому таланту. В ней попрежнему живет чувство обожания Павла. Попрежнему она душится для него дорогими духами, но теперь этот запах напоминает о с е н ь и красивое увядание цветка. Надя уже стала блекнуть, и на ее бледном почти прозрачном лице лег отпечаток какой-то глубоко затаенной грусти. По вечерам, вернувшись с работы и накормив Павла обедом, она садится возле него, штопает ему носки и слушает стихи, которые он успел сочинить за день. Слушая декламацию мужа, она все еще надеется на будущее. Ее трудовую и серую жизнь скрашивает сознание, что Павлик теперь может целиком посвятить себя искусству, и им обоим когда нибудь улыбнется счастье..

**
*

Прошел уже год, как умер Николай Алексеевич. Долго стояла теплая осенняя погода, и казалось не будет конца этим теплым, ясным и солнечным дням. В годовщину смерти отца Вера с мужем поехали на кладбище. Над могилой родителей высился только что законченный памятник из серого мрамора, а возле него по бокам стояли две тоненьких березки, посаженные дчерьми еще ранней весной. Вера заботливо осмотрела могилу, поставила большой букет алых роз в вазу у подножья памятника, вырвала несколько травинок, проросших среди цветов в красивой большо клумбе и потом долго молча сидела, глубоко задумавшись. Когда пришло время уходить из кладбища, она вынула из вазы одну розу на длинном стебельке и сказала мужу, что хочет пойти взглянуть на могилу Бурова, на которой она еще никогда не была. В ответ Боб поморщился и, чтобы подчеркнуть свое неудовольствие, посмотрел на часы.

— Мы уже и так опаздываем. Мать приглашала нас к часу. На щеках Веры вспыхнул румянец: — Хорошо, Боб, поезжай один. Я приеду позже, на автобусе.

Боб что то невнятно буркнул в ответ и нехотя поплелся за женой. Вера без особого труда нашла могилу Дмитрия, хотя он и был похоронен далеко на окраине кладбища и на полинявшем кресте уже трудно было разобрать надпись. Могила заросла сорняком, кое где, сквозь густую поросль чахло пробивались прошлогодние анютины глазки. Вера положила у изголовья розу. Минуту, поникнув головой, смотрела на могилу. По лицу пробежала, едва уловимая тень теплой, сердечной грусти и в прекрасных васильковых глазах заискрились две ярких звездочки. Потом перекрестившись, не глядя на Боба, пошла от могилы, направляясь к выходу ...

. . . . . .

Беззвучно сиял осенний день голубым, чистым небом. Опять тишина и безлюдье воцарились вокруг могилы Бурова, точно и после смерти его преследует все то же тягостное одиночество, которое угнетало его при жизни. Легкий ветерок пробежал по деревьям, наполняя тишину шелестом листвы. И чудилось, что в этот шелест из под спуда могильной земли, вплетается Митина жалоба и с горьким вздохом взывает к небу:

— Что сделали со мной люди? За что так грустно и одиноко протекла моя жизнь? Зачем так рано положили меня в могилу, когда мне нужно было еще долго, долго жить, любить свою родину и девушку с васильковыми глазами. Зачем? За что? ...

Внемлет этой жалобе бумажная иконка, охраняющая Митин покой, и распростерла свое благословение над измученной его душою Суздальская Божья Матерь — покровительница русских полей.

Август 1957 г.
Сан Рафаэль
Калифорния.

Конец.

Б. ДАВЫДОВ

ИЗГОИ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ.

Изд. 1958 г. 227 страниц.

Цена — $2.25

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

BORIS I. DAVIDOFF, 355 Los Cerros Drive,
San Rafael P. O., California, U. S. A.